

М. А. АЛДАНОВ

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ
ТОМ I



М. А. АЛДАНОВ

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Р о м а н

ТОМ I.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

Copyright, 1952, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

От Редакции.

Марк Александрович Алданов родился в Киеве, окончил в России университет по физико-математическому и юридическому факультетам, а также парижскую "Ecole des Sciences sociales". После октябрьской революции покинул Петербург и поселился в Париже. В 1941 г. уехал в Соединенные Штаты. В молодости много путешествовал и побывал в четырех частях света.

В России были опубликованы две его книги: «Толстой и Роллан» и «Армагеддон». Вторая была тотчас изъята большевиками из продажи.

Книги Алданова переведены на двадцать четыре языка. В 1943 г. его роман «Начало конца» (по-английски "The Fifth Seal") был избран американским обществом "The Book of the Month" («Книга Месяца»). В 1948 г. роман «Истоки» ("Before the Deluge") избрало британское "Book Society" («Общество Книги»).

Предлагаемый читателю роман «Живи как хочешь» заканчивает серию исторических и современных романов Алданова. Новый читатель мог бы ознакомиться с ней в следующем порядке: «Пуншевая водка» (1762 г.); «Девятое Термидора» (1792-4); «Чортов Мост» (1796-9); «Заговор» (1800-1); «Святая Елена, Маленький Остров» (1821); «Могила Воина» (1824); «Десятая Симфония» (1815-54); «Повесть о смерти» (1847-50); «Истоки» (1874-81); «Ключ» (1916-17); «Бегство» (1918); «Пещера» (1919-20); «Начало конца» (1937); «Живи как хочешь» (1948). Хотя каждый роман совершенно самостоятелен, все эти книги многое связывает, — от общих действующих лиц (или предков и потомков) до некоторых вещей, переходящих от поколения к поколению.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Этот критик считает романом более или менее правдоподобное происшествие, рассказанное по образцу театральной пьесы в трех актах: в первом изложение, во втором действие, в третьем развязка.

Такой род творчества вполне допустим, но при условии, что будут считаться приемлемыми и все другие.

Разве существуют правила для создания романа, вне которых написанная история должна носить какое-либо другое название? Каковы же эти пресловутые правила? Откуда они взялись? Кто их установил?»

Guy de Maupassant

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I.

— Просто удивительно, как мадам похожа на Геди Ламар, — сказала маникюрша, не любившая молчать во время работы.

— Мне это часто говорили, — ответила Надя, вспыхнув от удовольствия. Она действительно раз это слышала. Ей не очень хотелось разговаривать с маникюршей: надо было перед встречей еще раз прочесть последнее письмо Виктора. — Вам не помешает, если я буду читать?

— О, нет, нисколько, — сказала маникюрша и заговорила о сплетнях Ривьеры, о кинематографических звездах, съехавшихся в Канн, в Ниццу, в самый модный в последнее время *Cap d'Antibes*. Надя никого из них не знала, но теперь все, связанное с их планами, гонорарами, с Холливудом, составляло главный интерес ее жизни. «Впрочем, она ничего, кроме их ногтей, не знает: я уже читала в газетах то, что она рассказывает... Что же он пишет о пьесе? «Рыцари Свободы» это, кажется, не очень удачное название. Но он так умен, что не может написать плохую пьесу, даже если б хотел. Из меня не вышла писательница, а из него выйдет. Почему он назвал «Рыцари Свободы»? Если это пьеса против большевиков, то тогда уж наверное вернуться в Россию будет невозможно. Нет, он пишет, что пьеса историческая... Альфред Исаевич очень хорошо относится к Виктору. Как

смешно, что они там в Америке меняют фамилии. Певзнер стал Пемброк, а Виктор Яценко — Вальтер Джексон. Хотя инициалы оставили прежние, и на том спасибо! Я ни за что не буду называть его Вальтер. Какой он американец! Альфред Исаевич это другое дело, он живет в Соединенных Штатах тридцать лет, и нельзя называться Певзнер. Яценко это тоже не очень красиво, но Виктор чудное имя»...

— Вы ошибаетесь, — сказала она, сразу оторвавшись от своих мыслей. — Это не четвертый ее муж, а третий.

— Я уверяю мадам, что четвертый, — горячо возразила маникюрша и перечислила всех мужей артистки. Надя назвала себя душой: «Какое мне дело, хоть бы он был и пятнадцатый! А вот я никогда Виктора не брошу. Это *for better for worse**)... Она и мысленно постаралась, совсем как американка, произнести эти слова брачного обещания. Теперь целыми днями изучала английский язык. Обладала большой способностью к языкам и еще большей настойчивостью во всем, что делала.

Маникюрша освободила ее правую руку. Надежда Ивановна провела ей по салфеточке и, хотя пальцы все-таки были мокрые, осторожно взяла листок письма. Он начинался с середины фразы: «... для того, чтобы увидеть тебя в роли Лины, для тебя написанной и, каюсь, немного с тебя писанной, — не бойся, никто и не заметит. Если в самом деле Пемброк приобретет пьесу для экрана, то я поставлю условием, чтобы роль была отдана тебе. Это очень облегчит и получение визы в Америку. Допустим даже, что квотной визы тебе не дадут, тогда ты временно въедешь по визе посетителей (так называемая *visitor's visa*). Этот проклятый вопрос о визе в Соединенные Штаты стал каким-то подобием рока для некоторой части

*) Для добра и для худа.

человечества. Я пушу в ход все свои связи, у меня есть два знакомых сенатора, один из них очень влиятельный. Ко мне очень хорошо относятся в американской делегации Объединенных Наций, где я служу. Ручаюсь тебе, что рано или поздно виза у тебя будет!»

«Да, именно «рано или поздно», а надо бы «рано», — подумала она со вздохом, дочитав до конца страницу. — «Альфред Исаевич тоже обещает «рано или поздно». Господи, когда же!» Ей казалось, что при деньгах и связях можно добиться где угодно чего угодно. «Связи у него есть, но денег, очевидно, недостаточно». Виктор Николаевич выдал ей первый affidavit. Там в графе о средствах был указан только его годовой заработок: семь тысяч долларов. О состоянии ничего сказано не было, значит, он состояния не имел. В переводе на франки (она мысленно переводила по курсу черного рынка) семь тысяч долларов составляли очень большую сумму. «Ведь как служащий ООН, он и от налогов освобожден. И все-таки он все проживает! Я наведу на его дела порядок, когда мы женимся. Да я скоро и сама буду зарабатывать больше, чем он. Буду его кормить!» — с нежностью подумала она. — «Альфред Исаевич должен взять его пьесу, и я буду играть эту самую Лину. Посмотрим, какой он меня изобразил: верно я в пьесе много лучше, чем на самом деле. Альфред Исаевич возьмет пьесу!»... Пемброк выдал ей второй affidavit. Он не очень любил давать сведения о своем богатстве, но это было необходимо, и он сведения в формуляре дал, — Надя только ахнула.

Воспользовавшись тем, что маникюрша меняла пилочку, Надя взяла другой листок. На него капнула мыльная вода, Надя поморщилась: все его письма сохраняла в шкатулочке. У него был красивый почерк, он всегда писал интересно. Маникюрша, недовольная молчанием клиентки, сделала такой вид, точно Надя, вынув руку из чашки, погубила все дело. На этой

странице письма ничего о пьесе не было. «В сущности, я п о - н а с т о я щ е м у в него не влюблена, — думала она со своей обычной правдивостью. — Я люблю Виктора, он умный и прекрасный человек, но я не влюблена, что ж от себя скрывать?... Я никогда ему этого не скажу, но он все-таки не то что стар, а недостаточно молод. Да и он, кажется, в меня не влюблен. Он п р о с т о хочет жениться, и я тоже п р о с т о хочу выйти замуж, и мы очень подходим друг другу, и это будет, я уверена, очень счастливый брак. Но сказать, что мы влюблены т а к, как Вронский и Анна Каренина, нет, это была бы неправда»... — Надя все романы Толстого знала чуть не наизусть. — «А кроме того у тех жизнь была другая, им никуда виза не была нужна, и они все были богатые, у них были разные Лысые Горы и Отрадные, имения и дома с парками, а кто был уж совсем беден, у того было всего пять-шесть человек прислуги! Может, мы отчасти поэтому все так Толстым зачитывались: уж очень хорошо и очень непохоже на нас жили эти князья и графы... Виктор очень красив в свои 46 лет. Седые волосы при молодом лице это хорошо и очень *distingué*. И он вообще похож на тех х о р о ш и х кинематографических американцев, что в конце выхватывают из кармана револьвер, наводят его на гангстера и спасают бедную женщину», — думала она с нежно-лукавой улыбкой.

— Все-таки самая красивая из всех, конечно, Грета Гарбо! — опять заговорила маникюрша, когда Надя положила второй листок на бархатную подушечку и взяла третий. — Мадемуазель ее знает? Простите, я обмолвилась: «Мадам»!

Неосведомленные или очень любезные люди нередко называли Надю «мадемуазель», и эта обмолвка всегда доставляла ей удовольствие: «мадемуазель», и не старая дева. Она была в России замужем очень недолго и считала свой брак затянувшимся недоразу-

мением: бракоразводное дело тянулось очень медленно.

— Нет, я ее лично не знаю. Я ведь еще не была в Холливуде.

— Я уверена, что мадам там будет иметь огромный успех. С наружностью мадам! Главное, это получить визу в Соединенные Штаты. У нас во Франции вся молодежь хочет уехать в Америку, потому что у нас за труд платят гроши, это просто позор, и во всем виновато наше правительство... Я видела Грету Гарбо во всех ролях, в Анне... Как зовут ту русскую аристократку, которая думает, что настал конец мира от того, что она изменила мужу? Да, в Анне Карениной... Как жаль, что мы ничего не знаем о России! Там хорошо?... Мадам верно не думает, что Сталин хочет войны, правда?... Марлен Дитрих тоже очень красива, но она немка! Не знаю, как мадам, а я не люблю немцев, хотя вначале они вели себя у нас корректно, и многие даже думали, что все уладится. Но нас предало это правительство Виши, я всегда говорила, что они изменники. Я во время оккупации укрывала евреев и мы каждый вечер слушали английское радио...

«...Если б ты знала, как мне хочется приобрести полную независимость, стать свободным человеком. И ты понимаешь, **для кого** мне это хочется. Работа переводчика мне надоела, а наша организация ОН еще больше. Впрочем, **п р и я т н о й** службы нет и быть не может. Я так хотел бы оставить все это, всецело отдаться театру, работать, не думая о зарботке, не тратя трех четвертей дня на никому ненужное дело в Объединенных Нациях, тоже пока никому ненужных, кроме людей получающих в этой организации жалование. Я увлечен театром больше чем когда бы то ни было. Не скрою, кроме «Рыцарей Свободы», я пишу не историческую, а современную пьесу, совсем в другом роде. В моих «Рыцарях» я от-

части «активизирую» тебя. Не понимаешь? Вот что это значит. Я вижу людей и, конечно, тебя первую, в их нормальной повседневной жизни, без больших событий. Но мне хочется представить себе, каким такой-то человек оказался бы, если бы попал в центр больших драматических событий. Я не романист, но если б я был романистом, то вставил бы в роман пьесу. Человек был бы показан с двух сторон: в романе я показал бы его в более или менее статическом состоянии, а в драме — в состоянии динамическом. Впрочем, ты неизмеримо лучше и чище моей Лины. Себя самого я чуть-чуть «активизировал» в Лафайетте (*excusez du peu!*)*), чуть-чуть в полковнике Бернаре, чуть-чуть, хоть по-иному, даже в старом индейце Мушалатубеке! Не смейся, в другой обстановке я мог бы иметь душевный склад Мушалатубека! Гёте говорил, будто никогда не слышал о преступлении, которого в известных обстоятельствах не мог бы совершить он сам. В каждом из нас заложены возможности преступника, пожалуй, в большей даже степени, чем некоторые другие, — это показала последняя четверть века... Впрочем, я все забываю, что ты еще не читала моей старомодной романтической комедии. Я хотел было тебе ее послать, но не послал, чтобы доставить с е б е наслаждение: прочесть ее тебе в воскресенье вечером»...

«Активизирую», «активизирую», что-то очень мудрено! И вдруг я его рассуждений и понимать не буду! Они, писатели, народ строгий: не понимаешь, так вот Бог, а вот порог», — с легкой тревогой подумала она. «Разошелся же у нас в Москве Петька с женой из-за того, что она не понимала диалектического материализма. Правда, она просто ему осточертела, и он ухватился за это. Нет, мой Виктор ни на какую гадость неспособен, я очень, очень его люблю. Ах,

*) Извините, что мало.

скорее получить бы развод, и тогда все будет отлично. И денег у нас будет достаточно. Пока не разбогатею, одеваться буду просто, избави Бог его разорять. Жаль, что деньги так плывут, беда!»

Когда маникюрша ушла, Надежда Ивановна заказала по телефону завтрак: чашку черного кофе без сахара, сухарь и яблоко. Она больше не полнела, как в ранней молодости, но смертельно полноты боялась. Шутливо говорила, что соблюдает голливудский режим до семи вечера. За обедом ела три блюда и позволяла себе в небольшом количестве спиртные напитки, особенно если были нравившиеся ей мужчины: *п о - н а с т о я щ е м у* можно было разговаривать только за вином. Впрочем, с тех пор, как она сошлась с Яценко, другие мужчины для нее больше не существовали. — «Для чтения понадобятся напитки», — подумала Надя и, взглянув на часы, вызвала по телефону Пемброка.

Он не выразил особенной радости по тому случаю, что Вальтер Джексон приезжает сегодня утром. «Кажется, я его разбудила», — с досадой подумала Надя. Однако Альфред Исаевич тотчас принял свой обычный благожелательный, шутливый и чуть покровительственный тон.

— Я этого Уолтера Джексона знал, когда он еще был такой, — сказал он и у себя в номере, хотя Надя его видеть не могла, опустил руку с обручальным кольцом на уровень бедра. — Его отец Николай Яценко был при старом строе видным судебным деятелем. Он был отличный человек и мой друг, его потом расстреляли большевики. Впрочем, вы все это знаете. Тогда ваш Уолтер Джексон был гимназист Витя Яценко.

— Вы тоже, Альфред Исаевич, не всегда были мистер Альфред Пемброк и кинематографический магнат. Говорят, вы когда-то писали статьи в газетах, и отличные статьи, под псевдонимом Дон-Педро, — лукаво сказала Надя.

— Да, писал, и действительно это были очень недурные статьи. А моя настоящая фамилия Певзнер. Я из бедной, но очень старой и хорошей еврейской семьи... Так Уолтер Джексон написал пьесу?

— Что же тут странного?

— Ничего решительно. Я почему-то думал, что он был у дяди Джо переводчиком.

— Да, он занимался и переводной работой, но не «у дяди Джо», а просто в России.

— Sugar plum*), с моей стороны никаких возражений нет, не сердитесь. А теперь он служит в Разъединенных Нациях? Что?... Почему у вас в Ницце телефон работает не так, как в Америке?... Что вы сказали?

— Да, служит в Разъединенных Нациях, занимает там отличное положение и считается звездой... Альфред Исаевич, вот вы уверяете, что расположены ко мне. Я очень прошу вас отнестись к его пьесе со всем вниманием.

— Торжественно вам это обещаю, honey!**)

— Вы знаете, как я его люблю и как это для меня важно.

— Я знаю. Комментарии излишни, — сказал Пемброк. Он часто употреблял это выражение, быть может механически задержавшееся в его памяти от тех времен, когда он был в Петербурге обозревателем печати. По русски он говорил так же легко, как когда-то в России, но часто вставлял слова «Look», «well», «that's right» и только выражение «О-кэй» употреблял редко: это было хорошо для «зеленых»; в ту пору, когда Альфред Исаевич переехал в Соединенные Штаты, еще никто «О-кэй» не говорил.

— Оказывая услугу ему, вы окажете услугу мне.

*) Ласкательная кличка.

**) Другая такая же кличка.

— Если б я был лет на тридцать моложе, я из ревности возненавидел бы вашего Уолтера, — галантно сказал Альфред Исаевич.

— Стоит вам захотеть, и успех его пьесы обеспечен.

— Я захочу потому, что вы этого хотите, *sugar plum*. Но, дорогая, вы сами понимаете, если окажется, что его пьеса дрянь...

— Его пьеса не может оказаться дрянью!

— Я сказал «если» и беру свое слово назад, не злитесь, милая. Я сам уверен, что такой умница, как он, должен был написать хорошую пьесу. Может быть, она будет *hit!**) И слово «дрянь» я понимаю в кинематографическом смысле. Сам Шекспир может быть дрянью в кинематографическом смысле... Ну, хорошо, так давайте устроим чтение сегодня же вечером.

— Отлично. У него отпуск от этих Наций только на один день. Он завтра уезжает.

— Европа, Бог даст, не погибнет, если ваш Уолтер пробудет с вами, скажем, четыре дня или даже пять... Где же? Хотите у меня? В девять часов вечера, или лучше в четверть десятого.

— Отлично. Иок, — сказала Надя, еще помнившая несколько турецких слов. Она подумала, что напитки ей обошлись бы в несколько сот франков. — И вы не бойтесь, Альфред Исаевич, — добавила она засмеявшись, — он читает быстро. Надеюсь, вы не заснете.

— Ни в каком случае: я страдаю бессоницей, — пошутил он. Надя немного рассердилась. — Значит, приходите с ним вместе в четверть десятого.

— Нет, уж вы, пожалуйста, сами ему позвоните, он без вашего приглашения не придет. — Она назвала гостиницу Джексона.

*) Большая удача.

— Да, я ему позвоню, — послушно сказал Альфред Исаевич, впрочем не совсем довольный. Он в самом деле очень любил Надю и хорошо относился к Джексону, но нашел, что уж слишком много делается церемоний. Надя тотчас это почувствовала.

— Ну, а как вы, дорогой друг? Верно, сейчас уедете на весь день играть в Монте-Карло?

— Именно. Нынче воскресенье, отдых от работ. Надо же и нам, старикам, иметь какие-нибудь удовольствия в жизни. Приезжайте в Hôtel de Paris завтракать? С ним, с ним...

— Ни с ним, ни одна не могу, спасибо. Так я очень на вас...

— Хорошо, хорошо. И не волнуйтесь насчет визы. У вас будет виза, даю вам слово Пемброка!.. Что, бедненькая, вы очень скучаете без жениха?

— Я никогда не скучаю, Альфред Исаевич. Когда скучно, можно пойти в кинематограф.

— Buenos, — сказал Пемброк. — Buenos Aires. — Люди, ходящие в кинематограф, были ему особенно приятны. — Наше искусство первое в мире и в нем заложены огромные потен... потенциальные возможности, — сказал Альфред Исаевич, в последние годы иногда запинаясь в трудных словах.

«Начинается с пьесой как будто недурно», — подумала Надежда Ивановна, повесив трубку, и опять посмотрела на часы. Выставка туалетов открывалась в десять. «Очень будет интересно, жаль, что все не по карману», — подумала она с легким, очень легким вздохом: чрезвычайно любила красивые вещи. Однако Надя относительно легко мирилась и с относительным безденежьем, а главное, в душе всегда была уверена, что красивые и дорогие вещи придут. «Лишь бы не поздно... Пока совсем не поздно. Конечно, устроюсь в кинематографе, денег будет много. Буду все тратить: половину на себя, половину на других...

А может быть, на других только треть, — с улыбкой внесла она ограничение, — половины никто не отдает, разве какие-нибудь Франциски Ассизские. Другие и сотой доли не отдают. А я буду давать много, очень много», — думала она одеваясь. Одевалась отлично — по прошлогодней моде. «Только бы скорее получить приглашение, а там я уже пробьюсь. Может быть, сегодня и получу?... Ах, дай-то Бог! Разве пойти помолиться?»... Надя теперь ходила в церковь, хотя не каждое воскресенье.

При всей своей правдивости она умела себя ценить, и отчасти поэтому ее ценили другие. Но в России ей не везло. Пробовала писать рассказы, — принят был только один, первый. Сначала себя утешала тем, что рассказы не подошли под генеральную линию, но знала, что вместе с талантливыми писателями, этим часто себя утешают писатели бездарные. «Крупного литературного таланта у меня нет, а «со скромным, но симпатичным дарованием» и соваться нечего», — решила она: с ужасом себе представила, как прочтет эти самые слова в какой-нибудь газете. Не повезло и с браком: вышла замуж за какого-то молодого человека больше от скуки и потому, что надо же выйти замуж, а не подойдем друг другу, так разведемся. Однако это было как раз перед изменением законов о разводе, — развестись уже оказалось трудно. На прощанье муж устроил ее в кинематограф. — «Наружность у тебя на ять, говор чистый, деньги платят хорошие», — говорил он. Этим делом она увлеклась «на всю жизнь».

Надя не без успеха играла второстепенные роли в трех фильмах. В 1940 году ей дали небольшую роль в фильме о кознях западных держав. Часть фильма предполагалось поставить в Константинополе, туда и отправилась труппа. Когда началась война с Германией, автор переделал сценарий: изобразил козни немцев. Тем не менее уже оказалось невозможным по-

ставить фильм, кредиты на кинематограф были очень сокращены. Труппе было приказано вернуться в Россию, и даже не в Москву, а временно в Саратов. Ехать надо было кружным путем, поездка была опасная, жизнь в Саратове Надю не соблазняла. А главное, в начале войны казалось, что от большевиков все равно следа не останется. Сбережений у нее образовалось немало: по чьему-то конспиративному совету и по инстинкту она купила в Константинополе доллары; они все повышались в цене в других валютах, так что она не только не проживала своих денег, но запас их странным образом увеличивался. Надежда Ивановна за два дня до отъезда труппы притворилась больной, слегла в постель, плакала и клялась недовольному начальству, что вернется как только хоть немного поправится. Начальство выразило неудовольствие и даже грозило неприятностями, но не очень грозило: оно тоже про себя думало, что от большевиков не останется и следа.

Так Надя осталась за границей. «Ну, что же, я никакой политикой не занимаюсь, и я маленький человек. Конечно, они меня преследовать не будут, — бодро говорила она себе. — Все же как странно и случайно складывается жизнь: то служащая полпредства, то эмигрантка-невозвращенка, то плохенькая писательница, то хорошая, но безработная артистка». Впрочем обладала счастливым свойством: умела не думать о неприятном. Без этого свойства жизнь была бы невозможна.

Не прожила она в Константинополе сбережений и в следующие четыре года: служила в ресторане, и позднее говорила Виктору Николаевичу, что в общем там было очень мило: «Город чудный. Ей Богу, остались очень хорошие воспоминания!» Когда война кончилась, она как-то перебралась во Францию, и вышло еще гораздо лучше: в Париже она познакомилась с Яценко. Больше не было и речи о возвращении в

Россию. Иногда — очень редко — Надя плакала: «Как же это? Не увижу больше ни Ленинграда, ни Москвы?» Утешалась тем, что в России все скоро пойдет совсем по-иному и что она вернется уже с Виктором.

У них было сразу решено, что они женятся как только она получит развод. Но адвокат все с озабоченным видом ругал бюрократические порядки, «эту проклятую китайщину». В Париже Надежда Ивановна ходила на лекции и в разговорах с Виктором Николаевичем своими словами пересказывала то, что читала в хороших газетах. Затем, когда Яценко уехал в Америку по делам Объединенных Наций, она временно переселилась в Ниццу. Хотела там работать, совершенствоваться в английском языке, быть ближе к студиям. На Ривьере жизнь была и дешевле. Во Франции волшебные бело-зеленые бумажки, вопреки своему правилу, начали таять. Надя говорила, что парижская слякоть наводит на нее тоску: «Я люблю либо солнце, либо двадцатиградусный мороз». Собственно к тоске Надя по природе была не очень способна. Все же с Парижем были связаны тяжелые воспоминания о так и пропавшем без вести Вислиценусе, о погибшем в Мадриде Тамарине, об умершем от апоплексического удара Кангарове. И она все опасалась встретить старых знакомых из советского посольства.

Внизу, в ящичке для писем, был только ее недельный счет. Надя не распечатала конверта, чтобы не расстраиваться. Как давняя жилища, она пользовалась льготными условиями, но гостиница была слишком для нее дорога. Переехать в другую было тоже неудобно: это понизило бы ее ранг. Местные газеты изредка упоминали о ней в светской хронике, это всегда стоило немалых усилий и хлопот.

Часы против стойки швейцара показывали четверть одиннадцатого. Поезд приходил в двенадцать, ей было известно, что, несмотря на все разрушения,

на тысячи взорванных мостов, во Франции поезда приходят и уходят гораздо точнее, чем в странах, не пострадавших от войны. Яценко решительно просил ее не встречать его на вокзале, и она догадывалась о причине: не хотел ей показываться небритым с седоватой щетиной на щеках, после ночи, проведенной в вагоне.

Как только она вышла из гостиницы, ею овладела радость, простая беспричинная радость юга. Все было залито солнцем. Между двумя знаменитыми гостиницами находилась иностранная Ницца, белые, желтые, кремовые здания, террасы, столики и кресла под разноцветными зонтами, пальмы, кактусы, то, что так чарует северного человека, особенно в первые дни. На Promenade des Anglais еще почти не чувствовалась печаль кончающегося сезона. Надя останавливалась у витрин. В Париже, на Ривьере она не могла проходить спокойно мимо магазинов: ее волновали бриллианты, платья, шляпы, меха, даже самые названия домов. «Он идеалист... Идеализм идеализмом, а деньги все-таки нужны и идеалистам... Он меня «активизировал»? Это еще что такое?» — с легкой тревогой думала она. Но Надежда Ивановна всегда была убеждена, что будет счастлива, и потому была счастлива. В это же ярко-солнечное утро, в этом чудесном городе ни у кого тревожных мыслей не могло быть. «Конечно, все будет отлично. В каких только передрягах я не была: и при Кангарове, вечная ему память, и в Москве, и в Константинополе. Ах, как хорошо, что удалось уехать из советского рая!» — подумала она неожиданно. Давно больше не говорила, что в России все лучше, чем во Франции.

Зал был полон. Манекены в дневных и вечерних, городских и курортных платьях, в костюмах и манто поочередно выплывали откуда-то из боковой двери, всходили на эстраду, поднимали, протягивали вперед, опускали руки, медленно поворачивались спиной к публике, снова обращались к ней лицом, все время улы-

баясь одинаковой, раз навсегда заученной улыбкой. В этом было что-то похожее на заклинание змей. И в самом деле дамы, переполнявшие зал гостиницы, были зачарованы. Изредка, когда платье было уж совершенно нестерпимо по красоте, проносился легкий, тотчас замиравший, восторженный гул. «Господи, как прелестно! А то лиловое!» — думала она. Даже наименее дорогие из этих нарядов были по цене совершенно ей недоступны, как впрочем и большинству находившихся тут дам: она пришла на выставку, как люди приходят в музей, где тоже ничего купить нельзя. Рассчитывала однако кое-что запомнить, использовать, объяснить своей портнихе. Записывать или зарисовывать что бы то ни было здесь строго запрещалось. «Вот этот пояс я ее заставлю сделать. Ему понравится», — радостно думала Надя.

Дама из первого ряда кресел с сильным американским акцентом спросила о цене платья.—«Двести двадцать тысяч», — ответил мужской голос с подобострастием, очевидно относившимся к акценту дамы. Сидевший с ней рядом муж, все время неодобрительно покачивавший головой, пожал плечами. Выражение его лица как будто говорило: «Может быть, эти тряпки и хороши, но двести двадцать тысяч франков это гораздо дороже, чем у нас, а наш Нью-Йорк теперь такой же центр дамских мод, как ваш Париж»... И точно это поняла поворачивавшаяся на эстраде хорошенькая француженка: она задержалась взглядом на даме, и к ее механической улыбке прибавилось что-то, приблизительно означавшее: «Если у вас мало долларов, то зачем вы сюда пожаловали?» — «Эта кукла тут усмехается за Европу», — подумала Надя. Она страстно хотела попасть в Соединенные Штаты — и вместе с тем не могла подавить в себе раздражение против американцев, которые так богаты и так неохотно пускают к себе европейцев.

II.

Яценко, смеясь, говорил Наде, что хочет остаться верен добрым старым способам сообщения времен своей юности и поэтому аэропланами никогда не пользуется: «Так император Франц-Иосиф до конца своих дней не пользовался автомобилями». Она тоже шутливо отвечала, что его стилю, напротив, соответствовало бы все новейшее: аэропланы, белые смокинги, последние нью-иоркские коктэйли. Надя догадывалась, что он просто бережет для нее деньги. Это ее трогало. Виктор Николаевич водил ее в дорогие рестораны, присылал конфеты, цветы. «Все для меня, ничего для себя», — думала она, хотя знала, что это несколько преувеличено.

Он путешествовал довольно много с тех пор, как поступил на службу в Объединенные Нации, и тем не менее всегда приезжал на вокзал рано, торопился и раз пять или шесть (так что самому было стыдно) проверял, все ли в порядке: билет, бумажник, ключи. Из экономии не взял места в спальном вагоне, а удовлетворился *couchette* во втором классе. Отделение в вагоне уже было полно. Яценко развернул вечернюю газету, но читать ему не хотелось. В последнее время он убедился в том, что терпеть не может переезжать с места на место. Особенно его утомляли длинные поездки по железной дороге: скучно, утомительно, читать вдвое труднее, чем дома. «А когда-то мальчиком я так это любил»...

С тех пор, как он стал писателем, Виктор Нико-

лаевич старался развивать в себе наблюдательность, — шутливо называл это игрой в Шерлоки Холмсы. «Этой даме сорок лет, — думал он, поглядывая на свою соседку, — она надеется, что ей дадут тридцать пять, и говорит, что ей тридцать. Милая женщина, верна своему мужу, но немного сожалеет, что всегда была ему верна. Они не проживают своего дохода и у них кое-что отложено, она тоже колебалась, не купить ли ей место в спальном вагоне, а потом решила, что из-за одной ночи не стоит тратить лишних две тысячи франков... Сейчас она попросит меня или того пожилого чиновника с ленточкой в петлице уступить ей нижнюю кушетку... Не уступить — будет неблагородно, уступить — будет неудобно... Что ж делать, уступлю. Я ее понимаю: нет ничего комичнее, чем дама, карабкающаяся вверх, как матрос на мачту»... Дама не попросила его поменяться с ней местами, а из разговора выяснилось, что господин с ленточкой врач. Это немного раздосадовало Яценко.

Минуты за три до отхода поезда, когда диваны уже были подняты на ночь, в отделение вошла еще дама. Ей принадлежало левое среднее место. «Русская», — тотчас признал Виктор Николаевич. За ней носильщик внес два чемодана. Она отрывисто, громче, чем говорят европейцы, указала ему, куда что положить. Соседи поглядывали на нее с любопытством. Дама была молода и хороша собой. «Что-то в ней есть презрительное... Кажется, каждым движением показывает: смотрите на королеву!» — почему-то с недоброжелательством подумал Яценко. Ему почти доставило удовольствие, что у дамы, когда она по лесенке поднялась на свой диван, пополз нейлон на левой ноге, очень тонкой и красивой. Мужчины проводили ее взглядом. «Зачем она в дорогу нацепила это ожерелье? Впрочем, бриллианты, конечно, поддельные... Если советская, то верно жена сановника, а если эмигрантка, то уж не знаю кто. И есть что-то

жалкое в ее самоуверенности, и в этих фальшивых бриллиантах, и в порванном чулке»...

Поезд тронулся. Виктор Николаевич долго лениво прислушивался к стуку колес, — примеривал к их ритму разные стихи. Неожиданно выпало что-то когда-то слышанное в детстве от няни. «Удивительно, сколько чепухи за день проходит в голове даже у неглупых людей. «Кума, шэн, кума, крест, — Кума, дальше от комода»... Чего бы я не дал, чтобы опять вернулось это детское время!» Ему хотелось пить. «Как все неудобно и бесхозяйственно устроено». Он подумал, что кондуктор мог бы продавать пассажирам лимонад или пиво, что это не отняло бы у кондуктора много времени, и заработка у него было бы гораздо больше, и государству никакого ущерба. «Что ты, что ты, что ты врешь, — Сам ты чашку разобьешь», — пели колеса.

Как обычно во французских поездах, в десять часов вечера пассажиры, по молчаливому соглашению, потушили лампочку. Дама наверху раздраженно, точно протестуя против нарушения ее прав, снова повернула выключатель, что-то достала из сумки и погасила лампу опять. «Странно, что у нее так безжизненно свисает рука», — думал рассеянно Яценко, поглядывая на даму снизу; отделение все же слабо освещалось горевшей в коридоре лампочкой. «Глаза, кажется, прекрасные. Утром увижу как следует... О чем я думал?... Ни о чем... Вчерашнее заседание комиссии?... Никто перса не слушал. Старики шопотом говорили о своих простатах и хвастались... Перс произносил высокопарные до неприличия слова, но верно восточные люди слышат эти слова иначе, — как Дант слышал слова «Божественная Комедия» не так, как мы... Да, в жизни надо строго отделять главное, основное, от рекреации. У меня основное: Надя и литература. Все остальное «рекреация», не больше». По привычке он — почти как билет и бумажник в кармане

— проверил, все ли ясно в основном: «С Надей ясно: женимся, как только она получит развод от своего советского мужа. Да мы уж все равно давно женаты, дело не в паспорте, между нами и так уже есть то общее, то всем другим чуждое, что бывает только между мужем и женой. Я на пятнадцать лет старше ее, но мне еще нет пятидесяти, и мы сто раз об этом говорили, она меня любит, я люблю ее. Да, билет и бумажник есть», — иронически думал он. Ему было совестно переходить прямо от «основного» к службе, к практическим делам. «Мой баланс? Некоторая сухость, некоторое равнодушие к людям, большая любовь к мыслям, даже к идеям, неудовлетворенное честолюбие, хотя и не столь уж большое, во всяком случае не «болезненное»: я каждый день вижу людей в десять раз более честолюбивых и тщеславных, чем я... Если Объединенные Нации станут совершенно невыносимы, перейду в «Юнеско». Я в России часто менял занятия и общество, менял без всякого огорчения, вот как нельзя чувствовать огорчение при отъезде с постоянного двора, где без интереса и даже с опаской разговаривал с другими случайными постояльцами, — вдруг они темные люди? Литература?» — О ней ему не хотелось думать: всякий раз, как вечером он начинал писать или думать о своих писаньях, ночь проходила без сна. «Вдруг в самом деле этот Пемброк приобретет права на «Рыцарей Свободы»? Правда, он не театральный, а кинематографический деятель. Впрочем, я знаю, он иногда занимается в Нью-Йорке и театром. Конечно, Пемброк, как все они, знает толк в своем деле и ничего не понимает в искусстве. Когда-то, до революции, этот Пемброк был в России журналистом, подписывался «Дон-Педро», и уж одна эта подпись доказывает, что ему в искусстве нечего делать... А может быть, нечего делать в искусстве и мне? Успех нескольких рассказов ровно ничего не доказывает. А «Рыцари Свободы», я сам еще

толком не знаю, что это: хорошая пьеса или пародия на хорошую пьесу. Как Александр Дюма писал и «Антони», и пародию на «Антони». Правда, он, помнится, это делал для увеличения заработка. Нет, разумеется, мои «Рыцари» никакая не пародия, но вторая пьеса будет лучше. Правда, в замысле все гораздо лучше, чем выходит на самом деле. Я в «Рыцарях» кое-чем вдобавок пожертвовал, имея в виду благодарную роль для Нади. Еще есть ли у нее в самом деле талант? Она хочет успеха, славы, денег, страстно хочет, гораздо больше, чем я»...

В душе он не желал Наде большой кинематографической карьеры. Вернее, не был бы очень огорчен, если б ей карьера не удалась. Помимо ревности к тем знаменитым, красивым, молодым людям, с которыми пошла бы ее жизнь в Холливуде, его оскорбляла мысль, что он будет для других людей не драматург Джексон, а муж кинематографической звезды; оскорбляло даже то, что она, в случае успеха, будет зарабатывать гораздо больше денег, чем он. «В сущности, у меня буржуазные, старомодные понятия: надо «основать очаг», а деньги для очага должен давать муж. И действительно кое-как мы могли бы прожить уже теперь, без ее фильмов и без моих пьес, на то, что я зарабатываю в Объединенных Нациях... Но мне и самому больше не хочется жить «кое-как», и не только из-за нее не хочется. Я на этой службе в последние два года привык к дорогим гостиницам, к хорошим ресторанам». Далеко в прошлое ушла прежняя петербургская жизнь, особенно времен гражданской войны, с теплушками, примусами и «буржуйками»... Ему мгновенно вспомнился запах поджариваемой на огне воблы, преследовавший его лет двадцать. «На службе я добился всего, чего мог добиться только что натурализованный в Америке иностранец, не имеющий американских дипломов и говорящий по-английски с легким иностранным акцентом... Разумеется, жизнь сло-

жилась ненормально, — если вообще бывает нормальная жизнь, да еще в наше время. Из-за них, из-за них», — думал он с ненавистью, разумея большевиков.

Нервы у Виктора Николаевича были взвинчены и от предстоявшей встречи с Надей, и, быть может, еще больше, от предстоявшего на следующий день чтения пьесы. Теперь он думал, что первая и особенно вторая картины слишком растянуты, а четвертая неестественна и не похожа на жизнь. «Но в романтической пьесе не все и может быть на жизнь похоже, хотя я старался произвести реформу в этом старом роде искусства». Под заголовком «Рыцари Свободы» в его рукописи были слова: «Романтическая комедия». Ему нравилось это обозначение, в сущности почти ничего не означавшее. В фактуре пьесы (он теперь часто употреблял такие слова) было в самом деле что-то романтическое и старомодное. Было ему неприятно и то, что он в пьесе «активизировал» живых людей. «Надя вдобавок не так уж похожа на Лину, хотя в Лине есть и Надя»... И потом, в жизни настоящего действия, того, о котором я мечтал в юности, вообще нет, и полковники Бернары теперь нигде невозможны. Уж больше всего действия в России, особенно у советских людей, посылаемых за границу, но какая у них романтика! Там смесь Рокамболя с Молчалиным, солдатчина и дисциплина, как в армии Фридриха II, с той разницей, что при Фридрихах это вдалбливалось в кадетских корпусах и закреплялось в день присяги, а здесь вдалбливается в комсомоле, а закрепляется в день получения партийного билета. Нигде в мире ничего романтического не осталось, всего же меньше в политике. Теперь и заговоры ведут через пытки к признаниям»...

В вагоне что-то все время стучало, верно плохо пригнанная штора. Расходившийся с этим стуком шум колес не был уютен, больше не вызывал в памяти такта стихов, а беспокоил и даже раздражал его. Он

задремал лишь около полуночи. Ему снились люди, о которых он изредка думал в последние дни, но связь между ними, их слова и поступки не имели ничего общего с жизнью, были совершенно невозможны и бессмысленны. Под утро он полупроснулся в тоске. Поезд шел по туннелю очень медленно, за окном низко горело что-то странное, как будто слышались глухие голоса. Он встал и отдернул занавеску. В углублении туннеля горел багровый огонь, толпились черные фигуры. Дама с бриллиантовым ожерельем лежала на спине, рот у нее был полуоткрыт. В дрожащем красноватом свете ему показалось, что перед ним лежит мертвая старуха. По-настоящему он проснулся лишь через полминуты. «Вздор! — прикрикнул он на себя. — Вот оно, проклятое наследие Петербурга, эти все еще не прекратившиеся кошмары!»

Как многих эмигрантов, его иногда по ночам преследовал сон, будто по какой-то ошибке он вернулся в СССР, — во второй раз бежать уже невозможно, — «как же это, зачем, зачем я это сделал!» Он просыпался с ужасом, затем с невыразимым облегчением сознавал, что это вздор, что он в свободной стране. «В этом великая радость кошмаров: просыпаешься, — все было ерундой! Так, после того, как вырвешь зуб, великое наслаждение: боль прошла, можно сжать челюсть», — тотчас, как писатель, придумал он сравнение. Он снова лег.

Дама с ожерельем зашевелилась наверху. Яценко увидел, что она приподнялась на локте, заглянула вниз, затем откуда-то достала что-то похожее на шприц. Он с тревожным любопытством смотрел на нее из-под полузакрытых век. Больше ничего не было ни видно, ни слышно. «Что-то себе вспрыскивает? Морфин? Теперь от всех болезней лечат какими-то вспрыскиваниями... А может быть, она ничего не вспрыскивает, мне померещилось»...

Он знал, что больше не заснет. Думал теперь о

второй своей пьесе. «Беда в том, что я взял чужой быт, чужую среду. Конечно, я теперь американский гражданин, но что же делать, если для человеческой души первая родина имеет неизмеримо больше значения, чем вторая. Я такой же неестественный американец, как этот забавный чудака Певзнер. Только он в самом деле почти поверил, что он мистер Пемброк, а я знаю, что я не Вальтер и не Джексон. Если моими действующими лицами будут Чарльз Смит из Техаса и Луэлла Паркинсон из Кентукки, то я удавлюсь от фальши, хотя я видел американскую жизнь и люблю американцев, знаю их, как их может знать иностранец. И я не хочу писать о пустяках; в дальнейшем я буду писать только о самом важном, о роке, о том, что сейчас волнует мир и, быть может, его погубит... И я твердо знаю, что буду драматургом. Во мне нет никакого дилетантизма, я знаю чего хочу, и воли у меня достаточно. Может быть, еще побочную профессию переменю, но это лишь потому, что я беден и надо искать заработка».

Он был доволен своей второй уже наполовину написанной пьесой. Диалог казался ему хорошим, выдумка была недурна, технически пьеса была сделана лучше, чем «Рыцари Свободы». «И тем не менее в каком-то отношении это шаг не вперед, а назад. Моих «Рыцарей», при всей их условности, спасала значительность сюжета. Здесь в «Lie Detector»*) этого нет. Это просто бытовая комедия, для которой я случайно нашел подходящую среду, так что мог обойтись без Луэллы Паркинсон из Кентукки. Надо вполне овладеть сценической техникой, и тогда я перейду к тому, что волнует мир... Но что же делать, если самые плохие и пошлые пьесы это именно те, где подаются высокие идеи. Они всегда фальшивы, всегда навеяны газетными общими местами, люди в них не живые, а

*) Прибор, обнаруживающий ложь.

надуманные, и происходит что-то сверхъестественное по нелепости и по фальши, как, например, убийство румынского фашиста благородным антифашистом в "Watch on the Rhine"*) Lillian Hellman. По совести, за одну хорошую комедию Кауфмана можно отдать все политические пьесы военного времени, потому что Кауфман хоть без претензий, и чрезвычайно остроумен, и знает людей и пишущих политических кукол не фабрикует... Впрочем, по совести я не знаю, какие есть в современном театре превосходные пьесы. Хорошие есть, а превосходных нет. «Вишневый Сад» Чехова тоже неизмеримо ниже уровня его рассказов, что бы ни говорили о нем иностранные поклонники».

Второй пьесе было уделено несколько тетрадок с отрывными листками. Такие тетради были удобны потому, что листки можно было бы вырвать впоследствии, когда пьеса будет закончена. Яценко невольно ловил себя на том, что иногда, правда редко, думает и о «грядущем исследователе» своих, пока столь немногочисленных, произведений. «Да, очень противная вещь — кухня нашей профессии. «Грядущие исследователи» ее раскопали у всех великих писателей, и те были бы верно в ужасе. Даже мой любимый Гоголь постоянно менял планы, не знал, что будет дальше. Он, впрочем, и вообще ничего не знал, Пушкин его стыдил, что он совершенно не знает западной литературы. Среди наших классиков Гоголь был единственный малообразованный человек, и от него пошло то, что теперь так пышно расцвело. Но ему и ему одному это не мешало быть великим писателем... Мне, конечно, опасность от «грядущих исследователей» не грозит, — с усмешкой думал он. — И разве у людей чистой отвлеченной мысли не то же самое? Бергсон откровенно говорил, что, начиная но-

*) «Стража на Рейне».

вую книгу, он никогда не знает, чем кончит и к каким выводам придет»...

Утром он хотел для Нади побриться, но в поезде это у него всегда выходило плохо. «Может быть, она и в самом деле не будет на вокзале». — В вагоне-ресторане он за кофе пробежал марсельскую газету. Ничего нового не могло быть: он еще накануне был во дворце Объединенных Наций, — там политические новости редко создавались, но узнавались и отражались раньше, чем где бы то ни было. Передовая статья газеты была безотрадна. «Что ж, газеты, верно, будут безотрадны до конца моих дней», — подумал он и увидел за столиком, по другую сторону прохода, наискось против себя, даму в ожерелье. Он только теперь мог разглядеть ее как следует. «В самом деле очень красива. Глаза странные, с чуть расширенными зрачками. Я таких глаз, кажется, никогда не видел. Голубые или серые?.. Вероятно, морфинистка»... Дама смотрела на него, но ему показалось, что она его не видит. «Кажется, смотрит на какую-то точку в моем лице? — беспокойно подумал он. — Уж не запачкался ли я в вагоне? Нет, в зеркале все было в порядке... Ну, смотри, смотри, голубушка, кто кого пересмотрит?» Она перевела взгляд на окно. Еще совсем недавно он, при встречах с красивыми женщинами, сравнивал их мысленно с Надей. Выходило всегда, что Надя лучше, и из этого он каждый раз радостно заключал, что влюблен... «Надя не «тихая пристань», не может быть «тихой пристанью» актриса. И она очень умна, хотя у нее, как у столь многих людей, ум двух измерений». Он увидел, что дама с ожерельем читает очень левую газету. «Ах, fellow traveler!*) — с сожалением подумал он.

Справа показалось залитое солнцем море, оливковые деревья, дома с плоскими крышами. Яценко

*) Попутчик.

почти не знал юга, только помнил восторженные рассказы отца. «Все будет хорошо! И войны не будет, и пьесу мою возьмут, не Пемброк, так другой... И нет ничего странного в том, чтобы жениться в сорок восемь лет»...

Метр-д-отель уже оставил счет на его столе, но ему не хотелось уходить в свой вагон. «Да, все-таки я хорошо сделал, что покинул Россию, которую я так люблю, хотя порою, зачем-то делаю вид, будто ее ненавижу».

В его отделении кушетки уже были убраны, у всех были утомленные, дорожные лица; люди лениво переговаривались, больше всего желая поскорее приехать. Яценко не любил дорожных знакомств, разговоров, вопросов. «Сказать, что я русский эмигрант, — это всегда вызывает сочувственное уныние. Сказать, что я американец, — не повернется язык. Да и сейчас же начнут спрашивать, что думают американцы о положении в Европе и о войне». Он в таких случаях отвечал, что американцев 150 миллионов и что каждый из них думает по-своему.

Соседи, впрочем, его именно за американца и принимали. Чемоданы у него были новые и дорогие, с наклейками "New York"... "De Grasse, cabine 110"... Ему хотелось записать что-то о второй пьесе. Яценко вынул записную книжку и начал было писать. Присутствие других людей теперь было ему чрезвычайно неприятно. Он все на них оглядывался, точно с их стороны было некорректно находиться здесь при его работе. «Да, насколько в этих записях все выходит лучше, чем когда начинаешь писать по-настоящему... Надя будет просить, чтобы ей дали роль... Да, Надя будет для меня идеальной женой, на заказ лучше не придумаешь. Ее бодрость, ее vitality, ее friendliness*), это и есть то, чего мне

*) Дружелюбие.

нехватает и что больше всего мне всегда нравилось в женщинах. И я думаю, что, женись на ней, я не совершаю ни опрометчивого, ни нечестного поступка. Она тоже уже не девочка. Она мне говорила, что ей тридцать, но, конечно, она и от меня, даже от меня, скрыла два или три года. Что ж делать, этого требует ремесло. Скоро начну скрывать годы и я... Я знаю, что я должен иметь свой очаг, иметь жену и детей. Я сам себе более всего противен именно такими рассудительными мыслями. По-настоящему, я был влюблен только в Мусю Кременецкую, но тогда мне было семнадцать лет. Что ж делать, я теперь себе лгать не могу. В России я слишком часто лгал и, главное, постоянно видел, как бессовестно, без сравнения со мной, лгут другие. Быть может, именно поэтому у меня выработалась почти болезненная потребность в правде. Не знаю, будет ли она мне полезна в литературе, а в жизни наверное будет вредна».

Хотя он и просил Надю не встречать его на вокзале, Яценко, выйдя из вагона в Ницце, надел пенсне и осмотрелся. Ее не было. «И отлично», — все же с легким разочарованием подумал он. В конце перрона с празднично-торжественным видом стояла кучка людей. Это официальные лица встречали иностранного министра небольшой страны, приехавшего для отдыха на Ривьеру. «Префект уже вошел в вагон. Кажется, тот ни слова по-французски не понимает. Теперь оба не знают, что сказать... «Моя», «твоя», “La France et la Sardaigne, La Sardaigne et la France”... Выезжают на радостных улыбках и на крепких рукопожатиях». Из вагона, торжественно-благодарно улыбаясь, вышла толстая дама с букетом, который ей, очевидно, поднес префект. Официальные лица почтительно помогли ей сойти по ступенькам. За ней показался ее муж, он не улыбался и скорее хмуро пожимал руки официальным лицам. «Наполеон и Жозе-

фина. Она действует своим очарованием, а он своей славой», — подумал Яценко, почему-то очень не любивший этого министра.

Яценко вышел из вокзала и ахнул. Солнце потоками заливало все: длинный, низенький желтоваторозовый вокзал, улицу, по которой не спеша проходил дребезжащий старенький трамвай, автомобили, казавшиеся ему игрушечными после нью-иоркских, пальмы, деревья, неизвестные ему даже по названию, плоские повозочки с лежавшими на них яркими цветами. В этих повозочках было что-то трогательное, говорившее о скромном человеческом труде, о скромных человеческих радостях, о простой, вековой жизни. Слева виднелись уютные, зеленые горы, впереди были дома, все непохожие один на другой, странный провал посредине, спуск, за ним другие улицы, кофейни, гостиницы, называвшиеся именами городов и каких-то аристократов. «Господи, как хорошо! Правду говорил папа, что человек создан для юга! Смесь Парижа и южной деревни»...

Веселый носильщик в синей блузе, не похожий на сердитых носильщиков в настоящих городах, в тележке привез его чемоданы. Подъехал допотопный фаэтон, запряженный гнедой лошадкой с разбитыми ногами. Кучер благодушно приподнял мягкую шляпу, помог носильщику поставить вещи на переднюю скамеечку, покрытую аккуратно сложенным потертым пледом, обменялся с ним шутками на забавном южно-французском языке, — Яценко слышал сходный говор на парижской сцене, когда изображали марсельцев, и ему не верилось, что так в самом деле говорят люди. Коляска медленно проехала мимо кофейных, мимо гостиницы с каким-то голубым минаретом. “Noailles”. Почему Ноай? Почему Сесиль?.. “Agence de voyages”, “Menu à 175 francs”... По улицам не шли, а гуляли веселые, живые, очевидно беззаботные люди. «Живи, дыши этим чудесным ароматным воз-

духом, впитывая это чудесное солнце, бери от жизни ее радости, ни о чем неприятном не думай».

Номер гостиницы был отличный и в переводе на доллары недорогой. Ему также надо было жить по рангу: не только для кинематографического магната, но и для Нади. Он себя бранил за мещанские чувства, однако и она не должна была знать, что у него на текущем счету в Нью-Йорке не найдется и тысячи долларов. «Только две национальности, русские и американцы, не любят делать сбережений, а, волей Божией, я и русский, и «американец». В Нью-Йорке он, впервые с детских лет, стал жить безбедно, и смутно, с неприятным чувством, сознавал, что вернуться к прежней жизни бедняка ему было бы очень тяжело.

Теперь, в этом благословенном международном городке, не была тяжела и мысль, что он принадлежит к двум нациям, между которыми не сегодня-завтра может начаться война. В первый год по приезде в Нью-Йорк он с вызовом говорил и другим, и даже себе, что только и желает поскорее стать американцем и «забыть все русское». Это давно прошло. Чувствовал, что возненавидит жизнь и себя в тот день, когда атомная бомба упадет на Петербург, на его Петербург, — в мыслях никогда не называл этот город ни Ленинградом, ни даже Петроградом.

Он выкупался, тщательно выбрился, надел из своих костюмов тот, в котором казался моложе и стройнее. Всегда был элегантен и в Нью-Йорке заказывал костюмы, никогда не покупал готовых. В Париже перед отъездом в Ниццу купил несколько галстуков в знаменитом магазине на Place Vendôme и сам улыбался, выбирая их. Так же улыбаясь, и теперь выбирал в чемодане галстук, рубашку, носки. «Вторая молодость... Впрочем, первой почти и не было»...

Раздался телефонный звонок, он радостно подошел, чуть не подбежал к аппарату — и услышал мужской голос. Говорил Альфред Пемброк. Этот кинема-

тографический магнат, несмотря на свое благодушие и любезность, часто бывал ему не совсем приятен покровительственным тоном. С ним были связаны далекие воспоминания: Пемброк сказал ему, что был другом его отца. Яценко помнил, что таких друзей у его отца не было, но газетная подпись Дон-Педро осталась у него в памяти; отец в самом деле об этом журналисте иногда за столом говорил.

— ... Поздравляю с приездом, очень рад, что и вы тут, весь Нью-Йорк сейчас во Франции, — говорил Пемброк. Они всегда разговаривали по-русски: так было легче даже Альфреду Исаевичу, хотя он прожил в Америке тридцать лет. — Но что я слышу! Вы написали пьесу и, говорят, очень хорошую пьесу! Я говорил еще вашему покойному отцу, какой вы способный юноша. Вам тогда было верно лет шестнадцать... Ах, хорошее было время!.. Вот что, мы условились с мисс Надей, что вы ее сегодня нам прочтете. Я рад буду послушать и, если я что-либо могу для вас сделать, вы можете на меня рассчитывать и как Уолтер Джексон, и как сын вашего отца, которого я очень любил и почитал... Мы встречаемся сегодня, в четверть десятого, у меня, — он назвал самую роскошную гостиницу Ниццы.

— Я буду очень рад, — ответил Яценко, не совсем довольный. Почему-то ему казалось, что он сначала прочтет Наде пьесу наедине. «Впрочем, в самом деле не имеет смысла и нет времени устраивать два чтения».

— Отлично. Пригласил бы вас на завтрак, но уже поздно: я ведь говорю из Монте-Карло.

— Играете?

— Есть грех. Надо же и нам, старикам, иметь какие-нибудь удовольствия. Значит, до вечера. «Пока», как говорят у дяди Джо.

III.

Пемброк опять выиграл в этот день в Казино около пятнадцати тысяч франков. Эта сумма не имела для него никакого значения. Тем не менее выигрыш привел его в прекрасное настроение духа. Ему было забавно, что он выигрывает там, где другие почти всегда теряют деньги.

В последние тридцать лет ему удавалось все. Он нажил на кинематографических делах большое состояние, имел прекрасный дом в Холливуде, знал множество знаменитых людей. В его гостиной висело несколько картин Модилиани, на которые он сам в первое время поглядывал испуганно; в кабинете же были пейзаж Левитана и статуэтка Антокольского. Эту статуэтку он с гордостью показывал американцам, говорил, что Антокольский был величайшим скульптором 19-го столетия, и обижался, что они никогда о нем не слышали. Было у него и благоустроенное имение в Калифорнии. — «Вечная еврейская тяга к земле, — говорил он, — это настоящий атавизм. Мои предки наверное две тысячи лет никакой земли не имели. Тем не менее, а может быть, именно поэтому, нигде я не чувствую себя так хорошо, как в моем "Sylvia's House", с садом, с лошадью, с собаками, с курами».

Он постоянно, при любом поводе или без всякого повода, говорил о своем еврейском происхождении и об еврейском вопросе. Это было известно в Холливуде, и его американские приятели, не бывшие антисемитами и очень хорошо к нему относившиеся, не-

редко от его разговоров убегали или слушали его без ответной улыбки. Сам он всегда улыбался благожелательной, почти королевской улыбкой преуспевшего в жизни человека. Пемброк имел репутацию джентльмена и в делах, и в частной жизни, никогда никому не отказывал в услугах, редко отказывал в деньгах. Немало давал на благотворительные дела, на помощь еврейским беженцам, отправлял множество продовольственных посылок чуть ли не во все страны Европы; у него везде были родные, — коренные американцы только сочувственно удивлялись: как можно иметь столько родных, да еще в никому неизвестных странах! Он хорошо относился и к русским православным. В свое время в России, особенно в молодости, Альфред Исаевич жил очень туго. Однако теперь ему казалось, будто после того, как он стал журналистом Дон-Педро, весь Петербург состоял из его друзей. Он оказывал помощь и разным бывшим сановникам, если не считал их антисемитами, а их детям или внукам охотно предоставлял роли статистов в своих фильмах; очень любил ставить «Пышный бал в императорском дворце» (фильм исторический) или «Большой прием у герцога Карлсбадского» (фильм шпионский). В прежние времена некоторые вольнодумцы сомневались, действительно ли Альфред Исаевич такой необыкновенный знаток кинематографического искусства. Но все его предприятия сопровождались успехом: н о в а т о р с к и х дел он не любил, зато чрезвычайно ценил гаг-и*), — и даже сам их иногда придумывал, чем особенно гордился; не раз находил новых артистов и артисток, которые затем становились знаменитостями. Все, что нравилось Пемброку, еще больше нравилось публике. Кроме того, он стал знатоком и просто по выслуге лет, как, например, многие государственные деятели понемногу становятся велики-

*) Кинематографические эффекты.

ми людьми лишь потому, что в течение десятилетий занимают министерские должности.

По наружности он походил на сбрившего бороду патриарха; выражение лица было тоже патриархальное, без той полускрытой робости, какая бывает у не-влюбленных в себя стариков. С годами у Пемброка появилось небольшое брюшко, он ходил теперь медленно, немного переваливаясь. Врагов у него почти не было и сам он почти всем желал добра. Были, конечно, соперники, но, если на долю кого-либо из них выпадал особенный успех, то Альфред Исаевич почти не испытывал огорчения: отчасти утешался тем, что других конкурентов этот успех раздражит гораздо больше, чем его. Он постоянно говорил, что считает себя счастливым человеком: «Живу как мне хочется, семью устроил, могу и другим помогать, и на Палестину давал, и Америки, которой я всем обязан, тоже, говорят, не посрамил».

При чтении Библии его особенно радовала именно жизнь патриархов, с ее семейными добродетелями, с ее немалыми, но преодоленными в конце концов испытаниями. Альфред Исаевич сам преодолел немало испытаний и с удовлетвореньем оглядывался на свою жизнь. Ему было только досадно, что он не поставил ни одного из тех г р а н д и о з н ы х фильмов, которые представляли собой, по его и по общему в Холливуде мнению, историческое событие, как «Не-терпимость» или «Бен-Гур». Да еще нехорошо было, что неизбежно приближались несчастья. Маленьким утешением, правда, было то, что, как он знал, в случае болезни, к его и его семьи услугам будут лучшие в мире больницы с платой по двадцать пять долларов в сутки, а — не дай Бог! — в случае операции хирурги, получающие за нее пять тысяч. Альфред Исаевич старался обо всем этом думать возможно меньше, но раза два в год ездил и посылал жену к

самым дорогим врачам просто для check up*). Особенно серьезных болезней у него не было: только, как он говорил, намек на простату. Утешительно было также, что другие старились одновременно с ним. Несмотря на свою доброту, Альфред Исаевич чувствовал некоторое удовлетворение, когда при встречах замечал, что его сверстники сохранились хуже, чем он. Врачи назначили ему обычный режим стариков, — поменьше мяса, кофе, крепких напитков, — но назначили без зловещей настойчивости. Давление крови у него было 150 : 85, и он с гордостью об этом всем сообщал, точно это было его заслугой. «Как у молодого человека! Комментарии излишни! А мое сердце! Мак-Киннон сказал, что он в жизни такого сердца не видел!»

Во Францию он приехал частью для отдыха, частью по делам. С некоторой торжественностью говорил, что хочет подышать европейским воздухом. В действительности, он американский воздух предпочитал всем другим; Пемброк обожал Соединенные Штаты и обижался, если европеец находил что-либо в Америке дурным. Тем не менее в Европе он бывал с удовольствием (сносно говорил по-французски). Перед второй войной он съездил в Россию, побывал в Петербурге, в своем родном юго-западном городе. Однако большевистский строй очень ему не нравился, советские фильмы, за исключением трех или четырех, были плохи, самое же тяжелое было то, что не осталось в живых никого из людей, с которыми прошла большая часть его жизни.

Об его отъезде во Францию на "Queen Mary" было кратко упомянуто в американских газетах, а о прибытии более пространно сообщено в европейских. На Ривьере в газете появился даже его портрет с огромной надписью: "Un roi de Hollywood notre hôte

*) Общий осмотр пациента.

à la Côte d'Azur"*) (в Соединенных Штатах заголовки были такие короткие, что их и понять было нелегко). Альфред Исаевич почти ничего для личной рекламы не делал: уже занимал такое положение, что реклама приходила бесплатно, сама собой. В Ницце он был приглашен на большой официальный обед, пожертвовал двадцать пять тысяч франков на местные благотворительные дела, был на открытии памятника какому-то государственному деятелю, на полном равнодушии к которому совершенно сошлись левые и правые. В десяти лучших гостиницах Ривьеры оказались старые знакомые и появились новые. Был еще завтрак на иностранном крейсере, зашедшем на неделю в Вилльфранш, — опять-таки само собой вышло так, что Пемброк не мог не быть на завтраке у командира крейсера. Там он познакомился с Делаваром. После завтрака на крейсере они несколько раз встречались в Казино, в Sporting'e и поочередно приглашали друг друга обедать в Hôtel de Paris, в Réserve de Beaulieu, в La Bonne Auberge.

Жизнь в Ницце и в Монте-Карло была очень приятна. Альфред Исаевич посвежел, был бодр, весел, а озабоченный вид принимал лишь в тех случаях, когда опасался, что у него, как у голливудского короля, попросят на благотворительные дела уж очень много денег. Но масштабы во Франции были маленькие, его пожертвованиями все оставались довольны, хвалили его за щедрость и за план Маршалла. Пемброк записался в Казино и клубы, играл в рулетку с удовольствием. Играл без хитростей, ни в какие системы не верил и с благодушно-насмешливой улыбкой поглядывал на тех игроков, которые приносили с собой брошюры местного производства, что-то соображали с карандашом в руках и записывали все выходящие номера. Его собственная система заклю-

*) «Голливудский король наш гость на Лазурном берегу».

чалась в том, чтобы пореже ставить на цифру, где был только один шанс на выигрыш из тридцати шести, и чтобы никогда не приносить с собой в игорный дом больше пятидесяти тысяч франков. Обычно он выигрывал и с приятным сознанием, что ему всегда во всем везет, отправлялся со знакомыми обедать. Если за обедом были дамы, он ухаживал за ними благосклонно и без жара. Пемброк прожил тридцать лет в обществе самых красивых женщин мира, но был всегда верен своей жене Сильвии. Им оставалось четыре года до золотой свадьбы.

Встав из-за стола рулетки, он разменял в кассе выигранные жетоны и рассовал деньги по карманам: тысячные билеты во внутренний боковой карман, сотенные в верхний жилетный, мелочь в нижний жилетный. Часы показывали шесть. Он условился встретиться с Делаваром в гимнастической зале. Альфред Исаевич собирался сделать дело с этим своим новым знакомым, но был бы не очень огорчен, если б соглашение и не состоялось.

О Делаваре говорили нехорошо. Он швырял деньгами, вел огромную, давно невиданную даже в Монте-Карло игру. Правда, много и жертвовал, но, по мнению недоброжелателей, этим способом замаливал и заглаживал разные грешки. О происхождении его богатства ходили разные слухи: были тут и советские векселя, и поставка оружия обеим сторонам во время гражданской войны в Испании, и большая игра на бирже. Однако точно никто ничего не знал. Альфред Исаевич не придавал значения сплетням: почти все рассказывают гадости почти обо всех, а такой человек, как Делавар, конечно, должен был иметь особенно много врагов и завистников. С немцами он, повидимому, никаких дел в пору оккупации не вел; это было для Пемброка самым важным. Не совсем приятно в Делаваре было, что он разбогател лишь совсем недавно: как все богачи, Альфред Исаевич отличал

людей, разбогатевших полвека назад, от тех, у кого богатство (как впрочем у него самого) было лишь двадцатилетней или, еще хуже, десятилетней давности. До войны этого игрока на Ривьере никто не видел. Говорили также, что Делавар не настоящая его фамилия и что по происхождению он «левантинец». — «Ну, что ж, увидим, — думал Альфред Исаевич, — если окажется, что он прохвост, то я поищу других компаньонов».

Вдоль столов неторопливо, как будто и не глядя по сторонам, гулял старик Норфольк, с которым Пемброк тоже недавно познакомился на Ривьере. Это был занятно-болтливый человек, — Альфред Исаевич, чем больше жил, тем больше убеждался, что о ч е н ь интересных людей на свете почти не существует, а интересных-просто есть много и они часто встречаются там, где их меньше всего ждешь. Этот старик не то служил в Казино по наблюдению за игроками, не то был приставлен к Казино от монакского полицейского ведомства. Занимался он и другими делами, был комиссионером по продаже драгоценностей. Альфред Исаевич остановил его и поболтал с ним: они говорили по-английски, оба с бруклинским акцентом. Обменялись сведениями о здоровье, у Норфолька тоже был «намек на простату».

— Что ж, придете к нам и вечером, мистер Пемброк? — спросил Норфольк.

— Нет, сегодня не могу. Я уезжаю в Ниццу.

— Если увидите ту очаровательную русскую артистку, мисс Надю, пожалуйста кланяйтесь ей от меня.

— Я как раз сегодня ее увижу, — сказал Пемброк. Его удивляло, что этот старик, служащий в игорном доме, умеет держать себя на началах полного равенства со всеми. Он и с ним, и с Делаваром, и с Надей, которую Альфред Исаевич раза два приводил в Монте-Карло, разговаривал как светский чело-

век со светскими людьми: точно так же он держал себя с игроками, занимавшими в обществе гораздо более высокое положение, чем Пемброк или Делавар. Это нравилось Альфреду Исаевичу. Он и Америку особенно любил за ее бытовой демократизм.

— Мосье Делавар обещал прийти вечером.

— Да, я с ним сейчас встречусь, — сказал Пемброк и подумал, что именно Норфольк мог бы кое-что сообщить ему о Делаваре. — Вы хорошо его знаете? — небрежно спросил он. Старик чуть улыбнулся.

— Я по своей работе обязан знать всех.

— Кажется, Делавар не настоящая его фамилия. Я знаю, что он французский гражданин... Мне говорили, будто он по происхождению «левантинец», но что такое «левантинец»? На востоке много стран.

— Настоящая его фамилия в самом деле очень левантинская... Если она настоящая... После войны многие герои Résistance*) оставили за собой те фамилии, под которыми они совершали свои подвиги. Некоторым из них так гораздо удобнее. У него были две клички: «Делавар» и «Гарун-аль-Рашид». Обе, конечно, придумал он сам.

— Разве он участвовал в Résistance?

— Все были героями Résistance, — ответил Норфольк невозмутимо. — Кроме нескольких преданных суду злодеев, все жившие во Франции с 1940-го по 1944-ый год, признаются героями Résistance.

— Так он хорошо вел себя при немцах?

— Превосходно. И фамилию он выбрал превосходную. Из «Делавар» понемногу можно сделать «де Лавар» или даже «де ла Варр». Есть такие английские графы. Один из них даже дал имя американскому штату... Я не был героем Résistance только потому, что я во время войны был в Англии. Иначе я при-

*) Так называлась борьба с немцами в пору оккупации.

нял бы фамилию Монморанси. Первый христианский барон был Монморанси.

— В Америке все меняют фамилии, — обиженно сказал Пемброк.

— И отлично делают. Я сделал то же самое, — Старик засмеялся. — Впрочем, я не должен был бы говорить того, что сказал. Но это мое вечное несчастье: я всегда говорю то, чего говорить не должен... Самое удивительное в мосье Делаваре то, что он не барон. Почему он еще не барон?... Он очень неглупый человек. Страшно любит все левое. Я уверен, что он в философии экзистенциалист и считает первым прозаиком в мире Сартра, а первым поэтом Эллюара. Впрочем, беру все назад. Я тем более не должен был бы шутить над ним, что он как раз недавно предложил мне поступить к нему на службу, в его секретариат. Я впрочем ничего плохого о нем не знаю.

— У него есть секретариат?

— У всех больших людей есть секретариат. У Стависского, например, были и секретари, и сыщики, и телохранители... Я, конечно, не сравниваю мосье Делаvara со Стависским, — сказал Норфольк, видимо спохватившись.

— Я надеюсь, — сухо ответил Пемброк. Он в принципе находил, что порядочный человек обязан **о б р ы в а т ь** людей, дурно говорящих об его приятелях, но знал, что жизнь потеряла бы значительную долю прелести, если б все строго следовали этому принципу. «Впрочем, Делавар не мой друг, и ничего худого этот болтун не сказал». — Я каждого человека считаю честным, пока не доказано обратное.

— Да он и есть честный. Это они строго различают: подделать бумагу, выдать чек без покрытия, таких вещей они никогда не делают, в малом они всегда честны... Они живут в пределах уголовного кодекса. Зато в этих пределах недурно устраиваются.

— Что ж, вы приняли его предложение?

— Кажется, приму. Он предлагает очень хорошее жалованье.

— Тогда, действительно, не следовало бы над ним иронизировать, — сказал Пемброк и холодно простился с Норфольком.

IV.

В большой гимнастической зале были стойки с гирями, бары, тир, чучела с кружочками, щиты, скользившие по шнуркам бутылки. По правую сторону от входа два молодых человека без пиджаков и жилетов стояли друг против друга с рапирами в руках. Распорядитель зала оглянулся на Альфреда Исаевича и, поклонившись ему, сказал молодым людям: "En garde!" Молодые люди, подняв и отставив назад согнутую левую руку, выставив немного вперед правую ногу с согнутым коленом, не сводя друг с друга глаз, скрестили рапиры. "Ligne du dedans!.." "Les deux pieds formant equerre!.." "Pointe plus haut!.." "Seconde!.." "Tierce!.." "Parade simple!" "Rompez!.." кратко бросал мастер. «Учатся господа виконты! Еще надеются сражаться на дуэлях, это после всего того, что произошло в мире, дурачье этакое», — подумал Пемброк. Он терпеть не мог все связанное с оружием. Если было на свете что-либо совершенно ненужное честному человеку, то это были, по его мнению, фехтованье и бокс. В Америке Альфред Исаевич никогда не бывал на матчах знаменитых боксеров и даже не читал о них газетных отчетов, а в своих фильмах допускал матчи и драки (между которыми разницы не понимал) только потому, что они были совершенно необходимы. Ему в свое время доставило удовольствие, что без длинных драк не обходятся и советские пропагандные фильмы вроде «Путевки в жизнь». «Что ж делать? Публика требует этого во всем мире»...

По левую сторону от входа, у барьера, шагах в пятнадцати от бутылки с красным кружком, стоял с карабином в руках Делавар, невысокий, осанистый и

красивый блондин лет тридцати пяти. Он обращал на себя внимание странным, не то оливковым, не то коричневым цветом лица. «Гнедой он какой-то, — подумал с некоторым несвойственным ему недоброжелательством Альфред Исаевич. — А глаза совсем как вишни... Он немного похож на Наполеона и немного на крымского проводника-татарина. Вероятно, он очень нравится женщинам... Во всяком случае он опровергает теорию «голубой крови»: никак не скажешь, что вышел из низов. И одет тоже как герцог!»... Враги Делаваара говорили, что в нем с первого взгляда можно признать выскочку, но Пемброк думал, что они так говорят именно в виду его темного происхождения. «Если б он был принцем Уэлльским, то все ему подражали бы. Это нетрудное искусство хорошо одеваться вообще больше зависит от портного, чем от заказчика. Мои голубчики одеваются лучше всяких принцев, а они бывшие дровосеки, рассыльные, и кто только еще», — подумал Альфред Исаевич, вспомнив знаменитых кинематографических актеров. Он остановился, чтобы не мешать выстрелу. Делаваар недовольно оглянулся на вошедшего, чуть улыбнулся ему и прицелился. «Ну, валяй, пиф-паф!» — сказал мысленно Пемброк. Раздался выстрел, пуля попала в щит, но бутылка осталась целая. — «Ваше ружье бьет на пять сантиметров влево!» — сердито сказал Делаваар мальчику, который поспешно подал ему другой карабин. Он снова, нахмурившись, прищурил левый глаз, выстрелил и на этот раз попал: что-то треснуло, опрокинулось, прокатилось по шнурку. Делаваар отдал карабин, видимо очень довольный, отошел к Пемброку и крепко пожал ему руку.

— Поздравляю, это очень полезное занятие, — саркастически сказал по-английски Альфред Исаевич.

— Как для кого и для чего, — весело ответил Делаваар. — Для солдат, например, очень полезное.

Под Мажентой австрийцы выпустили восемь миллионов пуль, а убили только десять тысяч французов.

— «Только»! Какая жалость.

— Это составляет восемьсот пуль, чтобы убить одного врага, совершенно непроизводительная трата металла. Бросьте ваш еврейский пацифизм! Если воюешь, то надо побеждать врага.

— Я знаю, вы «победитель жизни». Хорошо, где же тут можно было бы поговорить?

— Пойдемте в бар. Обедать еще рано.

В баре было несколько человек. Делававар презрительно-благодарно их обвел взглядом, точно все здесь были одинаковые, хорошо ему известные, никому не нужные, но сносные люди. Он вынул папиросу из золотого портсигара, барман и еще каких-то два человека немедленно к нему подскочили со спичками и зажигалками. Он поблагодарил их, чуть наклонив голову, — видимо ничего другого и не ждал, — и заказал портвейн. — «Мой», — сказал он. Пемброк спросил рюмку коньяку. Он попрежнему, когда пил, имел такой молодцеватый вид, точно брал штурмом крепость.

— Суворов пил английское пиво с сахаром, — сказал Альфред Исаевич. Они сели за столик. Лакей принес бутылки. Делававар пил много, пьянел редко, но язык у него развязывался и он говорил то, чего не сказал бы, вероятно, в трезвом виде. Он имел некоторый дар слова, но никогда в его словах не было ничего нового или интересного, хотя вид у него был обычно такой, точно он небрежно предоставлял всем желающим черпать из сокровищницы его мыслей. Английским языком владел прекрасно и говорил так, как в лондонских мюзик-холлах изображают людей, говорящих с оксфордским акцентом; не произносил буквы г в конце слов и вставлял редкие словечки, будто бы употребляемые аристократами.

— Вы, кажется, не любите вина, Пемброк? — спросил он после второго бокала. — Отчего бы это?

— Я старый еврей и такой прозаик, что придаю значение здоровью. Кажется, кто-то писал, что до сорока лет человек живет на проценты со своего организма, а потом на капитал. Вы, конечно, и процентов не проживаете, — сказал Пемброк. — Кроме того, я не очень люблю вкус спиртных напитков.

— Каждая удача от вина становится втрое приятнее, а каждая неудача без него втрое тяжелее.

— А вы мне как-то говорили, что у вас неудач не бывает, — съязвил Альфред Исаевич.

— Очень, очень редко... Что ж, пообедаем вместе?

— Не могу. У меня вечером чтение пьесы. Один писатель предлагает мне приобрести ее.

— Какая скука! Я не переношу чтения вслух, когда оно продолжается более двадцати минут. Если б еще молодая писательница и хорошенькая!

— Будет и хорошенькая женщина, — сказал Альфред Исаевич и назвал Надю. — Даже мало сказать хорошенькая: почти красавица. Если б я был лет на тридцать моложе, я влюбился бы в нее без памяти. Но она именно невеста этого писателя. Это некий Джексон, американец русского происхождения.

— Кажется, я его встречал в Париже. Он служит в Объединенных Нациях? Мне говорили, что он очень способный человек... Ну, что ж, вы, кажется, хотели поговорить о делах. Как же вы относитесь к моему плану создания Холливуда на Ривьере? — спросил Делавар равнодушным и даже несколько пренебрежительным тоном. — Вы о нем подумали?

— Да, я думал. Мне об этом плане говорили и другие. О нем говорят уже давно и много...

— Обо всех больших делах много говорят, — перебил его Делавар. — Об атомной бомбе тоже сначала говорили, говорили, а потом ее создали.

— Нет, об атомной бомбе сначала молчали, мол-

чали, а потом ее создали, — сказал Альфред Исаевич. — Видите ли, для меня ваш план слишком большое дело. Между тем политическое положение в Европе, к сожалению, неустойчиво. Кроме того я, как американец, не могу создавать постоянного конкурента Холливуду. Да я и не располагаю сейчас такими огромными капиталами, которые понадобились бы для осуществления вашего плана.

— О, за деньгами дело не станет, — небрежно сказал Делавар. — Впрочем, это только один из моих проектов. Я всегда обдумываю десять, осуществляю один или два. Да вот, например, я сейчас имею в виду еще кое-что...

Он сообщил о каких-то проектах, имевших между собой лишь то общее, что для каждого из них требовались миллиарды. Но рассказывал о них Делавар небрежным тоном, показывавшим, что все это его очень мало интересует: зашел разговор, — отчего же не поговорить? Выходило даже как будто так, что ничья помощь ему для осуществления этих проектов не нужна: он просто делится из любезности с собеседником своим проектом, но и денег, и связей у него у самого больше, чем нужно. Альфред Исаевич слушал с некоторой досадой: смутно понимал, что громадное большинство людей иногда отдается непреодолимой потребности в хвастовстве и что характер человека сказывается в том, как часто и в какой форме он это делает. При всей своей банальной оригинальности, Делавар говорил дельно. Некоторые его проекты в самом деле казались ценными и осуществимыми. Повидимому, он знал всех видных людей Европы. Это по крайней мере следовало из той улыбки, с которой он произносил их имена. Ему была известна частная жизнь каждого из них, он знал, какая у кого любовница, кто как нажил деньги; из его слов как будто выходило, что все они люди нечестные, но собственно никакой личной ответственности

сти за это нести не могут: отвечает существующий строй. Рассказывал он все это, в своем обычном небрежном тоне, так, как будто ни малейших сомнений в его сведениях никак не могло быть. Небрежный тон и улыбка Делаваара раздражали Альфреда Исаевича.

— О Европе я судить не могу, — наконец вставил он, — но у нас в Америке и в делах, и у власти неизмеримо больше честных людей, чем нечестных. Думаю, впрочем, что так же дело обстоит и в Европе. А что если б мы перешли к менее грандиозным делам? Хотя, может быть, вам вообще больше деньги не нужны. Говорят, у вас есть миллиард франков, — иронически сказал Пемброк. Он и не очень верил в то, что у Делаваара есть миллиард франков, да и сумма эта в переводе на доллары звучала гораздо более скромно.

— Почему миллиард? Подсчитать, так, быть может, найдется и больше. Но это мало меня интересует, — так же небрежно сказал Делаваар.

— А что вас интересует?

— Все кроме денег. Будущее мира. Любите ли вы Апокалипсис? Какая великая, глубокая и мудрая книга! Вспомните видение саранчи, подобной коням и с лицом человеческим. Она пройдет по миру, но нанесет вред только тем людям, у которых на челе нет печати Божией.

«Вот тебя она первым и слопают!» — подумал Альфред Исаевич. Делаваар заговорил о политике и высказал несколько мыслей, которые можно было прочесть в любой коммунистической газете. Но и тут говорил он так, точно эти мысли были плодом его долгих ночных размышлений.

— Знаете, в чем разница между старой буржуазией и новой? — с досадой сказал Пемброк. — Прежний делец был реакционер, ненавидел либеральные правительства, помогал правым группам устраивать перевороты, стоял за обуздание рабочих, за распра-

ву с коммунарами, и так далее. Нынешний европейский делец — коммунист. В партию он, конечно, не входит, потому что это все-таки небезопасно, но он всей душой сочувствует коммунистам, хотя почему-то не хочет переселиться в СССР. А своей личной собственностью, конечно, чрезвычайно дорожит. Чем больше эти люди говорят о коммунизме, тем больше проявляют в частной жизни собственнических, а то и просто стяжательских инстинктов.

— Все это пустяк, о каком и говорить не стоит, — пренебрежительно сказал Делавар. — Я считаю, что коммунисты правы почти во всем том, что они говорят о капиталистическом строе. Если они иногда говорят и вздор, то потому, что они его еще недостаточно знают. Смею думать, что я знаю капиталистов лучше, чем Сталин.

— Да и дела можно делать с коммунистами, — сказал язвительно Пемброк.

— И дела можно делать, — подтвердил Делавар, нахмурившись. Он был обидчив и подозрителен: предполагал обиды там, где их не было. — Но суть, конечно, не в делах. Они сами по себе совершенно не важны.

— Но, еще раз спрашиваю, что же собственно важно?

— Важны идеи. Деловых людей принято считать «хищниками» и «циниками». Во мне этого нет и следов.

— Вы идеалист?

— Да, я идеалист в полном смысле слова, хотя вы этому, конечно, не верите. Из идеализма я и сочувствую коммунизму. К кормилу правления и должны прийти люди идеи. Они возьмут его в руки, хотя оно сейчас и раскалено.

— Как вы пышно выражаетесь! — сказал Альфред Исаевич. — Может быть, коммунисты и овладеют

властью в Европе, но тогда у меня останется одно утешение: я увижу, как у вас отберут ваше богатство. Посмотрим, что вы тогда запоете!

— Какое значение имеет то, что я тогда запою? Я стараюсь жить в свое удовольствие, и мне очень удобно делать дела в буржуазном мире. Однако это никак не может затемнять моих мыслей. Быть может, мне очень неудобно или неприятно, что дважды два четыре. Но я должен признать: дважды два все-таки четыре.

— Вы хотите сказать, что правда на стороне их идеи? Это я сто раз слышал от наших феллоу-трэвелеров. Их в Холливуде сотни, все люди с хорошими средствами, и никто из них в СССР не едет.

— О каких мелочах вы говорите! — сказал Делавар морщась, таким тоном, точно ему было скучно говорить с маленьким человеком, как Пемброк, и разъяснять ему простые истины. — В мире действительно сейчас идет только одна борьба, точнее только одна игра. Кто победит, все же неизвестно. У меня есть на этот счет мнение, однако полной уверенности нет. Громадное большинство людей лишены воображения. Они просто себе не представляют: как же может быть так, что во всем мире будет коммунизм! А это может быть очень просто. Сделайте, впрочем, поправку на то, что я немного вас пугаю, как почтенного либерального буржуа. Я не так и страшен, как кажусь.

— Да вы и не кажетесь, — сердито сказал Пемброк. Делавар опять улыбнулся с сознанием своего превосходства. Это чувство он испытывал в отношении всех людей.

— Тем лучше... Вы спросили, что меня в жизни интересует, и я вам ответил. Но если б вы задали мне вопрос, что больше всего доставляет мне наслаждения, то я сказал бы: прежде всего игра...

— Биржевая игра? — спросил Пемброк. «И для чего он так ломается?» — с досадой думал он.

— Нет, карточная. Я именно здесь в Монте-Карло почувствовал с особенной ясностью, какой вздор политическая экономия. Экономисты уже сто лет болтают о «ренте», «прибавочной ценности» и т. д... А здесь без всяких рент и ценностей люди в одну ночь становятся богачами, да еще и налогов никаких с выигрыша нет. Если вы защищаете капиталистический строй, то рекомендую вам заняться этим явлением. Символ капиталистического строя — игорный дом. Да если хотите, это и символ жизни вообще, — сказал он, видимо очень довольный своим афоризмом.

— Я сегодня что-то выиграл в рулетку и не знал, что это такое глубокое социальное явление.

— Рулетка глупа. Я хочу сам играть, а не чтобы за меня играл костяной шарик. Настоящая игра только одна: покер. Это торжество человеческой воли, торжество крепких нервов. Это символ жизни, символ большой политической игры. Гитлер проиграл свое дело потому, что он был смелый стрэддлер, гениальный блеффер и совершенно слепой игрок: у него в руках был Flush, а он принимал его за Royal Flush.

— Это мне не очень понятно, так как я в покер не играю.

— И вы не находите поэзии в игре, бедный человек?

— Нахожу, но очень дешевую.

— Быть может, вы видите некоторые противоречия в моих словах? Что ж делать? Никогда не противоречат себе только очень глупые люди, или монахи, или теоретики политических партий... Впрочем, я не коммунист, я только антикоммунист, это совсем другое дело. Незачем ругать большевиков, когда другие не на много лучше, а многие и хуже... Да, да мне все удается в жизни, это даже скучно.

— А вы бросьте перстень в море, как этот... Как его? Как Полифем, — сказал Пемброк.

— Но еще больше игры, больше всего на свете я люблю женщин, — сказал Делавар и чуть закрыл глаза. Альфреду Исаевичу хотелось, чтобы на лице его собеседника при этих словах появилось развратное, «плотоядное» выражение. Но, напротив, лицо Делаvara теперь выражало покорное рыцарское обожание. Он больше не был ни Наполеон, ни Сесиль Родс, ни Ленин: он теперь был трубадур. — Богатство, игра, слава, чего все это стоит по сравнению с улыбкой любимой женщины!

— Если хотите, я могу вас пригласить в ближайший фильм на роль первого любовника, — сказал Пемброк самым саркастическим своим тоном. — Но в самом деле бросим поэзию и перейдем именно к фильмам.

Делавар медленно открыл глаза, точно вернувшись к жизни после прекрасного сновиденья.

— Я вас слушаю, — устало, со скукой в голосе, сказал он.

Пемброк изложил свой план. Он рассчитывал приобрести во Франции три-четыре интересных сценария, предполагал поставить их в Париже и был уверен, что фильмы, поставленные им, будут немедленно приобретены в Соединенных Штатах. По мере того, как он говорил, лицо Делаvara снова переменилось. Теперь был внимательно слушавший коммерсант. В его небольших блестящих глазах было что-то несколько не «хищное», а просто хитрое, осторожное, смышленное. Он задал несколько вопросов, показывавших, что он сразу все схватывал и расценивал верно.

— Вы понимаете, что я и сам мог бы вложить деньги, нужные для такого дела, — сказал Альфред Исаевич. — Но из корректности по отношению к Франции, я хотел бы, чтобы в деле участвовал также французский капитал...

— Без этого, быть может, и не удалось бы заручиться поддержкой французских властей, — вставил Делавар.

— Кроме того, я не могу долго оставаться во Франции. Мне нужно будет возвращаться в Нью-Йорк, а я летать не люблю... Не то, что бы мне не позволяло здоровье: профессор Мак-Киннон сказал мне, что он никогда не видел такого сердца, как у меня. Но я просто не люблю летать. Значит, мои отлучки будут довольно долгими, и нужно, чтобы в это время во главе дела оставался серьезный человек. Я и предлагаю вам быть моим компаньоном.

— Что ж, это может быть интересное дело, — ответил Делавар. — Покажите мне сценарии. У вас уже есть экипа?

— Экипа частью есть, частью будет, — сказал Альфред Исаевич, невольно удивляясь тому, что этот человек, никогда не занимавшийся кинематографическим делом, сразу задает основной вопрос и даже знает технические слова. — Я в Париже говорил с разными людьми. — Он назвал очень известных артистов и режиссеров. — Они все не только готовы, но рады и счастливы работать со мной. Вы сами понимаете, что это такое значит, когда обеспечена покупка фильма в Америку!.. Несколько хуже обстоит дело со сценариями. Кое-что есть, я вам покажу. Все-таки мне действительно до зарезу нужны хорошие сценаристы и для Франции, и особенно для Соединенных Штатов. Холливуду необходимы новые сценаристы и диалогисты! Иначе Холливуд погрязнет в своей рутине. Нам нужны люди, которые внесут свежую струю! Понимаете, свежую струю!

— Если вы найдете хорошие сценарии и если такие артисты у вас законтрактованы, то я готов буду принять участие в деле. Разумеется, на известных началах... Вы решительно не можете сегодня со мной пообедать?

— Сегодня, к сожалению, никак не могу.

— Так давайте, встретимся завтра. — Делавар вынул из кармана карманный календарь в мягком кожаном переплете. — Да, завтра у меня обед свободен.

— That's right*), — сказал Пемброк.

*) Ладно.

V.

Гости пришли очень точно, в четверть десятого. Усадив Надю, Пемброк долго обеими руками пожимал руку Яценко. Он в самом деле верил, что отец этого драматурга был его другом.

— ... Вот и вы пожаловали в эти благословенные края. Надеюсь, надолго? Только на один день? Как жаль! Впрочем, и я скоро уезжаю в Париж... Страшно рад вас видеть. Рассказы ваши были чудные, но я не знал, что вы стали драматургом?

— Как писал Тредьяковский, «начал себя производить в обществе некоторыми стишками», — ответил Яценко с неуверенной шутливостью.

— Разве ваша пьеса в стихах? — испуганно спросил Пемброк.

— О, нет, в прозе.

— Горю желанием ознакомиться с вашей пьесой. Надя мне столько о вас говорила... Я ее называю Надей, это привилегия моего возраста... Да, мне уже стукнуло семьдесят лет, — сказал Альфред Исаевич и, как всегда, с удовольствием выслушал, что на вид ему нельзя дать больше шестидесяти. — Милости прошу, садитесь и будьте как дома... Недурной номер, правда? Я плачу за него в три раза меньше, чем платил в Уолдорф-Астория. Мы сейчас начнем чтение, надо заказать напитки. Надя, что вы будете пить? Только, умоляю вас, не «чашку чая без сахара»! Вы еще не в Холливуде, вы не полненькая, кроме того, вы жестоко ошибаетесь, думая, что голливудские звезды в самом деле питаются акридами и ди-

ким медом. Это все реклама, я, слава Богу, всех их достаточно знаю. Они по ночам отлично хлопают шампанское, как сивый мерин.

— Едва ли сивый мерин хлопал шампанское, — сказал будто бы весело Яценко. — У нас все валят на сивого мерина. Гоголь сказал «глуп как сивый мерин», это понятно. А у нас почему-то стали писать «врёт как сивый мерин». Вот как пишут «великий писатель земли русской». Тургенев сказал: «великий писатель русской земли».

— Хорошо, так я ошибся, — сказал с легким неудовольствием Пемброк. — Надя, хотите виски?

— Пожалуй, сегодня я выпью. Право, я волнуюсь гораздо больше, чем Виктор. Ему, в конце концов, не так важно, возьмете ли вы его пьесу или же он отдаст ее другим. Но для меня, вы сами понимаете, сыграть эту роль... Не виски, а лучше портвейна, — говорила Надя довольно бессвязно, хотя заранее долго обдумывала, как надо говорить с Пемброком.

— Вы смотрите на эту гравюру, — сказал Альфред Исаевич Яценко. — У меня дома я вам покажу не такие вещи. У меня есть работа Антокольского! Он был, по-моему, величайшим скульптором 19-го века. Заметьте, никто так глубоко не проникал в душу и еврейского, и русского народов. Вы помните евреев «Инквизиции»? У кого еще вы найдете такие лица!

— Лучше всех в еврейскую душу проник, если я могу судить об этом, Александр Иванов, в котором не было ни одной капли еврейской крови, — сказал Яценко, уже оберегавший свою независимость от человека, который мог купить его пьесу. Ему было стыдно, что и он волнуется. — Правда, когда Иванов писал свою картину, он не выходил из еврейских кварталов и синагог. А вот мне для моей пьесы пришлось проникать во французскую душу, — с усмешкой добавил он, желая поскорее перейти к делу.

— Мы сейчас об этом поговорим. Итак, виски и портвейн?

Когда напитки были по телефону заказаны, Альфред Исаевич пододвинул настольную лампу к креслу Джексона и сам сел, бросив искоса взгляд на рукопись, которую автор вынимал из папки. Вид у него был такой, точно он предвкушал большое наслаждение.

— Подождем, пока он все принесет, чтобы нам не мешали во время чтения, — сказал он. Вы... Виноват, ваше имя-отчество Уолтер Николаевич?

— Виктор Николаевич.

— Я люблю называть людей по имени-отчеству, вспоминаю старину, Петербург. Ах, какой был город! Такого другого не было и не будет... Но прежде всего я хотел вас честно предупредить. Как вы знаете, я кинематографический деятель, а не театральный. Правда, я иногда ставил на Бродвее пьесы, но я это делаю редко. Хотя автор в своем деле не судья, разрешите вас спросить: в вас есть кинематографическая жилка? Это то главное, что меня интересует.

— Не знаю.

— Зато во мне, как вы знаете, есть кинематографическая жилка, Альфред Исаевич, — с улыбкой сказала Надя тоном старой артистки. — Я честно говорю, я гораздо больше люблю кинематограф, чем театр. В театре я часто сплю даже на хороших пьесах, а в кинематографе никогда не сплю даже на плохих фильмах.

— Я о себе этого не говорю, — сказал Яценко.

— Look, — сказал Пемброк. — Конечно, у вас, Виктор Николаевич, есть против кинематографа застарелый предрассудок. Вы кое-что читали о Голливуде, еще больше слышали, при вас метали громы и молнии. Ведь только ленивый не обличал кинематограф. Это так легко и приятно. Заметьте, пишут

«сатиры на Холливуд» преимущественно те писатели, которым там не повезло...

— Я не собираюсь писать «сатиру на Холливуд»! — перебил его Яценко. — Это, во-первых, в самом деле очень банально, а во-вторых, это и несправедливо. Уж если кого осуждать, то не кинематографических магнатов, а тех писателей, которые ради денег с ними работают, а потом, как аристократы мысли, над ними очень элегантно насмеваются. Они зарабатывают, так сказать, вдвойне.

— И совершенно не над чем насмеяться, — сказал Пемброк, несовсем довольный замечанием Виктора Николаевича. — Мы тоже не плебеи мысли, как на нас ни клеветают. Я в кинематографе варюсь тридцать лет, и почти все, что о нас говорят в «сатирах на Холливуд», просто клевета и вдобавок неумная. Или же, по крайней мере, все это страшно преувеличено. Мошенники? Конечно, есть и мошенники, где их нет? Но, в общем, в Холливуде преобладают честные люди, там редко надувают и почти никогда никого не обкрадывают. Конечно, неприятностей, ссор, сплетен там сколько угодно, однако чем же мы виноваты, что нам приходится иметь дело с... детьми? — Альфред Исаевич хотел сказать «с сумасшедшими», но удержался. — Я имею в виду актеров. Не сердитесь, Надя, вы будете единственным исключением. — Он имел в виду актеров и писателей: считал полусумасшедшими и тех, и других. — Сплетен и неприятностей много, а все-таки мы в конце концов отлично ладим.

— Это очень приятно слышать, Альфред Исаевич — сказала Надя, — и я уверена, что вас в кинематографе все очень любят.

— Кажется, любят, хотя за глаза, вероятно, ругают меня старым дураком. Автор приехал на три месяца в Холливуд и думает, что он сразу все понял. А может быть, и мы, занимаясь этим делом не три месяца, а тридцать лет, тоже кое-что понимаем, а?

Он думает, что у него хотят вытащить из кармана какую-нибудь идею, а может быть, и носовой платок. А я вам скажу, что вы на слово некоторых кинематографических магнатов можете поверить все, что имеете! Вы много знаете таких людей или организаций, а? Ну, вот у вас, в Разъединенных Нациях, вы сколько поверите на слово большевистского делегата, а?

— Стакан пива.

— И этого много, — сказал, смеясь, Пемброк. — Как бы то ни было, моя обязанность была вас предупредить, что я не специалист по театру. Now, какая же у вас пьеса?

— Историческая.

— Ах, историческая? — протянул Пемброк с разочарованьем. Надя испуганно на него взглянула. — Не могу скрыть от вас, что исторические пьесы сейчас в Америке не в спросе. Правда, есть исключения.

— Если она вам не понравится, то вы потеряете только полтора часа времени, — сказал Яценко шутливо-беззаботным тоном, точно для него и в самом деле не имело никакого значения, возьмут ли его пьесу или нет. — Должен вам сказать следующее. Театрального и кинематографического мира я действительно не знаю, но издательский мир знаю лучше. И вот один умный старый издатель говорил мне, что он никогда не может наперед сказать, будет ли книга иметь успех или нет. Как вы знаете, ни один издатель не хотел принимать Пруста...

— «Так то Пруст!» — мысленно вставил Альфред Исаевич, тотчас убедившийся в том, что и этот автор сумасшедший. Сам он Пруста не читал, но знал, что это очень знаменитый писатель. Яценко понял его мысль.

— Правда, то Пруст, — сказал он. — Однако, как вы знаете, десятки издателей отклонили и "Gone with the wind", и "All quiet on the western front" Ремарка. Наперед никто ничего сказать не может.

Я знаю, что в современном театре признаются главным образом пьесы с вывертами. Нужно, чтобы действие было где-нибудь в раю или в аду, чтобы оживали и весело болтали мертвецы, или чтобы все начиналось с конца, или чтобы была выведена какая-нибудь несуществующая Иллирия. Все это довольно пошлая мода, очень удобная для увеличения дохода: если действие происходит в аду или в Иллирии, то легче поставить во всех странах. Придумывать разные выверты вообще очень легко. Только они через три-четыре года становятся нестерпимы и ненужны, даже... Он хотел сказать: «даже Холливуду». — Не нужны никому.

— «А ты пишешь для вечности, понимаю», — подумал Альфред Исаевич. Лакей принес на подносе виски и портвейн.

— Ну, вот теперь мы ждем, — весело сказал Пемброк, бросив еще раз взгляд на рукопись. «Кажется, большие поля»...

— Как полагается автору, я должен сделать предисловие, — сказал Яценко, откашлявшись и стараясь справиться с голосом. — Моя пьеса называется «Рыцари Свободы». Подзаголовок: «Романтическая комедия». Я написал в романтическом духе историческую пьесу на современную тему. Боюсь, она все же, особенно при первом чтении, покажется вам немного старомодной. Ведь все романтическое довольно чуждо современному человеку. Я даже рисковал написать что-то вроде пародии. Думаю, что этой опасности я избежал, хотя большая сцена четвертой картины и может заключать в себе легкий, очень легкий элемент пародийности... Пьеса начинается с очень короткого пролога. Знаете ли вы прелестный романс Мартини: “Plaisir d’Amour”? Когда-то, сто с лишним лет тому назад, его распевала вся Европа, но он еще и теперь не совсем забыт. У меня этот романс проходит через всю пьесу...

— Очень хорошая мысль, — сказал Альфред Исаевич, одобрительно кивнув головой. — В фильме музыкальный номер всегда способствует успеху...

— Я этого не имел в виду, — сухо сказал Яценко.

— Почему в фильме? — вмешалась Надя. — Возьмите наш классический театр, если вы его еще не забыли, Альфред Исаевич. У самого Островского, кажется, нет ни одной пьесы без пения.

— Sugar plum, кому вы это говорите! Я забыл русский театр? Помилуйте! Ах, как Островского играли в Малом Театре! Одна Садовская чего стоит! Вот вы оба настоящего Малого Театра и помнить не можете... Простите, что я вас перебил. Но должен сказать одно: музыкальный номер хорош, если артист или артистка умеет петь. Иначе надо искать заместителей, а это вредит впечатлению.

— Если автор имеет в виду меня, то я надеюсь выйти из этого испытания без позора, — сказала Надя. — Мне уже случалось петь в кинематографе. Вы помните мою «Песню Пионерки» на заводе тяжелых снарядов?

— Вы очень мило пели, — тотчас согласился Альфред Исаевич, не помнивший ни песни пионерки, ни завода тяжелых снарядов.

— А романс, в самом деле, прелестный! Я его помню, — сказала Надя и вполголоса, действительно очень мило, пропела:

“Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie”. *)

— У вас это выйдет чудно! — сказал Виктор Николаевич.

Альфред Исаевич тоже похвалил романс и высказал несколько мыслей о музыке. Он посещал концер-

*) «Радости любви длятся только мгновение, а горе от любви длится всю жизнь.»

ты, слышал большинство знаменитых музыкантов, но по отсутствию к ним интереса иногда путал: говорил, что слышал Паганини, почему-то смешивая его с Сарасате. Яценко слушал его с легким нетерпением. Знал, что люди, даже музыкальные, даже правдивые, часто лгут, говоря о своих предпочтениях среди знаменитых пианистов или скрипачей. «Только профессионалы и могут сказать, кто лучше играет то, а кто это. Любители же, неизвестно зачем, почти всегда прикирывают».

— Разрешите вернуться к моей пьесе, — сказал он. — Ее фоном служит одно подлинное политическое событие, давно забытое всеми, кроме историков-специалистов. Действие происходит во Франции, в 1821 году, в эпоху Реставрации, когда реакционная политика короля Людовика XVIII и его министров вызвала к ним острую ненависть всего французского народа. Франция покрылась сетью тайных обществ, имевших целью свержение Бурбонов...

— Это немного досадно, — сказал Пемброк. — Значит, если мы по пьесе сделаем фильм, то в Испании он будет запрещен. Правда, Испания небольшой рынок, но Южная Америка, Аргентина... Хотя что может иметь Аргентина против свержения Бурбонов? Да и Испания, пока там еще не взошел на престол Дон-Хуан... Что за имя для короля «Дон-Хуан»? Но простите мое практическое замечание. Ведь как эвентуальный продюсер, я должен считаться и с житейскими соображениями. Продолжайте, прошу вас.

— Одно из этих обществ называлось «Рыцари Свободы». Отсюда и заглавие моей пьесы.

— Боюсь, что его придется изменить. У нас скажут: «Какие Рыцари Свободы! Ну что, Рыцари Свободы! Зачем Рыцари Свободы!» Впрочем, это деталь.

— В работе тайных обществ принимал ближайшее участие генерал Лафайетт, в ту пору уже старик...

— Вот это хорошо! — радостно сказал Пем-

брок. — В Америке он и теперь страшно популярен, если это тот самый? Конечно, тот самый. У нас в каждом городе есть улица Лафайетта, а в Нью-Йорке есть даже сабвэй «Лафайетт»... Еще раз извините, я вам больше мешать не буду.

— Общество «Рыцари Свободы» устроило восстание в провинциальном городке Сомюре, закончившееся неудачей и казнями. Конечно, по сравнению с тем, что видело наше счастливое поколение, реакция и репрессии того времени могут считаться образцом гуманности и терпимости, но ведь тогда люди вообще были гораздо более культурны, чем теперь. Как бы то ни было, этот заговор составляет исторический фон, на котором разыгрывается моя пьеса. Главные действующие лица, за исключением, разумеется, Лафайетта, мною вымышлены, хотя характеры их частью навеяны людьми, существовавшими на самом деле. Держится пьеса на женской роли, на роли Лины... Вы догадываетесь, для кого я ее предназначаю, — сказал Яценко твердым тоном. Надя опустила глаза.

— Но как быть с ее акцентом? — озабоченно спросил Пемброк. — В Америке не согласятся на то, чтобы главную роль играла артистка, которая не вполне чисто говорит на нашем языке. Нельзя ли было бы сделать эту Лину иностранкой?

— Через полгода я буду говорить по-английски как американка, — с мольбой в голосе сказала Надя. — Я уже сделала большие успехи. Читайте же, мой друг.

— Последний вопрос: сколько у вас действий?

— Четыре действия и пять картин.

— Я никогда не мог понять, в чем разница между действием и картиной. Для кинематографа это не имеет значения, но если вы хотите поставить вашу пьесу в театре, то в ней должно быть, самое большее,

две декорации. У нас декорации стоят бешеных денег. Хорошие драматурги теперь пишут пьесы с одной декорацией.

— Значит, я плохой драматург, у меня их четыре. Впрочем, они, кажется, недорогие.

— Повторяю, я говорил о театре. Для кинематографа это не имеет значения. Если сценарий хорош, то в Холливуде на декорации денег не жалеют... Но прошу вас, читайте.

— Итак романтическая комедия «Рыцари Свободы». Действующие лица: Генерал Лафайетт, Бернар, Лиддеваль, Джон... Джон это единственный американец в пьесе. Я забыл вам сказать, что последняя картина происходит в Соединенных Штатах.

— Вот это хорошо. Надеюсь, у Джона благодарная роль? Для хорошей роли, но только для очень хорошей, я мог бы сегодня получить Кларка Гэбла.

— Вы, однако, все перескакиваете на кинематограф, Альфред Исаевич. Я вам предлагаю пьесу, а не сценарий.

— А вдруг вы можете писать и сценарии? Нам теперь так нужны хорошие сценаристы! Они должны внести в Холливуд свежую струю.

— У Джона роль, кажется, хорошая, но не главная. Перечисляю дальше. Первый Разведчик. Второй Разведчик...

— Первый и второй кто?

— Разведчик. Так называлась должность в организации «Рыцари Свободы»... Пюто Лаваль, Генерал Жантиль де Сент-Альфонс...

— Нельзя ли назвать этого генерала иначе? Ни один человек в Америке этого не выговорит.

— Нельзя, потому что он так назывался, это эпи-

зодическое лицо, не вымышленное. Он появляется только в одной сцене... Лина, — особенно подчеркнутым тоном сказал Яценко, — Графиня де Ластейри. Индеец Мушалатубек. Негр Цезарь...

— Индеец, негр, расовый вопрос, — неодобрительно пробормотал Пемброк.

— Альфред Исаевич, друг мой, — умоляюще обратилась к нему Надя, — вы выскажете ваши суждения после окончания чтения.

— That's right, я умолкаю.

— После окончания чтения или в «антракте». Я после третьей картины сделаю небольшой перерыв, — сказал Яценко. — «Это значит, через час», — подумал Пемброк и откинулся на спинку кресла.

— И в антракте мы будем пить за ваше здоровье, — сказал он. — Я и забыл, у меня есть в шкафу настоящий портвейн, лучше этого, хотя и этот очень недурен. Полагалось бы еще поставить перед вами сахарную воду. Хотите? Здесь дают сахар.

— Нет, спасибо. Пролог, называющийся «Сон Лины», продолжается только две минуты... Разрешите читать без всяких актерских приемов, не меняя голоса, не пропуская того, что при издании пьес печатается в скобках или курсивом, как например, описание обстановки. Добавлю кстати, что замок Лагранж, в котором происходят две первые картины, существует по сей день. Я в нем был и здесь обстановку описываю по памяти довольно точно.

— Замок хорош, если он средневековый и с привидениями, — пошутил Альфред Исаевич.

— Этот замок без привидений, но средневековый.

Он еще откашлялся, отпил глоток виски и начал читать.

ПРОЛОГ

СОН ЛИНЫ

Никакой декорации. Только на авансцене кушетка — впереди декорации первой картины (эта декорация остается закрытой или не освещенной). На кушетке спит Лина. В момент поднятия занавеса слышны звуки музыки (за сценой), пианино негромко играет романс Мартини *“Plaisir d’amour”*...

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ (*Он — тоже негромко — выделяется из звуков романса. Голос, передающий сон Лины, сливается с музыкой: то громче звучит голос, то громче звучит романс*): Лина, ты идешь на страшное дело. Тут полетят головы. Беги от этих Рыцарей Свободы: они погубят тебя и погибнут сами. Что общего у тебя с ними? Они отдадут жизнь ради своих идей. Ради чего отдашь жизнь ты? Обманывай других, себя ты не обманешь. Лина, ты любишь жизнь, ты любишь любовь, и больше ты ничего не любишь. Жизнь так хороша. Любовь так хороша. Лина, одумайся! Еще не поздно. Завтра будет поздно!

(Голос замолкает. Звуки романса усиливаются. Музыка длится еще с полминуты. Лина просыпается и привстает на кушетке. Ее глаза широко раскрыты.

Занавес опускается только на мигновение и тотчас поднимается, открывая декорацию первой картины).

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Гостиная в замке Лагранж (под Парижем), принадлежащем генералу Лафайетту. Мебель в стиле Людовика XV. На колонне бюст Лафайетта, а по сторонам от него портреты Вашингтона и Франклина. По стенам картины: «Взятие Бастилии», «Объявление американской независимости», «Корабль (в испанском порту), на котором Лафайетт выехал в Америку для участия в борьбе за независимость». В углу пианофорте.

Это обстановка гостиной в обычное время. Но теперь посередине комнаты, странно в ней выделяясь, стоит

круглый стол, покрытый ярко-красным сукном. На нем прикреплены на небольшом штативе два больших перекрещенных кинжала. У стола одно высокое кресло и стулья. Перед креслом на столе небольшой топорик.

Везде карандаши и бумага.

У стены другой стол, накрытый белоснежной скатертью. Он заставлен бутербродами, пирожными и т. д. Окна отворены.

ГОСПОЖА ДЕ ЛАСТЕЙРИ. ЛУИЗА

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Бутерброды с ветчиной, с сыром, с печенкой. Кажется, достаточно: папа сказал, что на заседании будет только человек десять.

ЛУИЗА (*сердито*): Он способен пригласить и сто человек!.. Зачем люди отравляют друг другу жизнь? Сидели бы у себя дома: им приятно и нам приятно.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*не слушая ее*): Тортов два: яблочный и шоколадный... Как ты думаешь, битые сливки не могут скиснуть в такую жару?

ЛУИЗА: К сожалению, нет. Если б у них расстроились желудки, я была бы очень рада: пусть не ездят без дела! Я сегодня на них работала с семи утра.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Бедная моя! Но ты ведь знаешь, что в такие дни папа велит отпускать всю прислугу. (*Смеется*). Ведь заседания Рыцарей Свободы — страшная государственная тайна... Двух бутылок портвейна мало. Принеси третью.

ЛУИЗА (*решительно*): Ни за что! Довольно с них двух.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Ну, пожалуйста, дай еще бутылку. А то я пойду в погреб сама.

ЛУИЗА: Не дам. У нас осталось всего двадцать четыре бутылки этого вина. Жильбер пьет по стакану за завтраком и за обедом. На сколько же нам самим хватит?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*стараясь говорить строго*): Луиза, я тебе сто раз говорила, что ты не должна называть папа Жильбером. Ты была его няней, это отлично, но он больше не ребенок. Ему 65 лет и он самый знаменитый

человек на свете, если не считать Наполеона на святой Елене. (*Смягчает тон*). При мне, конечно, ты можешь называть папа как тебе угодно, но при других ты должна говорить: «генерал».

ЛУИЗА (*ворчит*): Если б генерал что-нибудь понимал, он не звал бы к себе в гости чорт знает кого. В прошлый раз у него был в гостях аптекарь!.. До чего мы дошли! Что сказал бы твой дед, герцог д-Айян?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*смеется*): Да ведь *твой* дед был крестьянин!

ЛУИЗА: Крестьяне в сто раз лучше аптекарей. Моя бабушка была из рода Дюпонов!.. Аптекарям давать портвейн по шесть франков бутылка! Жильбер вас всех разорит! Без него вы были бы втрое богаче!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*с легким вздохом*): Папа самый щедрый человек на свете. Он истратил на войну за независимость Америки сто сорок тысяч долларов своих денег.

ЛУИЗА: Что это такое доллар? Такая монета? Это больше, чем су?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Сто сорок тысяч долларов это семьсот тысяч франков.

ЛУИЗА: Семьсот тысяч франков! Господи, он просто сошел с ума!.. А нельзя их получить обратно? Напиши тайком от Жильбера ихнему королю, что Жильбер ошибся, что его надули, что он ничего не понимает! Может быть, тот постыдится и вернет? Или он жулик?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Нет, он честный человек, но Америка бедная страна. Где им взять такие деньги? (*Смеется*). Папа задушил бы меня своими руками, если бы я написала хоть одно слово об этом президенту Монро... Теперь все деньги папа уходят на эти разговоры. И если б он еще рисковал только деньгами! Вероятно, королевская полиция давно за ним следит... Он сам мне говорил, что считал бы высшей для себя честью окончить дни на эшафоте.

ЛУИЗА (*с яростью*): На эшафоте! Жильбер совсем сошел с ума! Что генералам делать на эшафоте?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: В самом деле, что генералам делать на эшафоте?

ЛУИЗА: Это хорошо для разбойников или для каких-нибудь пьяниц-аптекарей. Маркиз де Лафайетт на эшафоте! Где это видано?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Это видано. Ты верно забыла, что моей бабушке и прабабушке отрубили голову 30 лет тому назад, во время террора.

ЛУИЗА (*помолчав*): В самом деле, я забыла. Не сердись, моя девочка: мне за восемьдесят лет... (*С новой злобой*). Да ведь Жильбер сам и устроил ту проклятую революцию!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*отходит к круглому столу*): Здесь, кажется, все в порядке. Кинжалы есть, топор есть... А где череп? Принеси череп.

ЛУИЗА: Ни за что! Это безобразие ставить на стол человеческие кости!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Впрочем, я путаю. Череп нужен когда у нас собираются масоны. А сегодня — Рыцари Свободы.

ЛУИЗА: Это те, что поднимают три пальца? (*Поднимает три пальца левой руки*). Вот так?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*смеется*): Да, именно. У них символическая цифра — пять. Они так и узнают друг друга среди чужих: Рыцарь Свободы поднимает три пальца левой руки. Если другой тоже Рыцарь, он поднимает два пальца правой. Вместе выходит пять... Так ты знаешь и их знаки? Это тоже величайшая тайна! (*Смотрит на часы*). Рыцари приглашены на четыре. К четырем папа проснется. Луиза, милая, хотя мне тебя и жаль, но уж посиди у подъемного моста, води всех сюда и говори, что папа сейчас выйдет. Но умоляю тебя, не говори им «Жильбер»: говори «генерал» или «маркиз»... Впрочем, нет, «маркиз» не говори.

Г-жа де Ластейри и Луиза уходят. С минуту сцена остается пустой, потом дверь приотворяется и на пороге, с испуганным лицом, появляется Лина. Она быстро

осматривается и, повернувшись к двери, делает знак Бернару, который входит вслед за ней.

ЛИНА. БЕРНАР.

ЛИНА: Никого нет! Ах, как красиво! Это их гостиная?

БЕРНАР: Да. Конечно, я был прав: мы пришли с черного хода!

ЛИНА: Чем же я виновата, если у них черный ход в сто раз лучше нашего парадного!

БЕРНАР: Генерал богат. Это не мешает ему быть прекрасным человеком.

ЛИНА: Нисколько не мешает. Это даже очень помогает. *(Смотрит на круглый стол с восторгом)*. Это стол для заговора, да?

БЕРНАР *(улыбается)*: Для заговорщиков. Кинжалы и топор наша эмблема.

ЛИНА *(с гордостью)*: Наша эмблема! У меня есть эмблема! Я заговорщица! *(Пробует взять кинжал, он не снимается со штатива)*. Нельзя снять! *(делает штативом такое движение, будто кого-то колет)*. Умри, злодей! *(Берет топорик и мрачно рубит воображаемую голову на плахе)*. Так погибают тираны!.. Подтверди, что я заговорщица! Подтверди тотчас, что я Рыцарша Свободы!

БЕРНАР: Подтверждаю. С прошлой недели.

ЛИНА: С прошлого вторника, это больше недели! Меня назначили шифровальщицей *(Кладет топорик назад на стол и хохочет)*. А все-таки это смешно, эти топорики и кинжалы!

БЕРНАР: Ничего смешного нет. У тебя, к несчастью, есть в характере и доля скептицизма, этой язвы нашего времени.

ЛИНА: Я соткана из противоречий! Подтверди, что я соткана из противоречий. Я такая сложная натура, что мне сейчас смертельно хочется есть! *(Подходит к столу с едой)*. Как ты думаешь, я могу съесть один бутерброд? Только один, с грюйером? Я обожаю грюйер!

БЕРНАР (*испуганно*): Нет, Лина, нельзя без хозяина.

ЛИНА: Конечно, нельзя! (*Оглядывается по сторонам, хватает бутерброд с сыром и съедает его с необычайной быстротой*). Лафайетт ничего не заметит! Не мог же он записать, сколько у него приготовлено бутербродов!

БЕРНАР (*Смеется, нежно на нее глядя*): Да ведь мы завтракали в двенадцать часов, была баранина, сыр, салат. Неужели ты уже голодна?

ЛИНА: Я могу есть десять раз в день, если дают что-либо вкусное! (*Смотрит на бутылку портвейна*). Вот вина действительно нельзя пока трогать, это Лафайетт сейчас заметит. А мне так хочется выпить!

БЕРНАР (*С некоторой строгостью; чувствуетя, что это для него дело не шуточное*): Лина, милая, вообще пей возможно меньше, умоляю тебя!

ЛИНА (*с досадой*): Ты сто раз меня уже об этом «умолял»! Можно подумать, что я пьяница! (*Быстро наливает себе рюмку портвейна и пьет еще быстрее*). — Ах, как хорошо!.. Если Лафайетт заметит и будет ругаться, я скажу, что это выпил Джон! (*Смотрит на надпись на бутылке*). — Портвейн 1800 года... Кажется, еще что-то было в 1800 году?

БЕРНАР: Да, победа под Маренго.

ЛИНА: Ах, да, это там, где ты был ранен. В 1800 году, значит двадцать один год тому назад. Господи! Меня еще тогда не было на свете! Как это могло быть? Был свет — а меня не было!

БЕРНАР: Ты видишь, как я стар.

ЛИНА: Какой вздор! Ты для меня лучше всех молодых вместе взятых! (*Быстро его целует*). Ах, как я тебя люблю!.. Какое хорошее вино! Мы можем в Сомюре позволять себе портвейн 1800 года?

БЕРНАР: Боюсь, что нет... Разве в день твоего рождения.

ЛИНА (*с легким вздохом*): Не можем, так не можем. (*Осматривается*). Хорошо живут богатые люди! Отчего у

нас нет такого замка и никогда не будет? Люди живут только один раз.

БЕРНАР (*Мрачно*): Не надо было выходить замуж за полковника, уволенного реакционным правительством и не имеющего никакого состояния. Ты могла бы выйти, например, за Джона.

ЛИНА (*хохочет*): За Джона! Но ведь он мальчишка! Он моложе меня. И ты ошибаешься: он небогат.

БЕРНАР (*быстро*): Значит, если б он был богат?

ЛИНА: Если б он был богат... И если б он был красив... И если б он был француз... И если б он был лет на десять старше... То я все таки вышла бы замуж за одного глупого полковника, по имени Марсель Бернар.

БЕРНАР: Это уж лучше... Но все-таки ты сказала: если б он был лет на десять старше. А я старше тебя на двадцать пять лет. И я не могу тебе купить готический замок.

ЛИНА: Он готический? Я так и думала, что он готический. А эта гостиная в каком стиле? Я знаю, что в стиле Людовика, но какого Людовика?

БЕРНАР: Людовика XV.

ЛИНА: Как ты думаешь, нельзя ли будет после заговора... я хочу сказать, после заседания, попросить Лафайетта, чтобы он нам показал все, а? Говорят, у него есть ванная комната! Мне так хочется видеть, как живут богатые люди, настоящие богатые люди!

БЕРНАР: Нельзя. Генерал Лафайетт очень занятой человек, а никто другой из его семьи к нам верно и не выйдет: ведь наше заседание строго конспиративно.

ЛИНА (*с гордостью*): Оно строго конспиративно, я знаю. Он женат, генерал?

БЕРНАР: Вдовец. Дом ведет его дочь, графиня де Ластейри. Жена его умерла 17 лет тому назад и с той поры он неутешен: говорит, что его личная жизнь навсегда кончилась. Я слышал, что в ее комнату в замке с тех пор никто не входит кроме него, а в годовщину ее смерти он

весь день проводит в этой комнате. Правда, это трогательно?

ЛИНА: Глупо, но трогательно! Ты сделаешь то же самое после моей смерти, правда?

БЕРНАР (*нежно*): Милая, это все для богатых людей. Мы, бедняки, не имеем возможности и проявлять чувства дорогими способами.

ЛИНА: Я возьму еще бутерброд! Не отрубят же мне за это голову! (*Хватает второй бутерброд и быстро жует*). — Ах, это не грюйер! Я по ошибке взяла бутерброд с ветчиной. Но это ничего, я очень люблю и ветчину. Я все люблю! (*Смеется*). Если ты у нас в Сомюре запрешь комнату, в которой я умру, то у тебя останется только коридор, кухня и чулан.

БЕРНАР: Я не должен был жениться, не имея возможности предложить тебе сносные условия жизни.

ЛИНА (*горячо*): Какой ты глупый! Разве я когда-нибудь жаловалась?

БЕРНАР: Это правда, никогда, ни разу.

ЛИНА: И не могла жаловаться. Во-первых, мы и в одной комнате живем очень мило, а во-вторых, ты мне отдаешь все, что у тебя есть.

БЕРНАР: То есть, две тысячи франков в год. На это ты сводишь концы с концами, без прислуги, работая целый день...

ЛИНА: Я хорошая. Правда, я хорошая?.. (*Неожиданно*). Поцелуй меня!.. Нет? Ну, так я тебя поцелую! (*Горячо его обнимает*). — Я страшно тебя люблю!

БЕРНАР: Больше, чем грюйер?

ЛИНА: В тысячу раз больше! А ты меня любишь?

БЕРНАР: Я тебя обожаю! Разве я мог бы жить без тебя?.. Мы точно как молодожены!

ЛИНА: Да мы и есть молодожены. Ты мне сделал предложение полтора года тому назад. Ах, как я была рада! Я уже была старой девой: мне пошел двадцатый год.

БЕРНАР: Ты, правда, не жалеешь, что вышла за меня замуж?

ЛИНА: Я все счастливее с каждым днем! (*Целует его снова*). От меня не пахнет чесноком? Я положила в баранину немного чесноку, но после завтрака десять минут полоскала рот. Правда, чудная была баранина? А от тебя немного пахнет. Ничего, только чуть-чуть. Ты ведь здесь ни с кем не будешь целоваться?

БЕРНАР: Надеюсь, ты тоже нет? Разве с генералом Лафайеттом. Он когда-то имел большой успех у женщин. Сорок лет тому назад после его возвращения из Америки вся Франция носила его на руках.

ЛИНА: Носила на руках, а потом его чуть-чуть не казнили? Ты хорошо его знаешь?

БЕРНАР: Нет. Когда он бежал из Франции в пору Революции, я еще был школьником. Он пробыл за границей лет десять, сидел в прусской и в австрийской крепостях. После победы над Австрией, Наполеон потребовал его освобождения. Он вернулся и с тех пор не служил. Император предлагал ему должность посла в Соединенных Штатах, где все его боготворят. Но он не хотел служить при диктатуре. Между тем я был офицером наполеоновской армии. По-настоящему я познакомился с ним только теперь, когда бонапартисты и республиканцы хотят объединиться для борьбы с Бурбонами. Лафайетт стал душой всех заговоров. Правда, он больше карбонарий, чем Рыцарь Свободы, но мы теперь работаем вместе. На нынешний заговор он дал пятьдесят тысяч франков.

ЛИНА: Пятьдесят тысяч франков! Господи, чего только нельзя купить на пятьдесят тысяч франков!

Госпожа де Ластейри входит с бутылкой и удивленно останавливается при виде гостей. Бернар и его жена встают. Лина с гордостью поднимает три пальца на левой руке. С тремя пальцами у нее механически поднимается четвертый, указательный. Она его отгибает правой рукой.

Г-ЖА ДЕ ЛАСТЕЙРИ, ЛИНА, БЕРНАР.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*Она ставит вино на стол и,*

улыбаясь, здоровается с гостями): Пожалуйста, извините меня (*Лине*) — Я не принадлежу к вашему обществу. Я дочь генерала Лафайетта. Папа ни во что меня не посвящает, я, конечно, на вашем заседании не буду. Но мне казалось, что в гостиной еще никого нет: я не слышала, как подъехала ваша коляска.

БЕРНАР: У нас нет никакой коляски, графиня. Мы пришли пешком.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*изумленно*): Из Парижа?

БЕРНАР: Нет, мы доехали в дилижансе до ближайшей остановки, оттуда только три мили до вашего замка.

ЛИНА: Это была очаровательная прогулка! Мы два раза отдыхали на траве! Ах, какой чудный у вас замок! И какая чудная гостиная! Все отделано с таким вкусом! (*Восторженно смотрит на графиню*).

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Я люблю Лагранж. Замок очень, очень стар.

БЕРНАР: Вероятно, он построен в 15 столетии маршалом Лафайеттом?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Нет, он принадлежал Ноайлям, моим предкам по матери... Садитесь, пожалуйста. Мой отец сейчас выйдет... Я думаю, что до его прихода я могу оставаться здесь? (*Улыбается*). Я знаю, что у вас секретное заседание, никого не надо спрашивать об имени...

БЕРНАР: Я полковник Бернар.

ЛИНА: А я полковница Бернар. (*Все смеются*).

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Вы живете в Париже?

ЛИНА (*со вздохом*): Нет, мы пока живем в Сомюре. Это дыра! Мне так хочется переехать в Париж!

БЕРНАР: Я был профессором кавалерийской школы в Сомюре, но меня уволили в отставку из-за моих политических взглядов.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Это не первая и не последняя глупость королевского правительства. И вы хотите переехать в Париж?

БЕРНАР (*твердо*): Парижская жизнь слишком дорога для нас.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Да, в Париже все очень дорого. Теперь трудно пообедать хорошо в ресторане меньше, чем за полтора-два франка! *(Она невольно бросает взгляд на элегантное платье Лины. Бернар замечает ее взгляд)*.

БЕРНАР *(с гордостью)*: Моя жена сама шьет себе платья. Это платье стоило ей десять франков.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ *(изумленно)*: Не может быть! Мне казалось, что оно от...

БЕРНАР *(так же)*: Мы живем на две тысячи франков в год и гордимся этим... Об этом, кажется, не принято говорить в обществе, но мы не светские люди. Я солдат, поступил добровольцем в армию семнадцати лет отроду. Наполеон произвел меня в офицеры на поле Аркольского сражения.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ *(видимо, не зная, что сказать)*: Бедный Наполеон!.. По последним сведениям со святой Елены, его здоровье нехорошо.

БЕРНАР *(тревожно)*: Неужели? Я ничего об этом не слышал.

ЛИНА: Я республиканка, но я обожаю Наполеона!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ *(Прислушивается)*: Кажется, подъезжают коляски? Да... Значит, я должна скрыться... Буду рада, если вы после заседания останетесь у нас ужинать. Мне было очень приятно познакомиться с вами. На время заседаний отец из предосторожности отпускает из замка всю прислугу, остается только его 80-летняя няня, вполне надежный человек, в сущности член нашей семьи. *(Лине)*. — Пожалуйста, будьте хозяйкой, угощайте гостей и не забывайте себя.

ЛИНА: Я себя не забуду!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ *(смеется)*: И отлично. *(Уходит)*.

ЛИНА. БЕРНАР.

БЕРНАР: Милая, ты слишком льстишь этой графине. Ничего особенного в их гостиной нет, а то, что к готическому замку они приделали фасад в стиле Людовика XV, не свидетельствует о большом вкусе. Ты и глядела на нее так,

точно она была небесным явлением! (*Подражает ей*). «Все отделано с таким вкусом!» Ты знаешь, я не люблю эту твою манеру подкупать людей лестью.

ЛИНА: Я не встречала человека, который не был бы падок на лесть.

БЕРНАР: Ты еще вообще мало встречала людей. Но по отношению к богачам и аристократам надо быть настороже, чтобы они не вздумали смотреть на тебя сверху вниз.

ЛИНА: Они все равно так на тебя смотрят, как бы ты ни держался. Что ж делать, это их преимущество, как у других красота или ум. Ты *всегда* мной недоволен...

ЛИНА. БЕРНАР. ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*входит с таинственным видом заговорщика. Останавливается на пороге и с особенной торжественностью поднимает три пальца левой руки. Бернар поднимает два пальца правой. Лина по ошибке поднимает три пальца*).

ЛИНА: Ах, что я сделала! (*Отгибает один палец*).

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*Он говорит с сильным марсельским акцентом. Гробовым тоном*): Вера. Надежда.

БЕРНАР: Честь. Добродетель.

ЛИНА (*с гордостью*): Честь. Добродетель.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*Опускает пальцы*): Пароль верен, но я считаю совершенно недопустимой ошибку в условном знаке. По обязанности Первого Разведчика Рыцарей Свободы, я обращаю на это ваше внимание. Из-за таких ошибок могут полететь головы!

ЛИНА (*смущенно*): Я в первый раз на заседании.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Это, конечно, смягчающее обстоятельство. У многих других нет и его. Сам Великий Избранник, к несчастью, уделяет слишком мало внимания ритуалу.

БЕРНАР (*Лине*): Великий Избранник это генерал Лафайетт.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Рыцарь, по обязанности Пер-

вого Разведчика ордена Рыцарей Свободы я обращаю твое внимание на то, что не должно называть по фамилии членов Ордена и всего менее главу заговора.

БЕРНАР: Не могу же я делать вид, будто я не знаю, к кому мы приехали в замок Лагранж! Что за вздор!

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Это не вздор, рыцарь, и я считаю твое выражение совершенно недопустимым в отношении лица, занимающего должность Первого Разведчика... Господи, что это! Отворены окна! Они говорят о заговоре при отворенных окнах! *(Поспешно затворяет окна)*.

ЛИНА: Мы во втором этаже, замок обведен рвами и нигде нет ни души.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК *(У круглого стола)*: Боже мой, что же это такое! Кинжалы лежат посредине стола! Они должны лежать перед троном Великого Избранника! Господи, так эти люди устраивают заговор! *(Передвигает кинжалы к креслу Лафайетта. Бернар пожимает плечами. Лина незаметно стучит себя пальцем по лбу и вопросительно смотрит на мужа. Тот с улыбкой отрицательно мотает головой)*.

БЕРНАР *(вполголоса Лине)*: Нет, он не сумасшедший: он фанатик ритуала. Очень честный и хороший человек.

(Входит Джон).

БЕРНАР. ЛИНА. ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК. ДЖОН.

ДЖОН *(Его лицо светлеет при виде Лины. Он здоровается с ней, восторженно на нее глядя. Бернар здоровается с ним холодно, что видимо немного смущает молодого человека. Он говорит с американским акцентом)* Я думал, что приеду первый. Отчего же вы мне не сказали, что поедете в дилижансе! Я привез бы вас в коляске.

БЕРНАР *(сухо)*: Зачем же? Мы отлично дошли пешком.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК *(Оглядывается и с негодованием замечает Джона)*: Это Бог знает что такое! Это неслыханный скандал! Вы входите на заседание Ордена без условного знака, не произнося пароля! По своей обязанно-

сти Первого Разведчика Ордена Рыцарей Свободы, я сегодня же доложу об этом скандале Великому Избраннику!

ДЖОН: Очень прошу извинить меня. Я забыл (*Поднимает пальцы*). Вера. Надежда.

ВСЕ (*тоже поднимая пальцы*): Честь. Добродетель.

ЛИНА: Рыцарь Джон, хотите портвейна? (*Она говорит, ест, пьет, угощает Джона, все одновременно*). Я здесь хозяйка! Меня просила быть хозяйкой в замке Лагранж графиня де Ластейри, дочь маркиза Лафайетта! Какие красивые имена! Я очень хотела бы быть маркизой! Или еще лучше герцогиней! (*Смеется*). Герцогиня Бернар! (*мужу, весело*). — Ну, ну, не сердись. Я тотчас бы отказалась от титула, потому что я республиканка. Но как-то приятнее отказаться от титула, чем не иметь его. Правда, рыцарь Джон? (*Дразнит его*). Впрочем, какой вы Рыцарь! Вы еще ребенок. Я другое дело: я совершеннолетняя.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Устав ордена Рыцарей Свободы в своем параграфе 14 разрешает принимать в Рыцари людей всех национальностей, обоего пола, в возрасте от 18 лет.

ДЖОН: Я был принят с согласия самого генерала Лафайетта. Он особенно благожелателен к американцам. И я так ему благодарен! Я счастлив, что принимаю участие в борьбе за освобождение Франции: мы перед ней в неоплатном долгу, благодаря героической помощи, которую нам когда-то оказал генерал Лафайетт. Мой дед был в его армии и участвовал в сражении при Иорктауне. Я так рад, что теперь я участвую в его заговоре.

ЛИНА: Он дал на наш заговор пятьдесят тысяч франков!

ДЖОН: Дело не в деньгах. Мне как раз вчера говорили, что барон Лиддеваль обещает дать нам сто тысяч.

ЛИНА: Кто это, барон Лиддеваль?

ДЖОН: Банкир. У меня счет в его банке. Очень умный человек, но он мне не нравится.

БЕРНАР: Лиддеваль прохвост. Он обещает и ничего не даст. Да и нельзя брать у него деньги. Он нажил на спе-

куляциях миллионы и титул. Был поставщиком армии. Наполеон имел один единственный недостаток: он считал всех людей негодьями и потому был неразборчив в назначениях. Это его и погубило... Впрочем, он скоро вернется со святой Елены.

Поодиночке или небольшими группами входят другие Рыцари Свободы. Каждый останавливается у дверей, делает условный знак и произносит пароль. Некоторые произносят его с иностранным акцентом: итальянским, испанским, славянским. Гостиная заполняется. Лина в восторге угощает всех. Она много пьет. Слышен гул голосов: «Какая жара!.. «Нет, я приехал верхом»... «Такого инусного правительства во Франции еще не бывало»... «Дайте мне портвейна»... «Вы слышали, император заболел на святой Елене»... «Не может быть! Кто вам сказал?»...

ЛИНА (Джону): Джон, мой милый мальчик, как я счастлива! Заговор! Я участвую в заговоре! Я всю жизнь об этом мечтала! *(Пьет еще)*. — Мне главное: прожить бурную жизнь! Как красиво называется наш орден: «Рыцари Свободы»!.. *(Оглядывается)*. Жаль только, что рыцари не очень красивы...

ТЕ ЖЕ. ГЕНЕРАЛ ЛАФАЙЕТТ

ЛАФАЙЕТТ *(с условным знаком, который у него одного выходит красиво и величественно)*: Вера. Надежда.

ВСЕ *(стоя)*: Честь. Добродетель.

ЛАФАЙЕТТ: Прошу извинить, что запоздал на несколько минут. *(Ласково обходит гостей и здоровается с ними с королевской благожелательностью. Все и отвечают ему почти как королю. Увидев Лину, он направляется к ней и кланяется ей со старомодной учтивостью, как кланялся полвека тому назад дамам при дворе Людовика XV)*.

БЕРНАР: Генерал, позвольте представить вас моей жене.

ЛИНА: Нет, представь меня генералу Лафайетту! *(Она делает ему реверанс. Он улыбается)*.

ЛАФАЙЕТТ: Так это вы наша первая Рыцарша. Я рад и счастлив познакомиться. *(Целует ей руку)*.

ЛИНА: Я шифровальщица.

ЛАФАЙЕТТ: Полковник, я вас благодарю за то, что вы ввели в наш орден столь очаровательную заговорщицу.

ЛИНА: Вы меня простите, генерал: я растерялась, увидев перед собой живого Лафайетта!

ЛАФАЙЕТТ *(Он доволен, хотя по его виду ясно, что он слышал это сто раз)*: Вы очень милы, дитя мое... Вы позволите старику так вас называть? Не говорить же мне вам «сударыня».

ЛИНА: Умоляю вас, называйте меня «Лина»!.. А как мне вас называть? Вас называют все «генерал», но у меня такое впечатление, что было бы как-то естественней говорить вам «ваше превосходительство». Или даже «ваше величество»... Я говорю глупости, правда?

ЛАФАЙЕТТ *(Смеется)*: Да, правда. Какая вы красавица!

ЛИНА *(в восторге)*: Неужели красавица? Зачем же вы это говорите мне, когда никто не слышит? *(Зовет мужа, который с кем-то разговаривал)*. — Марсель, генерал говорит, что я красавица! Ты слышишь?

БЕРНАР *(Скрывая восторг)*: Генерал очень добр. *(Лафайетту)*. Прошу вас, генерал, быть снисходительным к моей жене. Она провинциалка, как и я, и вдобавок в первый раз на заседании нашего ордена.

Джон, восторженно смотрящий то на Лафайетта, то на Лину, нерешительно подходит к ним.

ЛИНА: Генерал, разрешите мне представить вам этого молодого американца. Он недавно был зачислен в наш орден. *(Лафайетт пожимает Джону руку)*.

ЛАФАЙЕТТ: Очень рад с вами познакомиться. Мне незачем говорить вам, как я люблю американцев. Ваша страна для меня вторая родина.

ДЖОН *(сильно волнуясь)*: Генерал, для меня это такая радость, такая честь пожать вам руку!.. *(путается)*

и смущается). Вы не можете себе представить, как вас боготворят в Америке! Если б вы приехали к нам, вас носили бы на руках...

ЛАФАЙЕТТ: Моя мечта еще раз, перед смертью, побывать в вашей стране. *(Улыбаясь)*. Я чуть было не сказал: «в нашей стране». Так вы стали членом нашего общества? Я очень этому рад.

ДЖОН *(все так же)*: Меня послали родители учиться в Париж. Узнав, что ваше общество ведет борьбу за освобождение Франции и что борьбой руководите вы, я сказал себе, что мой долг принять в ней участие. Надо платить долги! Недаром Джефферсон говорит, что у каждого человека есть две родины: его родина и Франция.

ЛАФАЙЕТТ: В нашем обществе, как и среди карбонариев, есть немало иностранцев, и я этому рад. Освобождение Франции будет страшным ударом для всех деспотов Европы.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК *(подходит к ним с часами в руках)*: Великий Избранник, заседание назначено на четыре часа, теперь пять минут пятого, и не все еще в сборе. Не приехал Второй Разведчик! Это неслыханно. По 27-му параграфу устава, Рыцари, не имеющие возможности явиться на заседание, должны письменно извещать об этом Первого Разведчика не позднее, как за 24 часа до заседания.

ЛАФАЙЕТТ: Вероятно, он скоро приедет. Просто где-нибудь заговорился. *(Улыбаясь)*. Этот достойный Рыцарь очень любит поговорить. Но мы можем начать заседание без него. *(Встает)*. Господа, прошу занять места.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК *(вполголоса Бернару)*: Великий Избранник говорит «господа»! Это неслыханно!

Лафайетт подходит к круглому столу и садится в кресло. Все занимают места. Лина и Джон садятся рядом. Оба очень взволнованы и не сводят глаз с генерала. Первый Разведчик, занявший место справа от Лафайетта, тотчас берет лист бумаги и карандаш и начинает что-то озабоченно записывать. Слева от Лафайетта остается сво-

бодным стул Второго Разведчика. Лафайетт встает и ударяет три раза по столу обухом топора. Все встают.

ЛАФАЙЕТТ: Первый Разведчик, который час?

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*особенно торжественным тоном*): Великий Избранник, гремит набат. Это сигнал пробуждения всех свободных людей. Настала полночь.

ЛАФАЙЕТТ: Первый Разведчик, в котором часу начинает свою тайную работу наш Орден?

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Великий Избранник, Орден начинает тайную работу в полночь.

ЛАФАЙЕТТ: Удостоверься же, что все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

Первый Разведчик, продолжая священнодействовать, обходит всех собравшихся, перед каждым поднимает три пальца и говорит: «Вера. Надежда». Все поднимают два пальца и говорят: «Честь. Добродетель». Первый Разведчик возвращается к Лафайетту.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Великий Избранник, все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

ЛАФАЙЕТТ: Да благословит же Всевышний наш ночной труд над делом освобождения Франции и всего человечества.

Все, кроме него, садятся. Он начинает речь очень простым тоном в форме беседы, затем воодушевляется и говорит со все большим подъемом.

ЛАФАЙЕТТ: Друзья мои! (*Первый Разведчик пожимает плечами*). Мы собрались в очень серьезный, тяжелый, ответственный момент. Правительство ведет страну к гибели. Тупой, ограниченный старый король окружен тупыми, ограниченными старыми придворными. Везде царит произвол. Контрреволюция посягает на все наши права. Франция находится под ярмом заклеяменных ею доктрин, под ярмом держав, которые столько раз были ею побеждены. В свое время мы призывали Европу к свободе. Теперь вся Европа понемногу становится на этот путь. На нем наше место

должно быть заранее всем известно. Между тем Франция стоит теперь на распутьи: с одной стороны деспотизм, с другой — свобода, которую мы же первые провозгласили! (*Движение*). Свободные или освобождающиеся народы смотрят на нас. Мы должны им указать дорогу!

ГОЛОСА: Да, да!.. Это верно!

ЛАФАЙЕТТ: Но пусть не говорят, будто я призываю к войне! Нет, этого я не имею и в мыслях. Наша нынешняя армия слабее той, которая сражалась при Ватерлоо, и ни один генерал в мире не может сравниться с Наполеоном. Мы были бы немедленно раздавлены. Нет, друзья мои, не нужно больше никаких войн, не нужно больше никаких завоеваний. Я добавил бы: «Не нужно больше и революций!», если б только это было возможно...

БЕРНАР: Но это невозможно.

ЛАФАЙЕТТ: Да, это сейчас невозможно. Я старый либерал и демократ. Я видел кровавые эксцессы революции. Революция за них не отвечает, как религия не отвечает за Варфоломеевскую ночь. Друзья мои, не с легким сердцем я призываю теперь французский народ к восстанию. Однако выбора у нас больше нет! (*С большой силой*). Когда права больше не существует, когда свободы больше нет, когда на каждом шагу попирается человеческое достоинство, обязанность всех порядочных людей: взяться за оружие!

Волнение в зале все растет.

ЛАФАЙЕТТ: Этот гнилой строй уже давно был бы сметен народом, если бы между нами не было разногласия... Мне тяжело о нем говорить. Я его коснусь со всей осторожностью и надеюсь никого не задеть. Я говорю о разногласии между бонапартистами и республиканцами. Здесь в этой комнате есть Рыцари, еще надеющиеся на то, что великий узник острова Св. Елены вернется во Францию. Друзья мои, я знал императора и ценю его гений. Но по самой природе своей он может быть только деспотом. (*Ропот части аудитории*). Хорошо, я не буду касаться этого вопроса...

БЕРНАР: Перейдем к восстанию!

ЛАФАЙЕТТ: План восстания разработан во всех подробностях, но о нем говорить пока не время. Оно будет начато не в Париже. Парижский гарнизон тщательно подобран правительством и предан ему. Гарнизоны в провинции — другое дело. Среди них много Рыцарей Свободы, бонапартистов, масонов, карбонариев. Нами созданы два центра. Один в Сомюре, где находится знаменитая кавалерийская школа, другой в Бельфоре, где стоит преданный нам 28-ой полк. Если мы преодолеем наши разногласия, если нас не будут больше разделять гений, тень, легенда великого императора, если бонапартисты согласятся работать дружно с республиканцами, то восстание начнется скоро!.. Друзья мои, я не говорю, что нам обеспечен успех. Ни в войнах, ни в восстаниях успех никогда не бывает обеспечен. Не обманывайте себя, дело идет о наших головах. Многие из нас погибнут, кто в бою, кто в тюрьмах, кто на эшафоте. Пусть каждый спросит себя, готов ли он идти на этот страшный риск. Каждый еще может одуматься и отойти. Что до меня, то мой выбор сделан. Мне легче было его сделать, так как я стар. В назначенный час я выеду в Бельфор или в Сомюр. Мне предложен пост главного вождя восстания. За грехи мои принимаю его! (*Овация*). Мы поднимем войска, мы призовем к восстанию народ, мы двинем армию на Париж! Какова бы ни была наша участь, — победа или поражение, торжество или эшафот, — история никогда не забудет Рыцарей Свободы!

Стук в дверь. На пороге появляется Второй Разведчик. У него взволнованный вид. Он держит в руках газету. Поднимает три пальца.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: Вера. Надежда.

ЛАФАЙЕТТ: Честь. Добродетель.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Великий Избранник, прошу тебя напомнить Второму Разведчику 27-ой параграф устава, согласно которому...

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК (*перебивая его*): Великий Избранник, прошу слова для внеочередного заявления.

(Все удивленно на него смотрят).

ЛАФАЙЕТТ: Рыцарь, я знаю, что ты не нарушил бы порядка заседания, если б не имел на то важной причины. Даю тебе слово и прошу быть кратким.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК (*обиженно*): В виду необходимости быть кратким, я просто прочту кое-что из только что вышедшего номера газеты. (*Читает*). — «Его величество король работал утром с генералом Лористоном и с герцогом Ришелье»... (*Подготовляя эффект, обводит всех взглядом. Общее недоумение. Продолжает читать*): «Ее высочество герцогиня Бурбонская днем посетила короля». (*То же самое. Недоумение растет. Читает:*) «В три часа дня Его величество совершил в коляске прогулку в Марли»...

ГОЛОСА ЗА СТОЛОМ: Что это такое?.. Зачем читать нам всякий вздор!

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: Разрешите мне прочесть еще одно, последнее, четвертое сообщение из той же хроники. Запомните: номер 7 июля 1821 года, шестая страница, мелким шрифтом внизу, на четвертом месте: «Скончался Наполеон Бонапарт».

В комнате мгновенно наступает мертвая тишина.

Все встают.

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Тремя часами позднее.

Та же гостиная, но стола, крытого красным сукном, уже нет, а с другого стола сняты посуда и скатерть. Лафайетт полулежит в кресле, вытянув на тумбу ногу. Теперь он больше не «вождь», а больной усталый старик. В руках у него газета. Г-жа де Ластейри вяжет.

ЛАФАЙЕТТ. Г-ЖА ДЕ ЛАСТЕЙРИ.

ЛАФАЙЕТТ (*отрываясь от газеты*): Не могу читать! Везде зло, везде ложь, везде беспорядок! Я думаю, столь ужасного времени никогда в истории не было. И если б для этого были хоть какие-либо настоящие причины! Нет, все человеческая глупость. Несколько благонамеренных людей нашего толка у власти — и все это было бы как рукой снято!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Папа, я не смею с тобой спорить, но благонамеренные люди вашего толка уже были у власти в 1789 году... Как твоя нога?

ЛАФАЙЕТТ: Я совершенно здоров.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Слава Богу, но, быть может, ты недостаточно молод для заговоров... Папа, ты не можешь себе представить, как я волнуюсь! Во-первых, твое здоровье, во-вторых, этот страшный риск. Каждый раз, когда я слышу во дворе конский топот, я вздрагиваю: что, если это полиция! Я не сплю, я болею!

ЛАФАЙЕТТ: Ты хочешь шантажировать меня своим здоровьем. На самом деле ты просто желаешь, чтобы я ничего не делал.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Не «ничего», а ничего опасного.

ЛАФАЙЕТТ: Я всю жизнь подвергался опасности и давно к этому привык. Долг прежде всего... Я догадываюсь, ты относишься иронически к нашим собраниям. Неужели ты думаешь, что я не замечаю смешной стороны этих кинжалов, топоров, черепов? Поверь моему опыту, это необходимо! Человеческая душа требует поэзии, требует обрядов. Церков, монархия, армия этим завоевали души людей. Теперь люди потеряли веру, монархия отжила свой век, войн, надеюсь, никогда больше не будет, — что ж, надо завоевать человеческую душу другой обрядностью. Жаль только, что мы еще не научились выполнять наши новые обряды так же хорошо, как военные выполняют свои. Ты обо всем этом судить не можешь. К сожалению, ты не хочешь войти в наше общество.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*с горечью*): Папа, мое дело готовить вам бутерброды. Я никогда не позволю себе относиться иронически к тому, что ты делаешь. Ты корнелевский герой, а я никто. Ни в какие революционные дела я входить не могу, у меня есть дети.

ЛАФАЙЕТТ (*искоса на нее смотрит*): Называть человека корнелевским героем это и есть злая ирония.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*быстро*): Клянусь тебе, что нет!

ЛАФАЙЕТТ (*как бы невзначай*): Что до детей, то, уж если пришлось к слову, мои дела их не разорят. Конечно, политическая работа всегда мне стоила денег, тогда как многих других она обогатила. Но мои внуки нищими не останутся и им не придется ни жалеть о том, что они внуки Лафайетта, ни стыдиться этого.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Папа, я ни одного слова не говорила о деньгах!

ЛАФАЙЕТТ: Я это сказал так, просто к слову. (*Улыбается*). Если наше дело будет выиграно, меня прочтут в президенты Республики. Другого кандидата у нас в самом деле нет. Тогда нам придется жить в королевских дворцах. Боже, какая это будет скука! Я знал всех королей и императоров. Любой лавочник живет приятнее, чем жил Фридрих Великий... Помню, раз за обедом в Потсдаме он мне сказал: «Если во Франции будет революция, то вас повесят первым».

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*подавляя зевок: она не раз это слышала*): Он, к счастью, ошибся, но не так уж сильно. Ты спасся только чудом.

ЛАФАЙЕТТ (*устало*): Господи, кого я только не знал! Подумать, что я разговаривал с Людовиком XV!.. Почти никого из моих сверстников не осталось в живых... Столько их умерло трагической смертью... Сегодня это известие о кончине Наполеона! Он был лет на пятнадцать моложе меня.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Вы прервали заседание из-за этого известия?

ЛАФАЙЕТТ: Да... Я сказал слово, посвященное его памяти, поделился личными воспоминаниями о нем. Быв-

шие офицеры плакали. Конечно, Наполеон был великий человек, но... У него были все худшие человеческие недостатки...

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Папа, у него были и некоторые достоинства.

ЛАФАЙЕТТ: Этот старый деспот не церемонился с людьми, он хорошо играл трагическую роль, он залил мир кровью — и они его обоготворили. Они, над гробом Наполеона, поклялись защищать свободу! Таковы люди!

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Это не мешает тебе быть горячим поклонником народоправства.

ЛАФАЙЕТТ: За неимением лучшего. От отдельного человека ничего ждать, кроме деспотизма, нельзя. От народа можно ждать многого. Нет, я предпочитаю лаврам Наполеона славу моего покойного друга Вашингтона, хотя он и не был великим полководцем... Я всю мою жизнь был против террора, но не могу не сказать: если б союзники потратили на убийство Наполеона сотую долю тех средств, которые они потратили на войны с Францией, то войн не было бы, и миллионы людей были бы живы... Впрочем, это было бы низкое, недостойное средство борьбы. (*Помолчав*). Да, что ни говори, эта строчка петитом на шестой странице газеты, на четвертом месте в хронике: «Скончался Наполеон Бонапарт»... Надо очень любить людей, чтобы быть демократом.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Твой полковник Бернар, папа, из-за смерти императора не сказал за ужином ни одного слова, кроме «да» и «нет».

ЛАФАЙЕТТ: Он стоит за свободу и вместе с тем боготворит Наполеона! Император очень его ценил. Бернар прекрасный офицер.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Может быть, но довольно неотесанный человек. С первых слов ни с того, ни с сего сообщил мне, что они живут на две тысячи франков в год.

ЛАФАЙЕТТ (*с легким раздражением*): Что мне за дело до его манер? Чем дольше я живу, тем снисходительнее отношусь к людям. Полковник Бернар ценный человек, бесконечно преданный делу борьбы с Бурбонами.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*испуганно: она больше всего на свете боится раздражить или взволновать отца*): Я ничего дурного о нем не говорю. Жена обожает его, любо на них смотреть. (*С улыбкой*). А в нее этот американский мальчик влюблен так откровенно, что даже забавно смотреть. Она, правда, очень мила... Я пригласила их остаться на ночь: они опоздали на дилижанс, а наших кучеров я отпустила. Все-таки, папа, как можно привлекать к вашим делам столь юных людей, особенно женщин?

ЛАФАЙЕТТ (*благодарушно*): Ты против женского равноправия? Это мне напоминает нашу Луизу, которая по аристократизму не уступит королеве Марии Антуанетте.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Я не против женского равноправия, а за здравый смысл. Ей двадцать лет... Кроме того, она слишком много пьет. За обедом она выпила целую бутылку шампанского!

ЛАФАЙЕТТ (*так же*): Да, да... Мы принимаем всех, кроме людей заведомо нечестных. Конечно, в этом есть риск. Но... Покойный император издевался над теми генералами, которые хотят вести войну без всякого риска. А я скажу то же о заговорах.

ЛАФАЙЕТТ. Г-ЖА ДЕ ЛАСТЕЙРИ. ЛУИЗА.

ЛУИЗА (*Входит и, увидев Лафайетта в кресле, с яростью поднимает три пальца*): У него подагра и болезнь мочевого пузыря, а он устраивает заговоры!.. Еще кто-то к тебе приехал! (*Подает ему визитную карточку*).

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Луиза!

ЛАФАЙЕТТ (*читает с иронической интонацией*): Барон Лиддеваль... Этому «барону» чего еще нужно?

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Он тоже Рыцарь Свободы?

ЛАФАЙЕТТ: Нет, он рыцарь индустрии. Это жулик неизвестного происхождения, натурализовавшийся во Франции.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Мне было бы гадко подавать руку жуликам.

ЛАФАЙЕТТ: Подача руки ровно ничего не означает.

Если б ты знала, кому мне только ни приходилось в жизни подавать руку! (*Луизе*) — Попроси его войти, милая.

ЛУИЗА (*сердито*): «Жулик, жулик»! Почему он жулик? У него такие лошади, что на них не отказался бы ездить король. Вот те, что раньше были, это жулики! (*Уходит*).

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ (*встает и собирает вязанье*): Папа, только ради Бога не засиживайся... Тебе доктора велели рано ложиться. Сегодня у тебя очень усталый вид.

ЛАФАЙЕТТ (*с досадой*): Хорошо, хорошо, я это уже слышал.

(*У нее опять лицо становится испуганным. Уходит*).

ЛАФАЙЕТТ. ЛИДДЕВАЛЬ.

ЛАФАЙЕТТ (*очень холодно*): Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

ЛИДДЕВАЛЬ: Я приехал, генерал, прежде всего для того, чтобы засвидетельствовать вам мое глубокое уважение. Давно собирался это сделать. Вы имеете во мне горячего поклонника.

ЛАФАЙЕТТ: Покорнейше вас благодарю.

ЛИДДЕВАЛЬ: Эти чувства разделяет со мной вся страна. Она единодушно скорбит о том, что такой человек, как вы, находится не у дел и даже в опале. У Франции не так много Лафайеттов. У нее даже нет никого кроме вас.

ЛАФАЙЕТТ (*чуть мягче*): Еще раз благодарю вас, хотя вы очень преувеличиваете.

ЛИДДЕВАЛЬ: Нисколько. (*Недолгое молчание*). Но если я позволил себе побеспокоить вас, вдобавок в довольно неурочное время, то по важной причине. До меня дошли слухи об одном намечающемся деле вполне секретного характера. (*Вопросительно на него смотрит*).

ЛАФАЙЕТТ (*сразу насторожившись, еще холоднее, чем вначале*). — О каком деле секретного характера?

ЛИДДЕВАЛЬ: Я, конечно, не имею права на полную откровенность, тем более, что вы меня мало знаете...

ЛАФАЙЕТТ: Я даже совершенно вас не знаю.

ЛИДДЕВАЛЬ (*нисколько не смущаясь*): Правда, мы с вами только раза два встречались в обществе... Об этом деле мне говорили другие. Не все так сдержаны, как вы, генерал. Я знаю, что речь идет о возможности серьезных перемен во внутреннем положении нашей страны.

ЛАФАЙЕТТ (*так же*): Вот как? Быть может, король намерен призвать к власти либералов?

ЛИДДЕВАЛЬ (*улыбаясь*): Это, конечно, самое лучшее, что он мог бы сделать. Но, к несчастью, об этом нет и речи. Как вы знаете, Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились.

ЛАФАЙЕТТ: Какие же перемены вы имеете в виду?

ЛИДДЕВАЛЬ (*твердо*): Я говорю о заговоре, имеющем широкие разветвления в армии, в обществе и в лучшей части нашего народа.

ЛАФАЙЕТТ: О заговоре? В первый раз слышу, барон.

ЛИДДЕВАЛЬ: Этот заговор ставит себе целью вооруженное восстание.

ЛАФАЙЕТТ: Неужели? Вы принимаете в нем участие, барон?

ЛИДДЕВАЛЬ: Нет, но я готов принять в нем участие.

ЛАФАЙЕТТ: Вот как? Я не знал, что банкиры так недовольны существующим строем... Однако при чем тут я?

ЛИДДЕВАЛЬ: Генерал, вы, конечно, в праве и не оказывать мне доверия... Я мог бы представить вам рекомендации от людей, хорошо вам известных...

ЛАФАЙЕТТ: Помилуйте, зачем мне ваши рекомендации? Я ни малейшего отношения ни к каким заговорам не имею и не хочу иметь. Вас ввели в заблуждение. Не могу даже понять, какой дурак направил вас, барон, ко мне для столь странного разговора.

ЛИДДЕВАЛЬ (*не смущаясь*): Вы, конечно, подозреваете полицейскую провокацию. Позвольте вам на это сказать лишь одно: я очень богат, у меня миллионы, это знает весь Париж. Какими деньгами меня могла бы подкупить полиция или кто бы то ни было другой? Напротив, я приношу вам свои деньги. Единственная цель моего визита заклю-

чается в том, чтобы внести патриотическую лепту в фонд общего дела. Восстания без денег не устраиваются. Не буду скрывать от вас, мне приблизительно известен состав участников дела. Среди них нет богатых людей... Банкир Лаффит — вот ведь еще банкир, недовольный существующим строем, и он ваш друг... Но Лаффит не любит рисковать кошельком и тем более головою. Деньги на заговор даете главным образом вы, и я считаю это несправедливым. Я был бы готов дать на это дело сто тысяч франков.

ЛАФАЙЕТТ: Это, конечно, очень мило с вашей стороны, и, вероятно, заговорщики, если они существуют, будут вам очень благодарны. Но, повторяю, при чем тут я? Над вами кто-то подшутил. Я ни одного заговорщика в глаза не видал... Это все, что вы хотели мне сказать, барон?

ЛИДДЕВАЛЬ: Это все... *(раздраженно)*. — Кажется, вам не нравится мой титул? Я получил его от императора Наполеона, который не давал титулов мужьям своих любовниц, как это делали короли. Разница между новой аристократией и старой знатью скорее в пользу новой.

ЛАФАЙЕТТ: Может быть. Впрочем, и в новой аристократии есть подразделения. Император громадное большинство титулов давал маршалам и генералам за военные заслуги. *(Приподнимается в кресле)*.

ЛИДДЕВАЛЬ *(встает)*: До свиданья, генерал.

ЛАФАЙЕТТ: Прощайте, барон. *(Не провожает его. Лиддеваль уходит. Лафайетт с безразличным выражением на лице выходит в другую дверь)*.

В гостиной появляются Лина и Джон.

ЛИНА. ДЖОН.

ЛИНА: Никого нет! *(Смеется чуть пьяным смехом)*. Графиня, верно, пошла спать... Она так хорошо воспитана, так хорошо воспитана, что можно повеситься от скуки... Я очень невоспитанная, правда?

ДЖОН *(угрюмо)*: Я не знаток.

ЛИНА *(очень похоже воспроизводит голос, интонацию, манеру 1-жи де Ластейри)*: «Будьте в Лагранже, как

у себя дома»... «Теперь вы знаете дорогу к нам»... (*Опять смеется*). — На ночном столике в нашей комнате стоят два стакана оршада! Если б бутылка шампанского, это было бы лучше. Ах, какое за обедом было шампанское! Клико 1811 года! Кажется, я слишком много выпила?

ДЖОН (*так же*): Да, и мне кажется.

ЛИНА: Рыцарь Свободы Джон сегодня дурно настроен. Это тоже из-за смерти Наполеона?

ДЖОН: Почему «тоже»?

ЛИНА: Потому что мой муж лежит на диване в своей комнате, не пошел с нами гулять и еле отвечал за обедом самому генералу. (*Подражает поочередно Лафайетту и мужу*): — «Я всегда отдавал должное гению покойного императора». — «Да, генерал». — «Но не согласитесь ли вы, полковник, со мной в том, что он причинил Франции больше зла, чем добра?» — «Нет, генерал».

ДЖОН (*огорченно*): Зачем вы шутите?.. (*Нерешительно*). — Мне кажется, что ваш муж сердится на меня.

ЛИНА: Я удивляюсь, что он не надирает вам ушей! Вы все время говорите мне о любви! Правда, вы не говорили, что любите именно меня, но я догадалась: я такая догадливая!

ДЖОН: Я не говорил и не мог сказать замужней женщине, что люблю ее.

ЛИНА: Это очень тонкая и достойная мысль. Мой мальчик, вы далеко пойдете! Кстати, чем вы думаете заняться в жизни, когда кончите университет?

ДЖОН: Я хочу обессмертить свое имя.

ЛИНА: Мне нравится скромность в людях... Не сердитесь, что я смеюсь. Я смеюсь, потому что много выпила, потому что мне сегодня очень весело. Как же вы хотите обессмертить свое имя? Вы станете президентом Соединенных Штатов вместо... Кто у вас теперь президент?

ДЖОН: Джемс Монро... Нет, мое честолюбие другое. Я хочу либо написать книгу, которая сделает людям много добра, либо посвятить жизнь борьбе за свободу, как генерал Лафайетт.

ЛИНА (*с восторгом*): Ах, как вы правы! Я так рада, что вы так думаете! Я сама так думаю! Книга — нет: книги я написать не могу, я ровно ничего не знаю. Но я до всего дохожу своим умом. Вы не думайте, что я дура: я целыми днями думаю. О чем? Ни о чем! О жизни. Вы, милый Джон, тоже умный. Я больше всего люблю в мужчинах ум, честолюбие, волю.

ДЖОН: Поэтому вы так любите своего мужа?

ЛИНА (*с меньшим жаром*): Да, поэтому я так люблю своего мужа.

ДЖОН: Я хочу сказать вам только одно...

ЛИНА: Я знаю, что вы хотите мне сказать. (*Подражая его акценту*). «Лина, если вам когда-либо понадобится верный преданный друг, вспомните, что на свете существую я». Правда?

ДЖОН: Правда, но я не вижу, над чем тут насмеяться!

ЛИНА: Мой милый мальчик, я нисколько не насмехаюсь. Вы очень славный юноша... Но вы совершенно правы: нельзя любить замужнюю женщину, это большой грех, и что сказали бы ваши папа и мама?

ЛИНА. ДЖОН. Г-ЖА ДЕ ЛАСТЕЙРИ.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: А, вы вернулись с прогулки. Правда, лес очень хорош?

ЛИНА: Очарователен! Все очаровательно! Жизнь очаровательна! Кажется, у меня никогда не было такого приятного дня в жизни.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Я очень рада. Ваш муж все еще отдыхает?

ЛИНА: Да, он устал.

Г-жа де ЛАСТЕЙРИ: Будьте, как у себя дома. Гостиная к вашим услугам, вы можете в ней оставаться хоть до полуночи. (*Джону. Она забыла его фамилию*). Мосье... Вы решительно не хотите остаться на ночь? Очень жаль. Тогда позвольте мне с вами проститься. Теперь вы знаете дорогу в Лагранж, милости просим. (*Подчеркнутым тоном*). Надеюсь, у вас все будет благополучно. Во Франции надо быть

очень, очень осторожным... Особенно иностранцу... Папа пишет письма, но он сейчас к вам выйдет. (*Уходит*).

ЛИНА: Почему вы не хотите остаться на ночь? Вам отвели комнату рядом с нашей. Может быть, именно поэтому?

ДЖОН (*вспыхивая*): Лина!

ЛИНА: Собственно и мы могли бы уехать еще сегодня. Здесь был барон Лиддеваль. Он мог нас подвезти в своей великолепной коляске.

ДЖОН: Барон Лиддеваль был здесь? У генерала Лафайетта?

ЛИНА: Да. Говорят, он пират, но интересный пират.

ЛИНА. ДЖОН. ЛАФАЙЕТТ.

ЛАФАЙЕТТ: Вы нас покидаете, молодой друг мой? Мне было очень приятно познакомиться с американцем нового поколения.

ДЖОН: Генерал, я был так счастлив!

ЛАФАЙЕТТ: Теперь вы будете знать дорогу в Лагранж. Я вас провожу.

ДЖОН: Помилуйте генерал! (*Целует руку Лине и выходит с Лафайеттом, который в дверях с улыбкой пропускает его вперед.*

Лина сзади подражает жестами им обоим).

ЛИНА. ПОТОМ ЛАФАЙЕТТ.

Лина одним пальцем играет на пианофорте мелодию романса Мартини: "Plaisir d'amour"...

ЛАФАЙЕТТ (*входя*): Вы играете? Можно вас послушать? Это ведь знаменитый романс Мартини?

ЛИНА: Да. (*Опускает крышку пианофорте*). Я плохо играю. Пою немного лучше, но тоже плохо.

ЛАФАЙЕТТ: Вы остались довольны прогулкой? Правда, лес очень хорош?

ЛИНА: Очарователен. Все здесь очаровательно... И больше всего вы сами, генерал,

ЛАФАЙЕТТ (*смеется*): Быть может, вы слышали или читали, что я падок на лесть. Враги обвиняли меня — когда-то в «молодом честолюбии», теперь в «старческом тщеславии». Обвиняли меня и в «самовлюбленности»... Я никогда не мог понять, зачем люди доискиваются недостатков в человеке. Каждого человека, все равно большого или маленького, надо судить не по худшему, а по лучшему что в нем есть.

ЛИНА (*точно пораженная*): Боже, как это верно!

ЛАФАЙЕТТ (*смеется*): Дитя мое, положительно вы решили подкупить меня лестью. Это совершенно не нужно. Мне вы и так очень нравитесь.

ЛИНА (*подсаживается к нему ближе*): Правда, я вам нравлюсь? Чем? Ради Бога, скажите чем? Я так люблю когда меня хвалят! Особенно если это в присутствии моего мужа.

ЛАФАЙЕТТ (*серьезно*): Ваш муж очень хороший человек.

ЛИНА: Чудный! Я так люблю его. Он умный, храбрый, серьезный. Он герой, он человек из этого... Из Платона, да?

ЛАФАЙЕТТ: Из Плутарха?

ЛИНА: Вот, вот, из Плутарха. Теперь он зол на правительство за то, что оно его уволило в отставку.

ЛАФАЙЕТТ: Не только за это: за то, что это скверное деспотическое правительство.

ЛИНА (*поправляясь*): Конечно, это главное. Я обожаю своего мужа, но... Он не любит людей... Он на войне был несколько раз ранен. Теперь он часто говорит: «Вот как они меня вознаградили!» Бернар очень раздражен... Я говорю лишнее оттого, что я много выпила... И он ревнивец... Как зовут того негра, о котором Россини написал оперу?

ЛАФАЙЕТТ (*с улыбкой*): Отелло.

ЛИНА: Да, Отелло. Мой муж — Отелло.

ЛАФАЙЕТТ: Я уверен, что вы не даете ему никаких оснований для ревности.

ЛИНА: Ни малейших. Другие мужчины для меня не

существуют. А он все боится, что он для меня стар. (*Со вздохом*). Он на двадцать пять лет старше меня. Но я его все-таки обожаю.

ЛАФАЙЕТТ: Вы очень милы, хотя у вас лукавые глазки, Лина... Кстати, Лина, это у нас довольно необычное имя.

ЛИНА: Я родилась в Париже, но происхождение у меня иностранное и сложное, скучно рассказывать. Вы однако не сказали мне, чем я вам нравлюсь.

ЛАФАЙЕТТ: Не сказал и не скажу. Я люблю говорить приятное людям: по-моему, к этому частью сводится настоящая житейская мудрость. Но все-таки зачем вас портить? Вот о ваших недостатках, если хотите, я могу сказать.

ЛИНА: О моих недостатках! Разве у меня есть недостатки?

ЛАФАЙЕТТ: Маленькие. Совсем маленькие.

ЛИНА: Тогда о них не стоит и говорить... Генерал, какой вы замечательный человек! Я так рада, что вы меня приняли в ваш орден, что я буду зашифровывать самые секретные письма. Я теперь изучаю ключи, это так интересно! У меня есть отличная мысль о ключе!

ЛАФАЙЕТТ: Дитя мое, будьте очень осторожны. Никому не говорите обо всем этом.

ЛИНА: Никому! Клянусь вам, я не скажу никому!.. Ведь правда, моя голова может полететь?

ЛАФАЙЕТТ: Не думаю, но гарантии вам не даю.

ЛИНА: Эшафот?.. Ну, что, эшафот? Зачем эшафот?.. Но я хотела бы сражаться на баррикадах, и чтобы со мной рядом сражались красивые умные мужчины. Вот как вы! Должно быть, вы когда-то имели сказочный успех у женщин?

ЛАФАЙЕТТ (*смеясь*): Благодарю за это «когда-то».

ЛИНА: Ради Бога, извините меня! Я сегодня весь день говорю глупости. Может быть, оттого, что я много выпила... Один человек говорил мне, что со мной можно все сделать, если напоить меня шампанским. Но это гнусная клевета! Я всю жизнь буду верна Марселю!

ЛАФАЙЕТТ (*очень серьезно*): Непременно... Вот кстати он идет.

ЛИНА. ЛАФАЙЕТТ. БЕРНАР.

БЕРНАР: Лина, ты отнимаешь время у генерала.

ЛАФАЙЕТТ (*Весело*): Я очень люблю, когда у меня отнимают время.

ЛИНА: Марсель, люди, которые говорят, будто время деньги, бесстыдные лгуны. Если мне будут платить по 100 франков за день, я продаю три года своей жизни... Нет, три года много... Год. И мы говорили с генералом об очень серьезных предметах. Это вы все боитесь генерала, а я его нисколько не боюсь!

ЛАФАЙЕТТ: И не надо. Мы отлично ладим с вашей женой, полковник.

БЕРНАР: Ваша дочь сказала нам, что вы рано ложитесь и по вечерам пишете письма.

ЛАФАЙЕТТ: Да, письма, письма... Это мое несчастье. (*Встает*).

ЛИНА: Если они будут зашифрованные, то я все прочту и изменю то, что мне покажется неподходящим.

ЛАФАЙЕТТ: Мы вас расстреляем по приговору военного суда. Доброй ночи, друзья мои. (*Целует ей руку и уходит*).

ЛИНА. БЕРНАР.

БЕРНАР: Должен сказать, что ты приняла довольно странный тон с генералом Лафайеттом. Ты слишком много пила за обедом.

ЛИНА: Да... Я редко вижу шампанское.

БЕРНАР: Незачем так часто напоминать мне, что я не имею средств.

ЛИНА: Марсель, право это скучно!.. Я не виновата в том, что Наполеон умер.

БЕРНАР: Не могу сказать, чтобы это была очень уместная шутка!

ЛИНА: Но что же мне делать, когда ты в дурном настроении и придираешься?

БЕРНАР: Если б ты знала, как я за тебя тревожусь! Ты не создана для Парижа, здесь слишком много соблазнов. Как только день восстания будет назначен, мы уедем назад в Сомюр. *(Молчание)*. Где ты была после обеда?

ЛИНА: Гуляла с Джоном. Он просил тебе кланяться.

БЕРНАР: Очень ему благодарен. Думаю все-таки, что ты могла бы с ним любезничать поменьше. Не вижу, например, почему именно ты должна была его представлять генералу. Это мог сделать кто-либо другой. Например, я.

ЛИНА: Теперь все будут знать, что он мой любовник.

БЕРНАР *(вспылив)*: Перестань говорить глупости!

ЛИНА: Неужели тебе не стыдно ревновать меня к мальчику?

БЕРНАР: Он моложе тебя на год, а я старше тебя на двадцать пять лет.

ЛИНА: Это что-то из учебника арифметических задач.

БЕРНАР: Что мне делать, да, я ревную тебя. Ко всем!

ЛИНА: И к Лафайетту? *(Смеется)*. Он очень милый, но допотопный. Говорят, он был одним из главных деятелей революции, между тем он с головы до ног маркиз. И живут они так, точно никакой революции никогда нигде не было... Если он станет президентом республики, он должен назначить тебя военным министром.

БЕРНАР: Какой вздор!

ЛИНА: Почему вздор? Кого же они возьмут? Первого Разведчика? Что ж, если ты сам не честолобив, твоя жена должна быть честолобивой за тебя.

БЕРНАР: Я был честолобив. Я мечтал о военной славе. Но... мне сорок пять лет, и я полковник в отставке. Теперь, мне кажется, я излечился от честолубия *(Лина смеется)*. Ты не веришь? Клянусь тебе, у меня остались только две мысли: свобода и ты.

ЛИНА: Нет, я и свобода.

БЕРНАР: И мне так больно, так больно, что по моей бедности ты ведешь такую скучную серую жизнь.

ЛИНА: Опять!.. Дело не в бедности... Я не хочу сказать, что бедность хороша, ты мне и не поверил бы. Дело в чем-то другом, не знаю, как объяснить. Надо жить так, чтобы каждый день, каждый час чувствовать себя пьяной. Все равно от чего! От любви, это лучше всего. От заговора... (*Обнимает его*). Марсель, когда же будет настоящая жизнь? Когда? Если ее не будет, я способна на все! Я по природе грешница!

БЕРНАР (*горячо целует ее*): Ты ни на что дурное неспособна! Я тебе не верю.

ЛИНА: Я, быть может, в первый раз в жизни сказала чистую правду и ты мне не поверил!.. Ты рад, что женился на мне?

БЕРНАР: Я не прожил бы без тебя одного дня!.. Ты помнишь, я просил твоей руки тоже в жаркий летний вечер. Это было в четверть десятого. (*Вынимает часы*). Теперь девять. Правда, это было в августе.

ЛИНА: 9 августа.

БЕРНАР (*с неудовольствием*): Не 9-го, а 7-го.

ЛИНА: Да, ты прав. Тогда была луна. (*Подходят к растворенному окну*). Марсель, и теперь луна! (*Смеется*). На этом сходство кончается. Это окно выходит в великолепный парк, а то в маленький грязный Сомюрский двор. Что ты мне тогда сказал?

БЕРНАР (*дразня ее*): Не помню. Мало ли что я там говорил!

ЛИНА: Ты врешь! Я помню каждое слово. Ты сказал (*произносит его слова торжественно, с волнением*): «Лина, я люблю вас». Продолжай.

БЕРНАР: «Моя судьба зависит теперь от вашего слова».

ЛИНА: Не «зависит теперь», а «теперь зависит»... (*Разочарованно*). Тогда ты это сказал гораздо лучше.

БЕРНАР: Потом ты пела. Ты помнишь, что ты пела?

ЛИНА (*Играет одним пальцем на пианофорте и поет вполголоса*):

Plaisir d'amour ne dure qu'un instant,*)
 Chagrin d'amour dure toute la vie.
 J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie,—
 Elle me quitte et prend un autre amant...

БЕРНАР: Я теперь люблю тебя еще больше, чем тогда!
 А ты меня?

ЛИНА (*горячо*): В десять раз больше! В сто раз больше!
 В тысячу раз больше!

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Роскошная гостиная в квартире Лиддеваля. На небольшом столике кофейный прибор, поднос с ликерами, печенье. У стены пианофорте. За ним сидит Лина. Рядом на стуле ее мантия, шляпа, сумка. Еще до поднятия занавеса слышна музыка.

ЛИНА. ЛИДДЕВАЛЬ.

ЛИНА (*поет, аккомпанируя себе по нотам*):

Tant que cette eau coulera lentement**)
 Vers le ruisseau qui borde la prairie,
 Je t'aimerai, me répétait Sylvie,
 L'eau coule encore, elle a changé pourtant...

ЛИДДЕВАЛЬ: Ты поешь очень мило... Не хочешь еще кофе? Или коньяку?

ЛИНА (*захлопывая крышку пианофорте*): Не хочу!.. Впрочем, налей коньяку.

ЛИДДЕВАЛЬ: Зачем же отказывать себе в большом

*) «Радости любви длятся только мгновение, а горе от любви длится всю жизнь. Я все бросил ради неблагодарной Сильвии. А она бросает меня и уходит к другому возлюбленному».

**) «Пока эта вода медленно течет к ручью в конце луга, я буду любить тебя», — повторяла мне Сильвия. — «Вода еще течет, однако она изменилась».

удовольствию? Я всегда требую, чтобы женщины пили...
(Подливает ей коньяку).

ЛИНА: Ты говорил, что, напоив меня шампанским, со мной каждый может сделать что угодно... Ты это и сделал.

ЛИДДЕВАЛЬ: Я, кажется, не говорил, что каждый... Твое здоровье! (Пьет). — За успех заговора генерала Лафайетта.

ЛИНА (выплескивает коньяк на ковер): Я тебя просила не говорить о заговоре и о генерале Лафайетте!

ЛИДДЕВАЛЬ: Это табу, я забыл... (Наполняет ее рюмку снова). Вы все откладывали дело из-за раздоров между бонапартистами и республиканцами. Три месяца тому назад пришло известие о смерти Наполеона. Значит, теперь дела надо ждать в самом ближайшем будущем. (Поглядывает вопросительно на Лину. Она с усмешкой на него смотрит).

ЛИНА: А вот я, может быть, и знаю, но не скажу!

ЛИДДЕВАЛЬ: Лафайетт в пору революции всегда шел с опозданием в полгода. Так будет и дальше. Его правило: куда же спешить, подождем-посмотрим... Историки, вероятно, будут ломать себе голову: в чем была разгадка личности Лафайетта? А разгадка просто в том, что он глуп.

ЛИНА: Конечно, тебе неприятно, что он прогнал тебя с твоими деньгами!

ЛИДДЕВАЛЬ: Самодовольный, влюбленный в себя старик, падкий на лесть, помешанный на своей славе, необычайно гордящийся тем, что он маркиз, хотя и либерал, или что он либерал, хотя и маркиз.

ЛИНА: Что ты можешь в нем понимать с твоим циничным умом!

ЛИДДЕВАЛЬ: Мораль требует от человека, чтобы он говорил правду. Но когда он говорит всю правду, его называют циником. Так называли и моего отца... Мне было лет восемь, когда казнили Дантона. Я видел, как его везли в колеснице на эшафот. В тот день отец сказал мне: «Жюль, не служи ни партиям, ни идеям, ни народу: все партии бесчестны, все идеи живут один миг, а народ глуп как осел.

Думай о себе и о своей семье». Семьи у меня нет, но из тех двадцати пяти тысяч, что мне оставил отец, я сделал десять миллионов и сделаю сто... Надеюсь, что ты меня все-таки считаешь честным человеком?

ЛИНА: Не надейся. Ты жулик.

ЛИДДЕВАЛЬ: Почему я жулик? Если подходить к делу формально, то я ни разу в тюрьме не сидел...

ЛИНА: Очевидно, королевский прокурор крайний формалист. В тюрьмы попадают только глупые жулики.

ЛИДДЕВАЛЬ: Если подходить к делу по существу, то я, кажется, никому в жизни не сделал зла, по крайней мере сознательно. Все мои дела приносили большую пользу мне, не принося ни малейшего вреда другим. У тебя такое же понятие о деловых людях, как у твоего мужа или у Лафайетта. По-вашему, всякий делец — разбойник, готовый на шантаж, на воровство, на убийство, на что угодно. Могу тебя уверить, что я отроду ничем таким не занимался и что мне все это чрезвычайно противно. Я раздаю в год несколько сот тысяч франков на благотворительные дела.

ЛИНА: Для рекламы. Ты любишь рекламу еще больше, чем деньги.

ЛИДДЕВАЛЬ: Люблю, как почти все филантропы. Но я жертвую много денег и без всякой рекламы.

ЛИНА: Если б я это слышала только от тебя, я подумала бы, что ты привираешь: это с тобой случается. Но, к моему изумлению, я это слышала и от других. Говорят, твои служащие тебя обожают за доброту и щедрость!

ЛИДДЕВАЛЬ: Ну, вот видишь. Не всякий богатый либерал может сказать о себе то же самое.

ЛИНА: Почему ты предлагал мне сто тысяч за письма, которые я зашифровываю?

ЛИДДЕВАЛЬ: С формальной стороны, конечно, это не очень хорошо. Однако опять-таки я тебя спрашиваю, кому был бы вред, если б ты согласилась мне показать эти письма? Ведь ты не предполагаешь, что я собирался отнести эти письма в полицию?

ЛИНА: Надеюсь, что нет. Но я не вполне уверена.

ЛИДДЕВАЛЬ (*Пожимая плечами*): Спасибо. Ты еще глупее Лафайетта. Для того, чтобы донести, отправить человека на эшафот или в каторжные работы, нужно быть совершенным мерзавцем. А совершенных мерзавцев на свете не так уж много: не больше, чем совершенно порядочных людей, и неизмеримо меньше, чем людей честных-просто, к которым я себя причисляю.

ЛИНА: Ты не злой, но ты от природы чего-то не понимаешь. В тебе чего-то нет... Вот как рождаются люди с одной почкой.

ЛИДДЕВАЛЬ: Ты родилась с двумя сердцами, это тоже бывает.

ЛИНА: Что ты понимаешь в жизни? Надо жить так, чтобы каждый день чувствовать себя пьяной...

ЛИДДЕВАЛЬ: Ты мне уже это говорила.

ЛИНА: Я не знаю, за что я полюбила тебя. За то, что ты умен, что ты вивер, что ты страстный игрок? Я мужа люблю потому, что он сама честность, а тебя люблю потому, что ты жулик... Да, можно быть пьяной и от заговора, и от музыки, и от лжи...

ЛИДДЕВАЛЬ: Можно быть даже пьяной от коньяку.

ЛИНА (*не слушая его*): Бернар убьет меня, если узнает, что я ему изменила.

ЛИДДЕВАЛЬ: Он убьет тебя своим презрением.

ЛИНА: Тебя он застрелит тут же.

ЛИДДЕВАЛЬ: В твоих глазах скользнуло мечтательное выражение.

ЛИНА (*смеется*): Быть может, ты прав.

ЛИДДЕВАЛЬ: Не надейся, голубушка, еще не родился человек, который меня застрелит. Возвращаюсь к шифрованным письмам. Подумай только, для чего я побежал бы в полицию? Чтобы получить тысячу франков награды? Чтобы быть навсегда опозоренным человеком? Чтобы подвергнуть себя мести тех заговорщиков, которым удастся спастись, или их братьев? За кого вы меня принимаете? Нет, мой ангел, я никому на вас доносить не собираюсь. Если бы я узнал, на какой день назначено восстание, я просто сы-

грал бы на бирже и заработал бы несколько миллионов. Вот и все. Кому от этого был бы вред?

ЛИНА: Я слышала, что порядочные люди чужих писем не читают.

ЛИДДЕВАЛЬ: Если Лафайетту в пору восстания попадется письмо властей о передвижении королевских войск, как ты думаешь, он не прочтет письма?

ЛИНА: Это не то же самое. Лафайетт ничего не делает ради собственной выгоды, а ты только о ней и думаешь.

ЛИДДЕВАЛЬ: И то, и другое неверно. Лафайетт думает о славе, о власти, о том, чтобы стать президентом республики... Я думаю, правда, о своем обогащении, но мое богатство дает возможность недурно жить очень многим людям, следовательно я забочусь не только о себе. Если бы я был Лафайеттом, я тоже устроил бы заговор.

ЛИНА: В случае провала полетят их головы.

ЛИДДЕВАЛЬ: Голова твоего мужа — да, но не голова Лафайетта. Он слишком знаменит, а королевское правительство слишком слабо. Оно сделает вид, будто он в заговоре не участвовал.

ЛИНА: Как же ты мог бы сыграть на бирже, не зная, удастся ли восстание или нет?

ЛИДДЕВАЛЬ: Государственные бумаги понижаются при всяком восстании. Я сначала сыграл бы на понижение; тотчас, при первом известии о восстании, реализовал бы прибыль, а затем немедленно начал бы игру на повышение: если восстание будет подавлено, государственные бумаги понемногу вернутся к прежнему уровню; если же оно удастся, они повысятся сразу. Биржа решительно ничего не имеет против правительства генерала Лафайетта. Это он себя считает необычайным радикалом. На самом деле я гораздо радикальнее его. Я против частной собственности.

ЛИНА: Ты!

ЛИДДЕВАЛЬ: Да, я... Итак, я нажил бы несколько миллионов, ты нажила бы сто тысяч, а заговор шел бы своим чередом, и дай Бог вам полного успеха! Мне совершенно все равно, кто будет у власти. Я разбогател при императоре

Наполеоне, приумножил свое богатство при короле Людовике и надеюсь не пропасть при президенте Лафайетте. Все они по-своему, в каком-то конечном счете, работают на нас, на биржевиков. Самое прочное, что от каждого из них остается, это несколько десятков больших состояний. Моя милая, ты мира не переделаешь, а если так, то почему тебе не нажить ста тысяч? (*Опять смотрит на нее вопросительно*). В конце концов, ничего невозможного в успехе восстания нет. Лафайетт не орел, но он все же наименее глупый из Рыцарей Свободы. Кроме того, у него величественная наружность. Кроме того, он — Лафайетт. Если он выйдет к войскам в своем мундире революционного генерала, может быть часть войск за ним пойдет. Если за ним пойдет один полк, я заработаю миллиона два. Если за ним пойдет дивизия, я заработаю четыре. Надо только знать, когда это будет.

ЛИНА: Мой милый, ты даром тратишь красноречие. И вот что еще. Мне вчера показалось, будто недавно кто-то рылся в моем ящике. Вероятно, я ошиблась, но на всякий случай советую этому «кто-то» не беспокоиться: я приняла меры.

ЛИДДЕВАЛЬ: Лина, ты слишком любишь эффе́кты. Собственно это не твой жанр. Ты очень хорошо притворяешься естественной, это самый тонкий вид лжи. Но зачем вообще лгать без необходимости? Разве это так приятно?

ЛИНА: Особенно приятно, когда знаешь, что ложь может очень, очень дорого тебе стоить.

ЛИДДЕВАЛЬ: Да, да, ты мне говорила, правда в нетрезвом виде, будто для тебя самая лучшая радость (*произносит с подчеркнутой насмешкой*) «играть своей жизнью», «играть головой»... Поверь мне, в жизни все гораздо проще, чем ты думаешь. Вот и сейчас мелодраматический эффе́кт требовал бы, чтобы я показал тебе на дверь и сказал: «Голубушка, я вступил в тобой в связь не ради тебя, а ради этих писем. Ты их не продаешь, ну так ступай на все четыре стороны!»... (*Ласково*). Вот видишь, так я поступил бы, если б был мерзавцем. На самом деле я домогал-

ся твоей любви потому, что я нежно люблю тебя. Письма, это так, кстати. Они мнегодились бы, а не хочешь дать их мне — твое дело... Будем говорить о чем-либо другом... Что ты теперь читаешь?

ЛИНА: Ничего. Разве я могу читать? Я впрочем мало читала и в ту пору, когда была порядочной женщиной.

ЛИДДЕВАЛЬ: Господи, какие слова! И это трагическое лицо! Милая моя, что случилось? Ты «изменила мужу»? Помилуй, да кто же этого теперь не делает? Разве нам не подают примера с высоты престолов? Если Наполеону сделали эту неприятность обе его жены, то почему ты не могла сделать ее твоему Марселю!

ЛИНА: Не смей так говорить! Не смей вообще говорить о Марселе!

ЛИДДЕВАЛЬ: Значит, о нем тоже нельзя говорить! О Лафайетте нельзя, о Рыцарях Свободы нельзя, о нем нельзя. Ну, не надо... (*Молчание*). Какая сегодня прекрасная погода!

ЛИНА. ЛИДДЕВАЛЬ. ЛАКЕЙ.

ЛАКЕЙ: Господин Пюто желает видеть господина барона.

ЛИДДЕВАЛЬ: Сейчас. Я позвоню. (*Лакей уходит*). Милая, ты извинишь меня. Это спешное дело. Я оставляю тебя минут на десять.

ЛИНА: Ты можешь принять его и здесь. У меня немного кружится голова, я пойду полежу в спальне.

ЛИДДЕВАЛЬ (*нежно ее целует*): Кружится голова? Бедная! Отчего же ты не сказала раньше? А я тебя понимал деловыми разговорами! Полежи, пройдет и мы поедем обедать к Вери.

ЛИНА: Нет, к Вери нельзя.

ЛИДДЕВАЛЬ: Чего ты боишься? Ведь Бернар уехал в Сомюр. Со мной ничего бояться не надо.

ЛИНА: Это правда. Я всегда испытывала это чувство, что за тобой не пропадешь. Ты жулик, но сильный человек.

(Вдруг обнимает его). Я верно и за это люблю тебя. Я сумасшедшая, правда?

ЛИДДЕВАЛЬ: О да! Тебя давно пора свезти в дом умалишенных: играй головой там, а не на свободе. Но на прощанье я угощу тебя обедом. Ты ведь во вторник возвращаешься в Сомюр? Это необходимо? Совершенно необходимо?

ЛИНА: Как же иначе? Ты не хочешь, чтобы я бросила Бернара!.. Он как раз пишет мне, что с будущего месяца у нас будет кухарка. До сих пор я варила сама.

ЛИДДЕВАЛЬ: Милая, вот это ужасно, а не то, что ты «изменила мужу»... Да, я понимаю, ты не могла тратить на хозяйство много денег, иначе он догадался бы... Неужели он вправду верил, что твои платья стоят по десять франков?

ЛИНА: Как утомителен твой насмешливый тон! Ты ведь считаешь дураком каждого, кто не нажил миллионов. Ты допускаешь, что есть все-таки люди умнее тебя?

ЛИДДЕВАЛЬ: Теоретически допускаю.

ЛИНА: Например, Наполеон был умнее тебя, а?.. (Со злобой). А на самом деле, если отнять у тебя деньги, что у тебя останется?

ЛИДДЕВАЛЬ: Останется все то, благодаря чему я деньги нажил.

ЛИНА: Ты думаешь, что ты любишь деньги за власть, которую они будто бы дают? Нет, нет, не обольщайся: и власти у всех вас нет и никогда не будет, и тебе с властью нечего было бы делать. Если ты не понимаешь, что такое значит «играть жизнью», «играть головой», то сиди в своем банке, копи деньги и никуда не лезь. Поверь, Наполеон это понимал, и Лафайетт понимает, и даже Бернар понимает.

ЛИДДЕВАЛЬ: Я оценил «даже».

ЛИНА: Ты и любить неспособен! Ты верно за всю свою жизнь ни разу не подумал, что на свете есть еще что-то, кроме денег, что деньги всего не заменяют!

ЛИДДЕВАЛЬ (пожимая плечами): Не знаю, почему ты сердишься? У тебя в самом деле настроение духа ме-

няется так же быстро и так же непонятно, как у сумасшедших.

ЛИНА: Я и есть сумасшедшая.

ЛИДДЕВАЛЬ: Хвастать право нечем, хотя тебе это очень нравится. Добавлю, что ты вместе с тем и себе на уме. И деньги ты не всегда так презираешь. А что они всего не заменяют, это очень верно, хотя и не очень ново. Да, да, конечно, «своего богатства в могилу не унесешь», «человеку ничего не нужно, кроме двух метров земли на кладбище» и т. д. Мысли глубокие, однако до могилы деньги тебе могут быть очень полезны.

ЛИНА *(с внезапной ненавистью)*: Я брала у тебя деньги как... как у брата! Я тебе все верну.

ЛИДДЕВАЛЬ: Какой вздор ты говоришь! И смотришь при этом на своего «брата» с такой злобой! Ты очень способна к ненависти, Лина, это большой недостаток. Бери с меня пример: я гораздо добрее тебя. *(Целует ей руки)*. Нет, моя любимая, не сердись и перестань заниматься угрызениями совести. Я ведь знаю, ты и в этом занятии находишь наслаждение. Твои угрызения совести меня не волнуют, а вот то, что ты должна варить обед этими крошечными ручками, это в самом деле меня огорчает. Нельзя ли сказать Бернару, что ты получила наследство от двоюродной тетки в Австралии? Нет, этому он не поверит?.. «Даже» он не поверит?.. Ну, ну, не кричи, не буду... Пойди, отдохни, мой ангел. *(Ласково отводит ее к двери, затем садится за письменный стол и звонит в колокольчик)*.

ЛИДДЕВАЛЬ. ПЮТО.

ЛИДДЕВАЛЬ: Здравствуйте. Садитесь... Ну, что?

ПЮТО *(вынимает листок бумаги)*: Письмо, которое вы мне дали, господин барон, написано простыми симпатическими чернилами. Если бумагу нагреть, выступают темно-зеленые знаки *(подносит листок к свече, на листке появляются знаки. Лиддеваль хватается за руку. Пюто улыбается)*. Вам нечего беспокоиться, господин барон. Вероятно, вы должны кому-либо вернуть письмо? Это часто

бывает в нашей практике. Знаки сейчас станут опять невидимыми. Я, конечно, снял копию.

ЛИДДЕВАЛЬ: Что же вы нашли в письме?

ПЮТО (*Подает ему другой листок*): Только группы цифр. В дополнение к симпатическим чернилам, письмо еще зашифровано. Быть может, речь идет о заговоре? Вся Франция говорит о заговорах.

ЛИДДЕВАЛЬ: Это вас не касается.

ПЮТО (*с улыбкой*): Это не только не касается меня, господин барон, но и совершенно меня не интересует. Я служу в черном кабинете сорок лет. Служил при покойном короле Людовике XVI, служил при покойном Робеспьере, служил при покойном императоре, служу и сейчас. Письма всегда были одни и те же, и черный кабинет всегда был один и тот же, и платили мне все всегда очень мало. Правда, при покойном Робеспьере, царство ему небесное, я зарабатывал немного больше, так как было очень много работы: это было хорошее время, господин барон. Теперь я надеюсь на оживление в связи с заговорами. Пока что я вынужден брать и частные заказы. Господин барон предложил мне пятьсот франков, это хорошая плата, но и работа нелегкая, как я сейчас буду иметь честь доложить господину барону... Впрочем, я не отказываюсь и от более скромных заказов, так как очень люблю расшифровывать письма.

ЛИДДЕВАЛЬ (*нетерпеливо*): Вы также очень любите говорить, господин Пюто. Вы мне сказали, что можете разобрать всякий шифр.

ПЮТО: Я сказал: почти всякий. Есть разные системы зашифровки. Есть система решетки, система Юлия Цезаря, система лорда Бэкона, система графа Гронсфельда. Это письмо написано не по решетке. Господин барон видит группы цифр, по три цифры в каждой. Очевидно, автор пользуется каким-то печатным изданием, известным его корреспонденту. Первая цифра, по всей вероятности, означает страницу, вторая порядок строки сверху или снизу, третья порядок буквы в строке слева или справа. Шифр нетрудный, но расшифровка требует немалого времени и длинного

текста. Видите ли, господин барон, мы знаем, какая буква чаще всего встречается в нашем языке, какая следует за ней и т. д. Если зашифрована длинная депеша, то можно установить, какая группа цифр в ней встречается особенно часто; это с большой вероятностью указывает одну из букв шифра. Не буду утомлять господина барона техническими подробностями. Однако это письмо слишком коротко, а кроме того, господин барон дал мне так мало времени: два часа.

ЛИДДЕВАЛЬ (*раздраженно*): Значит, вы ничего не сделали?

ПЮТО: Пока ничего, господин барон. Обращаю однако внимание господина барона на особенность письма. Первая цифра во всех группах либо один, либо два. Очевидно автор пользуется печатным произведением, в котором очень мало страниц. Дело идет, значит, не о книге. Моя первая мысль была, что ключом для шифра послужила какая-либо коротенькая брошюра. Так, например, члены нашей Палаты Депутатов часто выпускают листовками наиболее талантливые из речей, которые они произносят. Но эта первая гипотеза оказалась несостоятельной... Такие листовки всегда печатаются убористым шрифтом, их ведь никто не читает, они печатаются для бессмертия. В них, примерно, бывает строк сорок на странице. Между тем вторая цифра в группе, указывающая порядок строки, во всех группах низка: два... три... пять... Господин барон наверное угадывает мой вывод?

ЛИДДЕВАЛЬ (*с недоумением*): Нет, не угадываю.

ПЮТО: Господин барон еще не имеет навыка. Итак, речь идет о печатном произведении, в котором очень мало страниц, а на каждой странице очень мало строк. Этим признакам не удовлетворяет ни книга, ни брошюра, ни листовка, ни газета. Господин барон все еще не видит?

ЛИДДЕВАЛЬ: Да нет же!

ПЮТО (*радостно*): Этим признакам удовлетворяют ноты, господин барон. Не опера, конечно, а какое-либо коротенькое произведение, где есть музыка и текст. Например, романс, господин барон. Из этого почти безошибочно мож-

но сделать вывод, что зашифровывала письмо женщина. В моей практике, господин барон, зашифровка при помощи нот случалась довольно часто и почти во всех случаях дело шло о даме. У всякой женщины, господин барон, есть какой-либо любимый романс. И всякой женщине кажется, что пользование нотами для шифра это ее собственная, очень оригинальная мысль, о которой никто никогда не догадается. И, наконец, у каждой женщины с каким-нибудь романсом связываются какие-нибудь сентиментальные воспоминания: ей кажется, что если она будет им пользоваться, то это принесет счастье ей или делу. (*Качает головой*). Ах, господин барон, женщины это такой народ! Зачем они лезут в такие дела? И зачем серьезные люди их принимают?

ЛИДДЕВАЛЬ: Ноты? (*В раздумьи*). Да, в этом ничего невозможного нет. Это даже очень вероятно.

ПЮТО: Это почти несомненно, господин барон. Я конечно ни о чем не спрашиваю, но если господин барон лично знает даму, у которой письмо было выкрадено... Я хочу сказать, временно взято для просмотра, то, быть может, господин барон знает и музыкальные вкусы этой дамы? (*Бросает взгляд на пианофорте и на поднос с ликерами*).

ЛИДДЕВАЛЬ (*расхаживает по комнате*): Послушайте... (*Берет с пианофорте ноты. Решительно*). Скорее всего, это ключ!

ПЮТО (*радостно*): "*Plaisir d'amour*"..., слова Флориана, музыка Мартини... Три страницы... Шесть строк текста на странице. Господин барон разрешит мне унести эту вещь? Если ключ верен, расшифровка письма дело пяти минут.

ЛИДДЕВАЛЬ: Пройдите в комнату моего секретаря. Когда будете знать, велите мне доложить. В случае успеха вы получите не пятьсот, а тысячу франков.

ПЮТО: Господин барон чрезвычайно щедр. Но мне и такая королевская плата доставляет меньше удовольствия, чем расшифровка письма. (*С увлечением*). Господин барон не может себе представить, как это приятно! Это в сто раз интереснее шахматных задач! У меня интереснейшее

ремесло, господин барон! Я его не променял бы ни на какое другое.

ЛИДДЕВАЛЬ: Рад за вас. У каждого человека есть свой пункт умопомешательства.

ЛИДДЕВАЛЬ. ПОТОМ ЛИНА.

ЛИДДЕВАЛЬ (*кладет письмо в сумку Лины. Потом выходит и возвращается с Линой*): Так головная боль у тебя прошла, моя милая? Ты голодна? Я освобожусь минут через десять и мы поедем обедать. У меня аппетит как у волка! Что ты скажешь о буйабессе с омаром?

ЛИНА (*оживляясь*): Я обожаю буйабесс с омаром.

ЛИДДЕВАЛЬ: Обожаешь ли ты также трюфли и утку с апельсинами?

ЛИНА: Обожаю! Пить будем шампанское.

ЛИДДЕВАЛЬ: Если хочешь. Но тебе лучше пить поменьше.

ЛИНА: То же самое мне говорил Марсель... А если я по-настоящему живу только выпив бутылку вина?

ЛИДДЕВАЛЬ: Милая, люди, которые по-настоящему живут только выпив бутылку вина, для сокращения называются пьяницами.

ЛИНА: Я этим и кончу... Постой, ты, однако, еще сегодня говорил, что требуешь чтобы женщины пили.

ЛИДДЕВАЛЬ: Я беспокоюсь о твоём здоровье.

ЛИНА: Беспокойся лучше кое о чем другом... Все равно я естественной смертью не умру — и слава Богу!.. Да, да «играть своей головой». Ты шутишь, ты всегда шутишь: это у тебя болезнь. И потом где тебе это понять!

ЛИДДЕВАЛЬ: А Бернар понимает?

ЛИНА: Тоже нет. Мне с ним скучно... Еще скучнее, чем с тобой.

ЛИДДЕВАЛЬ (*с неудовольствием*): Я не знал, что тебе скучно и со мной.

ЛИНА: Со всеми. Когда я не пью.

ЛИДДЕВАЛЬ: Ты не хотела бы меня поцеловать?

ЛИНА: Хотела бы. Каких только вкусов не бывает в природе! *(Целует его и отходит к пианофорте, напевая):*

“L'eau coule encore, elle a changé pourtant”...

Что такое? *(Нервно)*. Где ноты?

ЛИДДЕВАЛЬ: Ноты? Какие ноты?

ЛИНА: Романс, который я пела четверть часа тому назад.

ЛИДДЕВАЛЬ: Не знаю. Почему мне знать? *(Он несколько смущен. Лина смотрит на него в упор)*. Может быть, их убрали?

ЛИНА: Кто убрал?

ЛИДДЕВАЛЬ: Лакей... Постой, да не играла ли ты без нот?

ЛИНА: Нет, я играла по нотам! *(Замечает на стуле свою сумку и поспешно ее раскрывает. Письмо на месте)*.

ЛИДДЕВАЛЬ: Да в чем дело? Почему тебе понадобились ноты? Если они пропали, я пошлю купить в магазин. Теперь вся Франция поет этот романс.

ЛИНА *(звонит в колокольчик. Входит лакей)*: Вы не брали нот, которые были на пианофорте?

ЛАКЕЙ: Нет, сударыня. *(Смотрит на инструмент)*. Они были тут, когда я подавал кофе, сударыня.

ЛИНА: Вы можете идти. *(Лакей уходит. Лина надевает пальто, с ужасом глядя на Лиддевала)*.

ЛИДДЕВАЛЬ *(растерянно)*: В чем дело? В чем дело?

ЛИНА: Как... Как ты...

ЛИДДЕВАЛЬ: Не надевай еще пальто. Я освобожусь только минут через десять, ты простудишься.

ЛИНА: Я уезжаю.

ЛИДДЕВАЛЬ: Куда!

ЛИНА: В Сомюр, к Марселю.

ЛИДДЕВАЛЬ: Лина, да в чем дело?

ЛИНА: Ты знаешь, в чем дело! *(В дверях)*. Я знала, что ты негодяй, но я не думала, что ты такой негодяй! *(Уходит)*.

ЛИДДЕВАЛЬ. ПОТОМ ПЮТО.

ЛИДДЕВАЛЬ (*Ходит по кабинету с очень расстроенным видом. Стук в дверь*). — Войдите. (*Входит Пюто*). Ну, что?

ПЮТО (*с радостной улыбкой*): Догадка господина барона была совершенно правильна. Этот романс и был ключом к письму. Система Юлия Цезаря. Цифрами указана не настоящая буква, а следующая за ней в порядке алфавита. Если цифры указывают, например, на букву Б, то значит, надо читать А. Эта система имеет, правда, некоторые преимущества. Дело в том, что...

ЛИДДЕВАЛЬ (*перебивает его*): Да вы разобрали письмо или нет?

ПЮТО (*обиженно*): Разумеется, господин барон. (*Протягивает ему бумагу. Лиддеваль почти вырывает ее из его рук*).

ЛИДДЕВАЛЬ (*читает*): «Номер пятьдесят четыре. Сомюр двадцать четвертого декабря полночь».

ПЮТО: Для такого письма автор мог бы с гораздо лучшими результатами использовать систему графа Гронсфельда, которая...

ЛИДДЕВАЛЬ (*небрежно кладет письмо в карман*): Письмо оказалось совершенно не интересным. Дело идет о пустяке.

ПЮТО: Мне всегда это говорили, господин барон. Помню, я приносил расшифрованные письма покойному Робеспьеру. Он говорил это с точно такой же интонацией, как господин барон. Впрочем, по существу это совершенно верно. Войны, революции, заговоры, казни, — что тут интересного? Так всегда было, и так всегда будет.

ЛИДДЕВАЛЬ (*еще небрежнее*): На этот раз дело идет об одной замужней даме... Прошу вас никому ничего не рассказывать о письме.

ПЮТО: Это тоже мне говорили все заказчики, господин барон. А министр полиции Фуше еще обычно прибавлял: «Иначе вас могут постигнуть большие неприятности, госпо-

дин Пюто, очень большие неприятности»... Разумеется, я никому никогда ничего ни о чем не говорю. Болтунам место в политике или в поэзии, господин барон, но никак не в черном кабинете. Прежде, в молодости, я еще немного интересовался содержанием писем, теперь меня интересует только шифр. Если мне удастся трудная расшифровка, я позволяю себе обед в хорошем ресторане.

ЛИДДЕВАЛЬ: Вот вам тысяча франков, господин Пюто.

ПЮТО: Мне совестно, господин барон. Ведь все-таки ключ дали вы. Мне, право, совестно.

ЛИДДЕВАЛЬ (*перебивая*): Без угрызений совести теперь на свете не проживешь, господин Пюто. Доброго аппетита.

ПЮТО: Я очень благодарю господина барона. Тройной шифр! Конечно, эта замужняя дама очень боится своего мужа... До свиданья, господин барон.

Уходит. Лиддеваль садится за стол в раздумьи, потом берет в руки карандаш и листок бумаги.

ЗАНАВЕС.

VII.

— Ну, вот, теперь, пожалуй, сделаем антракт, — все так же беззаботно сказал Яценко и залпом допил виски из бокала. Настала та минута неловкого молчания, какая обычно бывает после чтения: никто не хочет говорить первым. — Вероятно, вы очень устали? — Ему было стыдно. Читал он плохо, а главное, ему при чтении в первый раз показалось, что очень нехорош стиль пьесы. «Что-то есть в нем неестественное, точно это перевод с французского. Ох, тяжело писать по-русски об иностранцах. Вероятно, слог второй пьесы будет напоминать перевод с английского. Уж не сказалось ли на мне то, что я так долго состою переводчиком в ОН?»

— Устали? Нисколько! — ответил Пемброк. — Быть может, вы устали?

— Я нет. У меня есть привычка: в Объединенных Нациях мне случается переводить часами. После окончания сессии нам всем, вероятно, надо будет уехать на воды лечить голосовые связки, — шутливо говорил Виктор Николаевич, и тон его показывал, что незачем или не к спеху говорить о пьесе.

— Ах, какая чудная вещь! — сказала Надя. Она была смущена и раздражена третьей картиной. «Вот, значит, как он меня «активизировал»! Не ждала, не ждала! Когда же это я тебе, голубчик, изменяла с банкиром!.. Ну, ладно, это потом, теперь нужно, чтобы Пемброк взял пьесу», — думала она. — Ах, какая чудная вещь! И сколько действия! Какие роли!

— Очень благодарю.

— Я говорю правду! Я не знаю, что я дала бы, чтобы играть Лину... Если ты в самом деле имеешь в виду меня... То есть, если ты для меня предназначаешь эту роль? — говорила она.

— Первые три картины действительно недурны, — сказал Альфред Исаевич без жара. Он очень хвалил в глаза писателей только тогда, когда ничего у них приобретать не собирался. К нему нередко обращались с предложениями авторы-новаторы. В этих случаях он называл книгу или сценарий шедевром и скорбел, что публика оценить этот шедевр не в состоянии. — «Вы не можете себе представить, дорогой мой, — говорил он в таких случаях, — как косны, инертны и невосприимчивы к искусству массы, даже наша американская. В древних Афинах ваша вещь на-верное имела бы огромный успех! Но теперь толпе нужно, чтобы ей все время давали одно и то же, всякий раз с новыми штучками и тем не менее то же самое! Мы стараемся их поднять, но это процесс медленный и затяжной. Между тем вы бросаете толпе новое слово! Через десять-пятнадцать лет она поймет, она дорастет до вас, но не раньше! Вы думаете, мне легко отказываться от такого произведения?» — горестно говорил Альфред Исаевич. Он подобрел на старости лет, не любил огорчать людей, особенно же полусумасшедших, как писатели и актеры. Другие кинематографические магнаты и полумагнаты только пожимали плечами: они с ненужными им людьми церемонились гораздо меньше. Однако Пемброк своей системы не менял и не верил людям, говорившим ему, что автор может и обидеться, услышав о древних Афинах. — «Он еще подумает, что вы над ним издеваетесь». — «Я таких писателей никогда не встречал, — убежденно отвечал Альфред Исаевич, — а кроме того, я и не думал издеваться! Просто так гораздо лучше». И действительно даже новаторы обижались на него редко.

Зато если Пемброк собирался приобрести сценарий, то до заключения договора он говорил с автором равнодушно. Никого не обижал в денежном отношении, но переплачивать не хотел, особенно когда успех бывал не обеспечен. В подобных случаях огорчать человека равнодушным отношением к сценарию было допустимо: автор с огромным избытком вознаграждался чеком и славой. После подписания же договора Альфред Исаевич начинал восхищаться и этими авторами.

Первые три действия «Рыцарей Свободы» понравились Пемброку. Ему показалось, что этот молодой, еще мало известный писатель может быть очень полезен в кинематографе. «Право, он понимает дело. И диалог совсем недурен. Что, если в нем-то и сидит настоящий сценарист, который внесет свежую струю?» — думал, слушая чтение, Альфред Исаевич.

— Значит, вам понравилось? — спросила Надя. Его холодный тон ее смутил: она привыкла к тому, что Пемброк ее засыпал комплиментами.

— Первые три действия недурны, — повторил Пемброк, ничего не желавший прибавлять к своей оценке и взвешивавший каждое слово: так цари, подписывая рескрипты, строго различали: «неизменно к вам благосклонный», «неизменно к вам благосклонный и благодарный» и «неизменно к вам благосклонный и любящий вас»... — Недурны. Эти заговорщики с их знаками, это красочно. Конечно, есть длинноты и другие недостатки, а главное, пока очень мало конфликта... Вы мне позволяете говорить так прямо, Виктор Николаевич?

— Я прошу вас об этом. Мне именно нужно, чтобы вы высказались совершенно откровенно, — ответил Яценко тем неестественным тоном, каким всегда произносят эти слова писатели.

— Как, мало конфликта? — горячо возразила

Надя, уже знавшая это любимое слово кинематографических деятелей. — Очень много конфликта! Скорее даже слишком много конфликта! — говорила она так, как за завтраком говорила Яценко, что салат чудный, но в нем чуть больше уксуса, чем нужно.

— Если я правильно понимаю вашу мысль, Альфред Исаевич, — сказал Яценко, — то конфликт будет. Он будет в четвертой картине. Она самая важная и самая плохая в пьесе.

— Ах, это нехорошо! Конечно, не то, что конфликт будет, а что сцена самая плохая. Конфликт должен начинаться не в четвертой картине, а гораздо раньше. Но подождем четвертой картины. Кроме того, движения пока мало. Мало движения... Главный же недостаток пьесы тот, что публика может не заинтересоваться вашими рыцарями. Представьте себе, например, рядового американца из Чикаго. Какое ему дело до ваших рыцарей свободы? Что ему ваши рыцари свободы!

— Это трагедия всего кинематографического дела, — сказал Яценко. — Книга, даже самая трудная, сравнительно легче найдет три-четыре тысячи читателей, которые нужны, чтобы окупить издание. Но театральная пьеса должна понравиться сотням тысяч людей, а фильм даже миллионам, иначе капиталист теряет свои деньги. Между тем миллионы людей не очень знают толк в искусстве.

— Самое лучшее искусство, однако, то, что нравится и миллионам и элите, — возразил Пемброк. — Главное, чтобы были типы. Возьмем пример. Я не так страшно люблю Диккенса, он был антисемит. Однако его Домби это тип, Уриа Хип это тоже тип. У Гоголя Плюшкин тип, Коробочка тип.

— Я это часто слышал, но думаю, что изображать характеры гораздо труднее, чем изображать «типы». В знак высшей похвалы о писателе говорят: «его образы стали нарицательными именами»! Похвала,

по-моему, не большая. Какой-нибудь Скалозуб или Держиморда или унтер Пришибеев стали «нарицательными», они «типы», но князь Андрей и Наташа Ростова не «типы», и ни один герой Толстого нарицательным не стал: для этого почти всегда нужно огрубление, к которому Толстой был неспособен. Извините, что вспомнил о Толстом по этому поводу. Наше дело маленькое.

— Now, я вовсе не хочу сказать, что у вас люди не живые, — примирительно сказал Пемброк. — Напротив, эта Лина у вас вышла очень живо.

— И какая роль! — воскликнула Надя, — Ах, какая роль!

— Она у вас, милая Надя, может выйти хорошо, однако я возвращаюсь к своему: акцент! — сказал Альфред Исаевич. Он подумал, что Надя, пожалуй, и недостаточно молода для роли Лины. «Но это сказать ей было бы гораздо хуже, чем, например, сказать писателю, что он идиот». — Что я сделаю в Америке с вашим акцентом?

— Да ведь она француженка.

— Sugar plum, вы не хотите, чтобы мы ставили пьесу из французской жизни и чтобы в ней актеры говорили по-английски с иностранным акцентом! Впрочем, эту пьесу надо, повторяю, для начала поставить во Франции. Все-таки французы должны знать про своих рыцарей свободы.

— Не очень. Повторяю, это малозначительный исторический эпизод, который когда-то вызвал много шума, а затем канул в Лету. Скажу еще, что эпизод в Сомюре, с пожаром, с обвалом, с найденными при аресте адресами, изложен мною совершенно точно в историческом отношении.

— Это, скажу вам правду, совершенно не важно. Разве кто-нибудь знает историю? Разве в кинематографе ходят для истории? Но если этот эпизод канул в Лету во Франции, то вы понимае-

те, в какую Лету он канул в Соединенных Штатах! Все-таки, если мы решим ставить пьесу и сговоримся, то мы пока поставим ее здесь. Надя говорит, что она владеет французским языком как парижанка. Но это она говорит.

— Мне это говорили французы! — сказала с возмущением Надя.

— Французы очень любезные люди. Когда вы будете говорить по-английски как Этель Барримор, мы... Мы увидим, что можно сделать. Пока я склонен был бы поставить пьесу во Франции, — сказал Пемброк. «Берет!» — подумали и Надя, и Яценко. Альфред Исаевич поспешил добавить: — Мы говорим так, точно уже все решено. А на самом деле мы слышали только три картины из пяти, а конфликта еще и не видели... Кстати этот ваш банкир... как его?.. напоминает мне одного моего знакомого, с которым я как раз сегодня обедал в Монте-Карло. Это некий Дела-вар, — сказал Пемброк.

— Я его встречал в Париже, — сказал, немного смутившись, Яценко. — Это, по моему, маленький авантюрист, которому очень хочется стать большим, демоническим авантюристом.

— Совершенно верно, — смеясь, подтвердил Альфред Исаевич.

— Давайте читать дальше, — сказала с нетерпением Надя. — Я горю желанием узнать, что случилось с Линой!

— А я горю желанием узнать, что натворили Рыцари Свободы, — сказал Пемброк.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Квартира полковника Бернара в Сомюре. Большая бедно обставленная комната, служащая кабинетом, и гостиной, и спальней. В камине горят дрова. За ширмой двуспальная кровать. На стене большая карта Франции.

Везде книги. Посредине комнаты стол, покрытый красным сукном, тоже с кинжалами и топором. Вокруг него стулья. Два окна выходят на улицу. Они затворены и плотно завешены, но из под штор просвечивает красное пламя пожара.

БЕРНАР, ЛИНА, ДЖОН, ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИКИ, ЕЩЕ РЫЦАРИ СВОБОДЫ.

БЕРНАР: Этот несчастный пожар может сорвать все дело!

ЛИНА (*Подходит к окну и отодвигает штору*): Зарево все усиливается!

ДЖОН: Надо же было, чтобы такой пожар случился в сочельник!

БЕРНАР (*сердито*): Дело не в том, что сегодня сочельник, а в том, что в полночь должно начаться восстание. (*Смотрит на часы*). Через три часа.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*возмущенно*): А половина Рыцарей не явилась на заседание!

ДЖОН: Это из-за пожара.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Пожар не может иметь никакого отношения к заседаниям ордена Рыцарей Свободы. Повестки были разосланы своевременно. Согласно 27-ому параграфу устава, Рыцари, не имеющие возможности явиться на заседание, должны письменно извещать об этом Первого Разведчика не позднее, чем за 24 часа до заседания.

ЛИНА: Ведь это вы сочинили устав. Вы должны были включить в него параграф на случай пожара или землетрясения. (*Нерешительно*). Не отложить ли восстание?

БЕРНАР: Это невозможно. Действия в Бельфоре и в других городах сообразованы с нашими. Генерал Лафайетт, вероятно, уже находится в Бельфоре.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: Возможно, что дело не столько в пожаре, сколько в Сочельнике. Как все помнят, я высказался против устройства восстания в Сочельник. Все здесь присутствующие знакомы с моей политической деятельностью, начавшейся в 1789 году с памятной многим

статьи в нашем местном органе печати. Всем, конечно, известно, что я, старый якобинец, никогда не разделял религиозных предрассудков. Напротив, я вел с ними энергичную борьбу. Тем не менее я не скрывал и не скрываю от себя силы и власти этих пережитков прошлого. Скажу больше, даже из людей нашего образа мысли многие предпочли бы провести этот вечер, если не в церкви, то в кругу семьи.

БЕРНАР: Восстание было назначено на Сочельник именно потому, что все наши враги в это время будут в церкви. Следовательно, захватить стратегические пункты Сомюра легче всего именно сегодня.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Я решительно возражаю против того, чтобы вопрос обсуждался в порядке частной беседы. Согласно параграфу восьмому устава, предлагаю открыть заседание и признать его законным, невзирая на малое количество собравшихся.

БЕРНАР (*мрачно*): Прошу занять места. (*Так как места вокруг стола уже все равно заняты, Рыцари лишь принимают более торжественный вид. Бернар стучит три раза по столу. Все встают*). Первый Разведчик, который час?

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Избранник, гремит набат. Это сигнал пробуждения всех свободных людей. Настала полночь.

БЕРНАР: Первый Разведчик, в котором часу начинает свою тайную работу Орден?

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Избранник, Орден начинает свою тайную работу в полночь.

БЕРНАР: Удостоверься же, что все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

Первый Разведчик совершенно так же, как в первой картине, обходит собравшихся, поднимает пальцы и говорит: «Вера. Надежда». Все с ответным знаком говорят: «Честь. Добродетель». Пламя пожара усиливается.

ДЖОН (*вполголоса Лине, сидящей рядом с ним*): Пожар разрастается. Время уходит.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Избранник, все собравшиеся за сим столом суть Рыцари Свободы.

БЕРНАР: Да благословит же Всевышний наш ночной труд над делом освобождения Франции и всего человечества.

Все садятся.

БЕРНАР: Кому угодно высказаться?

ГОЛОСА: Мне угодно... И мне... Я хотел бы...

БЕРНАР: Ввиду того, что до начала восстания осталось всего три часа, прошу всех по возможности говорить кратко. Рыцарь Второй Разведчик, ты просил слова. Даю тебе его.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: Рыцари! Для детей, внуков и потомков наших будет предметом вечной гордости то, что заря французской и мировой свободы занялась в нашем маленьком Сомюре. Я оставляю — пока — открытым вопрос, должны ли мы выступить именно сегодня или в другой день. Предварительно я хотел бы поставить на обсуждение собравшихся другой вопрос, принципиальный и чрезвычайно важный. Нам было сказано, что мы действуем совместно с Бельфором. Однако, по имеющимся сведениям, там в заговоре принимают преимущественное участие не Рыцари Свободы, а карбонарии. Сам генерал Лафайетт больше карбонарий, чем Рыцарь Свободы. *(Обиженным тоном)*. Лучшее доказательство: он выехал теперь не сюда, в Сомюр, а в Бельфор. Я несколько не отрицаю, что в принципе карбонарии довольно близкая к нам организация. Люди, следившие за моими выступлениями в последние годы, знают мое сочувственное к ней отношение. Тем не менее не должно от себя скрывать существующие между нами и ними немаловажные разногласия. Разрешите мне процитировать речь, сказанную год тому назад, а именно 27 января, видным карбонарием Базаром. *(Вынимает из портфеля толстую тетрадь)*. Я ее выписал дословно и отниму у собрания не более десяти или пятнадцати минут. *(Легкий ропот среди присутствующих)*.

БЕРНАР: Рыцарь Второй Разведчик, в виду остроты момента мы едва ли можем сейчас останавливаться на расхождении в прошлом.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК (*обиженно*): Я не посягаю на прерогативы Рыцаря Избранника, но не думаю, чтобы он имел право зажимать мне рот своей единоличной властью.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*озабоченно*): Согласно параграфу 34-ому устава, вопрос должен быть разрешен голосованием.

БЕРНАР (*С все растущим раздражением*): Ставлю на голосование вопрос: кто за то, чтобы сейчас выслушать соображения Рыцаря Второго Разведчика о речи, сказанной год тому назад карбонарием Базаром, тех прошу поднять руку. (*Нерешительно поднимают руку два рыцаря; один, оглянувшись на других, тотчас ее отдергивает*). Очевидное меньшинство.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Рыцарь Избранник, ты не поставил на голосование обратного вопроса: кто против того, чтобы?..

БЕРНАР (*сердито его перебивает*): Кто против того, чтобы?

ГОЛОС: Простите, я не понял: кто против или кто за?

БЕРНАР: Кто против! (*Почти все поднимают руку*).

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Рыцарь Избранник, устав требует также, чтобы было занесено в протокол, кто воздержался.

БЕРНАР (*кричит*): Кто воздерживается? (*Второй Разведчик с достоинством поднимает руку*). Вопрос решен... Я перехожу к делу. Рыцари, нельзя терять ни минуты...

ГОЛОСА (*сочувственно*): Ни минуты! Ни минуты!

БЕРНАР: Через час мы должны выйти отсюда и отправиться в кавалерийскую школу. Я бывший профессор этой школы, я знаю в ней все входы и выходы. Там нас ждут наши сторонники. Мы обезоружим наших врагов, по возможности без кровопролития, и выпустим прокламацию к народу. Мы объявим, что местная власть в Сомюре свергнута, что восстание в полночь начинается во всей Франции,

что генерал Лафайетт утром двинет войска на Париж. Королевская власть не выдержит натиска и будет сметена порывом народного гнева. Будет немедленно образовано коалиционное Национальное правительство во главе с генералом Лафайеттом...

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: Я прошу слова!

БЕРНАР: Говори!

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: Все мое прошлое свидетельствует о том, как мне всегда была близка идея коалиции. Я мог бы сослаться хотя бы на мою речь от 2 жерминаля Второго года, в которой я призывал к объединению всех патриотов. Эта речь вызвала тридцать лет тому назад против меня ожесточенные нападки, волна которых не улеглась и по сей день. Дело однако не во мне, я не привык отнимать у людей время своей особой. Бывают часы, когда надо не говорить, а действовать! (*Обводит всех победоносным взглядом*). Однако нельзя забывать, что всякая коалиция может строиться либо на началах полного паритета, либо же на началах пропорциональности в связи с влиянием, которое та или иная группа имеет в стране. Если наша коалиция строится на началах паритета, то я желал бы знать, гарантировано ли нашему ордену соответственное число мест в правительстве генерала Лафайетта? Ни один из нас, быть может, не имеет такого авторитета, как он, хотя нам, старым якобинцам, и памятна его роль в первые два года революции. Тем не менее (*подчеркнуто скромно*) и среди нас могут найтись опытные в политике заслуженные люди, готовые в настоящей обстановке принять на свои плечи тяжелое бремя власти. Если же принцип паритета в данном случае отвергается, то я предлагаю избрать комиссию, которая позаботилась бы о том, чтобы в коалиционном правительстве интересы нашего Ордена не были принесены в жертву эгоистическим интересам других группировок...

С улицы раздается страшный, продолжительный, все нарастающий грохот. Луна бросается к окну и раздвигает шторы. За окном как будто все обжато пламенем. Все в волнении толпятся у окна. Только Второй Разведчик ос-

тается на своем месте, видимо недовольный тем, что его речь прервали; да еще Первый Разведчик продолжает невозмутимо писать протокол.

ЛИНА (*нервничая все больше*): Что это?.. Что это?.. Да скажите же!

ГОЛОСА: Это обвал!.. Довольно далеко отсюда!.. Господи, мой сын там!..

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК (*обиженно*): Я просил бы разрешения продолжать мою речь.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК (*строго поглядывая на Бернара, который стоит у окна*): Никто из Рыцарей не имеет права покидать места до закрытия заседания. (*Торжественно, потрясая карандашом, как ипагой*). Быть может, мы погибнем, но погибнем на своем посту!

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК (*продолжая свою речь*): Я видел список лиц, намечаемых в состав коалиционного правительства. Против некоторых из них я заявляю отвод в виду неясности их роли в некоторых событиях последних десятилетий...

ТЕ ЖЕ. ВОСПИТАННИК КАВАЛЕРИЙСКОЙ ШКОЛЫ ЛАВАЛЬ.

ЛАВАЛЬ (*останавливается на пороге на вытяжку, затем поднимает три пальца. Это совсем молодой человек, все по привычке сбивающийся с «Рыцарских» приемов на военные. Повидимому, и те, и другие ему очень нравятся*): Вера. Надежда.

ВСЕ: Честь. Добродетель.

ЛАВАЛЬ: Господин полковник... Рыцарь Избранник, разрешите доложить... Полчаса тому назад вся наша школа, друзья и враги, брошена на борьбу с пожаром. В здании школы никого не осталось. (*Движение*).

БЕРНАР: Лаваль, ваше сообщение чрезвычайно важно. Если весь состав школы брошен на пожар, то положение существенно меняется... Вы совершенно уверены в том, что говорите?

ЛАВАЛЬ: Господин полковник, я совершенно уверен. Мои товарищи, имеющие честь принадлежать к Ордену Рыцарей Свободы, именно поручили мне известить об этом рыцарей. Все они уже там. Чтобы не попасться коменданту, я задержался и вышел с бокового крыльца. Прошу разрешения удалиться.

БЕРНАР: Идите, Лаваль, благодарю вас. (*Лаваль поворачивается по-военному, отдает честь и уходит*). Это судьба! Судьба против нас! (*Молчание. Чувствуется и некоторое облегчение*). Кавалерийская школа была нашей главной надеждой. Если ее нет, мы восстания устроить не можем.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: Я вынужден согласиться с мнением Рыцаря Избранника. Восстание было назначено шифрованным распоряжением главного парижского комитета за номером 54. Однако и по духу, и по букве устава, особенно его 12 и 13 параграфов, группы на местах автономны. Следовательно мы вправе отменить дело в виду непредвиденных чрезвычайных обстоятельств. Рыцарь Избранник, предлагаю решить вопрос голосованием.

БЕРНАР (*почти механически*): Кто за то, чтобы отложить наше выступление, тех прошу поднять руки. (*Все с видимым облегчением поднимают руки*). Выступление отложено единогласно.

ПЕРВЫЙ РАЗВЕДЧИК: О дне восстания все присутствующие будут мною извещены именными повестками.

БЕРНАР: Порядок дня исчерпан. Уже не в качестве Избранника предлагаю тем из присутствующих, которые по своему возрасту способны к физической работе, немедленно отправиться на место пожара и вместе с нашими молодыми товарищами из кавалерийской школы принять участие в борьбе с бедствием, обрушившимся на наш город. Рыцари, напомню вам, что если ближайшая наша задача заключается в восстании, то более общая цель ордена сводится к помощи несчастным и обездоленным. (*Общее одобрение*). Заседание закрывается. (*Встает*): Вера. Надежда.

ВСЕ (*вставая*): Честь. Добродетель.

Все поспешно одеваются и выходят, простившись с хозяевами.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК (*Рыцарю почтенного возраста*): Какие уж мы с вами пожарные! Старость не радость. Не зайдём ли в кофейню? Я не хотел возражать Бернару, так как не люблю много говорить, но я не могу согласиться с его словами о более общей цели ордена. Мы не филантропическое учреждение. Если хотите, я кратко и сжато изложу вам свои мысли об этом вопросе.

РЫЦАРЬ (*уклончиво*): В другой раз я буду чрезвычайно рад. Кофейни верно закрылись. Если восстание отменяется, то я пойду на мессу. (*Испуганно*). Только зайду в церковь за женой.

ВТОРОЙ РАЗВЕДЧИК: У нас сегодня индейка с каштанами. Мы по традиции празднуем Сочельник дома. (*Поспешно*). Всегда в тесном семейном кругу. (*Уходит*).

БЕРНАР. ЛИНА. ДЖОН.

БЕРНАР: Дело свободы чистое и благородное дело. Почему его преследует злой рок?

ЛИНА: Дело не в роке, а в людях.

ДЖОН: Позвольте мне с вами проститься. Я ухожу на пожар.

БЕРНАР (*холодно*): Вы хорошо делаете. Я тоже пойду туда через несколько минут.

ДЖОН: Прощайте, полковник... Я хотел принять участие в восстании и для этого приехал в Сомюр. Но если оно отменяется... виноват, если оно откладывается, то я вернусь в Париж. У меня уже есть билет на корабль в Нью Йорк.

БЕРНАР: Желаю вам счастливого пути. Быть может, мы когда-нибудь опять встретимся.

ДЖОН (*смушенно*): Я тоже надеюсь. (*Прощается с Линой и уходит; незаметно, после некоторого колебания, оставляет на столике бумажник*)

БЕРНАР. ЛИНА.

БЕРНАР: Не понимаю, зачем этот молодой человек

приехал в Сомюр. Иностранцам незачем участвовать во французском восстании.

ЛИНА: Тем более, что восстания не будет.

БЕРНАР: Успех был почти обеспечен. Случай работает на Бурбонов... До свиданья. Я скоро вернусь, мы выпьем вина.

ЛИНА: Да. *(Смущенно)*. — Марсель, у меня совершенно нет денег. Я заплатила прачке, и эти Рождественские начаи... Нет ли у тебя?

БЕРНАР *(тоже смущенно)*: Конечно, конечно... Я тебе отдал всю пенсию за декабрь... Теперь у нас как будто уходит больше, чем уходило еще недавно, и у меня осталось немного *(Роется в кошельке)*. Десять... Пять... Еще два... Вот тебе семнадцать франков. Прости, что не могу сейчас дать больше.

ЛИНА *(со вздохом)*: Это твои карманные деньги... Спасибо.

БЕРНАР: Кажется, ты начала сокращать расходы на стол? И отлично, мне ничего не надо. Не сокращай только твоих расходов на туалеты, ты и так брала у меня очень мало. До свиданья, милая. *(Уходит)*.

ЛИНА. ПОТОМ ДЖОН.

ДЖОН *(робко входит с букетом цветов)*: Лина, простите меня, я забыл у вас бумажник.

ЛИНА *(смеется)*: Я это заметила еще тогда, когда вы так старательно его забывали. *(Берет бумажник со стола)*. Смутно подозреваю, что эти цветы для меня.

ДЖОН *(тоже смеется)*: Вы не ошиблись, я забыл бумажник нарочно: чтобы объяснить мое возвращение.

ЛИНА: Какой он хитрый, это просто изумительно! Вы ждали против нашего дома в цветочном магазине, пока не уйдет мой муж? *(Кладет цветы на окно)*.

ДЖОН: Да. Он, кажется, меня ненавидит?

ЛИНА: Марсель ненавидит всех мужчин от семнадцати до семидесяти лет, которые хоть раз в жизни на меня взглянули. А с вами это иногда случается. Я удивляюсь, как он

меня не ревнует к обоим Разведчикам: им вдвоем не более ста тридцати лет. В наказание за ваши хитрости я просмотрю все, что у вас в бумажнике. (*Смотрит*). Тысяча франков... Пятьсот... Господи, какой вы богатый, Джон! Это билет в Америку?.. Корабль «Кадмус»... На 8-ое января... Так скоро! Как я хотела бы путешествовать! Я иногда бываю в ужасе оттого, что проживу свой век, не побывав в какой-нибудь Индии. Место наверху. Это самое лучшее? Ваши родители вас балуют.

ДЖОН: Они теперь стали на ноги. Прежде нам помогали родственники из Европы.

ЛИНА (*отдает ему бумажник*): Все-таки в другой раз, мой милый, если вам нужно будет иметь предлог, чтобы вернуться к женщине, в которую вы влюблены, то оставляйте что-либо другое, а не бумажник. Правда, сегодня вы ничем не рисковали. (*Смеется*). Рыцари Свободы честнейшие люди на земле. Как вам понравилось сегодняшнее заседание?

ДЖОН (*улыбаясь*): Мне показалось, что кое-что сегодня было не вполне необходимо.

ЛИНА: Именно. Вы нашли правильное выражение: необходимо, но не вполне... Мой милый, вы однако сказали, что пойдете тушить пожар.

ДЖОН (*успокоительно*): О, еще есть время! Этот пожар будет продолжаться долго.

ЛИНА: Сегодня мы не затворяем дверей, люди будут заглядывать до поздней ночи. В Сомюре поздняя ночь это одиннадцать часов вечера. Я не хотела бы, чтобы кто-либо вас здесь застал. В маленьких городках все падки на сплетни. Даже Рыцари Свободы.

ДЖОН: Я должен уйти сейчас?

ЛИНА: Да.

ДЖОН: Пойдите... Я хотел вам сказать... Нет, я только хотел поцеловать вам руку.

ЛИНА: За ваши цветы и за вашу любовь вы имеете право на большее. (*Берет его за голову и целует*).

ДЖОН: Лина!.. Я этот поцелуй буду вспоминать всю дорогу... Всю жизнь!

ЛИНА: «Всю дорогу» это мало. «Всю жизнь» это много. Месяца через три вы влюбитесь в другую женщину... Вспоминайте обо мне ласково. Думайте: «Она была нехорошая, легкомысленная, лживая женщина, но не злая. Она никому не хотела зла, она только себе хотела добра... И даже не добра, а чего-то другого, чего жизнь почти никому не дает»... Впрочем, вы этого не понимаете.

ДЖОН: Лина, я все понимаю! Я знаю, вы меня считаете добрым мальчиком, который ровно ничего не видит. Поверьте, я многое вижу и понимаю, но не говорю, потому что желаю быть джентльменом.

ЛИНА: Что за дикое желание! Зачем быть джентльменом? *(С интересом)*. Что же вы такое видите?

ДЖОН: Будете ли вы мне писать?

ЛИНА: Нет. Я люблю болтать, но писать я не люблю и не умею. А вот вы мне пишите. Не на дом, на почту, а то Марсель был бы способен из ревности прочесть ваше письмо.

ДЖОН: Нет, он джентльмен.

ЛИНА: К сожалению, он тоже джентльмен... Он джентльмен из Плутарха.

ДЖОН: Впрочем, я никогда не позволю себе сказать в письме что-либо такое, чего не мог бы прочесть ваш муж.

ЛИНА: Мой милый Джон, зачем мне такие письма, какие мог бы прочесть мой муж? Впрочем, пишите, все равно. *(Вынимает из букета розу, целует ее и отдает ему)*. Вот вам в награду еще за то, что вы «все видите».

ДЖОН: Лина, если ферма моего отца даст доход, я в будущем году приеду опять во Францию.

ЛИНА: «В будущем году»? Неужели вы думаете, что будет «будущий год»!

ДЖОН: Я даже в этом уверен.

ЛИНА: Я никогда так далеко не заглядываю. Надо жить тем, что есть сегодня, самое большее завтра. Ну что ж, если ферма вашего отца даст доход, приезжайте. Прощайте, мой милый Рыцарь Свободы.

ДЖОН: До свиданья, Лина.

ЛИНА. ПОТОМ ЛИДДЕВАЛЬ.

Лина подходит к окну, смотрит вслед Джону. Неожиданно вытирает слезы. Затем начинает убирать комнату, ставит стулья к стене, прячет в шкаф топорик и штатив с кинжалами, снимает красную скатерть. Замечает на ней с досадой пятно, достает бутылочку и начинает его затирать, спиной к двери. В дверях появляется Лиддеваль. Он окидывает взглядом бедную комнату. Вид у него смущенный. Лина вдруг его замечает и вскрикивает.

ЛИНА: Ты!.. Вы здесь!

ЛИДДЕВАЛЬ: У вас дверь не затворена.

ЛИНА: Что вы тут делаете?

ЛИДДЕВАЛЬ: Тут, это в Сомюре? Я приехал следить за ходом восстания. Говорю правду. Мне не до иронии.

ЛИНА (*Тотчас справившись с собой*): Конечно, нет: восстание не состоится и вы не наживете на бирже денег.

ЛИДДЕВАЛЬ: Лина, теперь не в этом дело... Не сердитесь на меня и не судите меня слишком строго. Я позволил себе прийти сюда для того, чтобы вас предупредить. Четверть часа тому назад обвалилась стена горевшего дома. К несчастью, задавлено человек десять, все, кажется, офицеры и воспитанники кавалерийской школы.

ЛИНА (*с ужасом*): Кто? Кто?

ЛИДДЕВАЛЬ: Не ваш муж. Он жив и здоров, я только что его издали видел... Но... На трупе одного из погибших молодых людей найден весь план вашего восстания, со всеми именами.

ЛИНА: Не может быть!..

ЛИДДЕВАЛЬ: Это невероятно, но это так. Этот двадцатилетний Рыцарь носил в кармане список заговорщиков!

ЛИНА: Не может быть!.. Откуда ты знаешь?

ЛИДДЕВАЛЬ: У меня есть знакомые везде. Список теперь просматривает генерал Жантиль Сэнт-Альфонс. Ему это очень тяжело. Я уверен, что он бросил бы список в огонь, но в это дело уже вмешалась полиция. Не сомнева-

юсь, что Бернар в списке на одном из первых мест. Ему необходимо бежать, бежать не откладывая ни на минуту. Тебе бежать незачем: тебя в списке нет. Этот молодой человек перечислил только офицеров. У вас, конечно, нет денег. Не отрицай: откуда у такого человека, как Бернар, могут быть деньги? Я принес тебе пять тысяч франков, вот они. Пусть Бернар уедет в Англию, в Америку, куда угодно.

ЛИНА: Спрячь свои окровавленные деньги!

ЛИДДЕВАЛЬ (*морщась*): Лина, не говори вздора. Мои деньги не окровавлены: не я затеял это дело и не я его провалил.

ЛИНА: О, нет! Ты только сыграл на понижение. Я уверена, что твои люди уже скачут в Париж на Биржу с сообщением о заговоре. Я это вижу по той радости, которая сквозит у тебя в глазах, в словах.

ЛИДДЕВАЛЬ (*нетерпеливо*): Лина, дело идет о голове твоего мужа. Восстания не было, но была попытка восстания. Твой муж офицер. Офицеры во всяком случае будут наказаны. Вы опоздали с восстанием, демократы всегда и везде опаздывают, — не опоздайте же хоть с бегством... Я кладу деньги вот сюда (*выдвигает ящик стола и кладет туда деньги*). Вероятно, в Бельфоре дело было подготовлено так же хорошо, как у вас в Сомюре. Кажется, Лафайетт выедет туда завтра. Он должен был выехать сегодня. Знаешь, почему он не выехал? 24 декабря это годовщина смерти его жены. Он каждую годовщину ее смерти проводит в ее комнате в Лагранже. Он не мог от этого отказаться и сегодня. Ритуал — великая вещь... И такие люди хотят устраивать восстания! В революции всегда побеждают мерзавцы. Это сказал перед казнью достаточно компетентный человек: Дантон. Вероятно, вы отложили восстание для того, чтобы принять участие в борьбе с пожаром? Это делает честь вашему человеколюбию. Ваша беда в том, что среди вас нет мерзавцев.

ЛИНА: Ты узнал о восстании из того письма?

ЛИДДЕВАЛЬ: Нет. У меня есть разные источники осведомления.

ЛИНА: Поклянись мне, что ты узнал не из того письма!

ЛИДДЕВАЛЬ (*стараясь говорить шутливо*): Клянусь головой генерала Лафайетта!.. Ты все хочешь заниматься угрызениями совести? Не надо, Лина. Ты ни в чем не виновата. Ты хорошая женщина, ты гораздо лучше, чем сама думаешь.

ЛИНА: Ступай вон!

ЛИДДЕВАЛЬ: Я ухожу. Прощай... Советую Бернару не ночевать дома.

Выходит и в дверях сталкивается с Бернаром.

ЛИНА. БЕРНАР. ЛИДДЕВАЛЬ.

ЛИДДЕВАЛЬ: Здравствуйте, полковник.

БЕРНАР (*изумленно*): Здравствуйте. (*Смотрит на него, на Лину*).

ЛИДДЕВАЛЬ: Не удивляйтесь моему посещению. Я изложил его причину вашей супруге и кратко повторю вам. Ваше дело раскрыто, вам необходимо тотчас бежать.

БЕРНАР (*очень мрачно*): Какое дело?

ЛИДДЕВАЛЬ: На трупе одного из погибших при обвале молодых людей найден план вашего восстания и список заговорщиков.

БЕРНАР: Какой план? Какое восстание? Что вы несете?

ЛИДДЕВАЛЬ: Я несу то, что мне сказал мой приятель, генерал Жантиль Сэнт-Альфонс.

БЕРНАР: Почему вы находитесь в Сомюре?

ЛИДДЕВАЛЬ: Полковник, теперь не время для расспросов и для игры в конспирацию. О вашем заговоре давно говорит вся Франция. О нем до сих пор не знало только наше бездарное правительство. Вы должны бежать, не теряя ни минуты. Вашей жены в списке нет, она может оставаться дома.

БЕРНАР: Благодарю вас за заботу о моей жене. По какой причине вы мне оказываете услугу?

ЛИДДЕВАЛЬ (*пожимая плечами*): Это мой долг порядочного человека.

БЕРНАР: Я не имел понятия о том, что вы порядочный человек. Это сенсационная новость.

ЛИНА: Марсель, перестань...

ЛИДДЕВАЛЬ *(со скукой в выражении лица и голоса)*: Полковник, бросьте это. Я вас на дуэль не вызову, да и не могу вызвать: не посылать же вам секундантов в тюрьму... Признаюсь, мне непонятна ваша враждебность. Я хотел оказать вам услугу.

БЕРНАР *(делает шаг к нему)*: Идите с вашей услугой ко всем чертям!

Лина хватается его за руку.

ЛИНА *(Лиддевалю)*: Уходите...

ЛИДДЕВАЛЬ *(в дверях)*: Аптеки еще не закрыты. Пошлите за успокоительными каплями. *(Уходит поспешно, но с достоинством)*.

БЕРНАР. ЛИНА.

ЛИНА: Марсель, что с тобой? Он ведь действительно хотел оказать услугу.

БЕРНАР: Я именно не могу понять, *почему* он хотел оказать услугу! Он прохвост и мошенник!

ЛИНА *(стараясь говорить спокойно)*: Да, да, у вас ведь всегда так. Вы мажете людей одной краской, черной или белой. Если Рыцарь Свободы, то значит благороднейший человек. А если делец, то это разбойник, готовый на шантаж, на воровство, на убийство, на что угодно.

БЕРНАР: Как он оказался в Сомюре?

ЛИНА: Вероятно, у него здесь дела, но...

БЕРНАР *(перебивая ее)*: Какие дела могут быть в крошечном городе у этого международного афериста-миллионера! Да еще на Рождество! И именно в день восстания! Ты не станешь утверждать, что это случайное совпадение.

ЛИНА: Марсель, какое мне дело до того, почему барон Лиддеваль оказался в Сомюре? Это совершенно не интересно. Важно то, *что* он сказал. Неужели найден список!

БЕРНАР: Я знаю только, что при обвале стены погибло много наших людей. Может быть, список и найден.

ЛИНА: Марсель, тогда надо бежать! Тебе надо бежать. В Англию, в Америку!

БЕРНАР (*подозрительно*): Мне бежать? А тебе?

ЛИНА: Я в списке не значусь. Хорошо, бежим вместе! Но сейчас, сию минуту.

БЕРНАР (*несколько мягче*): Бежим на наши семнадцать франков? Бросив здесь всех других? (*Замечает букет*). Откуда эти цветы? Кто их принес?

ЛИНА: Джон.

БЕРНАР: Это неправда! Никаких цветов у Джона не было.

ЛИНА: Клянусь тебе, что это цветы от Джона.

БЕРНАР: Ты клянешься? Странно. Вопрос не так важен, чтобы из-за него клясться.

ЛИНА: То ты орешь как бешеный, то «вопрос не так важен»!

БЕРНАР: По какому праву этот мальчишка приносит тебе цветы?

ЛИНА: Это довольно принято в обществе. Он на днях у нас обедал.

БЕРНАР: В день восстания заговорщики не приносят цветов дамам. Ты лжешь, это цветы от Лиддеваля.

ЛИНА: Если ты говоришь таким тоном, я отвечать не буду... Марсель, подумай сам, Лиддеваль пришел сказать, что твоя жизнь в опасности, мог ли он при этом принести цветы? Неужели тебе не стыдно? Марсель, брось этот вздор. Повторяю, надо бежать! Ты говоришь, что нет денег. Я достану деньги. Я завтра рано утром побегу в ломбард, у меня есть брошка, она стоит две тысячи франков...

БЕРНАР: Две тысячи франков? Ты говорила мне, что заплатила за нее пятьсот!

ЛИНА: Я не хотела тебе говорить... Я боялась... Да, я дала пятьсот, но с тем, чтобы выплачивать ежемесячно остальное. Я и выплачивала из моих сбережений.

БЕРНАР: При нашем годовом бюджете в две тысячи

франков ты выплатила полторы тысячи из сбережений? Лина, что это? Я ничего не понимаю.

ЛИНА: Это невыносимо! Если ты меня подозреваешь, то скажи, в чем именно. *(Плачет)*.

БЕРНАР *(смягчаясь)*: Я ни в чем тебя не подозреваю, это было бы слишком ужасно. Но согласись, что все это странно.

ЛИНА: То есть, ты меня не подозреваешь, но подозреваешь. В чем? В чем? В том, что брошку мне подарил Лиддеваль? И подарив, сказал мне, что она стоит две тысячи франков? Да? Я выплачиваю за брошку по пятьдесят франков в месяц. Ты еще сегодня говорил, что я стала сокращать расходы на стол, да, это правда, я их сокращаю, чтобы выплачивать ювелиру, и еще далеко не все выплачено. Я завтра побегу к нему и попрошу взять ее назад... Мне так хотелось иметь эту брошку, у меня ведь ничего нет, у Люсиль есть три брошки, кольцо и браслет, а у меня ничего. Могла ли я думать, что ты будешь так сердиться!

БЕРНАР: Милая, дорогая, что ты говоришь! Я виноват. Но одно слово. Поклянись мне, что этот Лиддеваль... Что он никогда не ухаживал за тобой?

ЛИНА *(сквозь слезы)*: Ты только что говорил, что странно клясться из-за пустяков: «вопрос не так важен!»

БЕРНАР: Я говорил о Джоне, а не о Лиддевале. Поклянись!

ЛИНА: Клянусь.

БЕРНАР: Моей головой?

ЛИНА *(после нескольких секунд колебания)*: Твоей головой.

БЕРНАР: Я тебе верю. Я знаю, что ты не могла бы так поклясться, особенно теперь.

ЛИНА: Ты меня измучил!.. Но мне твоя жизнь дороже, чем твое отношение ко мне. Брось меня, но беги... Марсель, я все тебе скажу!.. *(Плачет все сильнее)*.

БЕРНАР: Лина, «бросить тебя»! Разве ты не знаешь, что ты для меня все! Ты для меня дороже, чем жизнь,

дороже чем свобода, даже чем честь! Это правда, я ревнив, я помешан! Как могла у меня хоть на минуту, хоть на секунду возникнуть мысль, будто ты, ты можешь говорить неправду! Лина, милая, ради Бога, прости меня! Ложь — и ты, Лина! На меня просто нашло затмение! Нет, нет, я никогда в тебе не сомневался и никогда не усомнюсь! Если тебе не верить, кому же верить? Лина, знай, быть может, меня арестуют, быть может, меня казнят, но я до последнего вздоха буду думать о тебе, мой ангел! Верь мне, я взойду на эшафот с улыбкой, вспоминая тебя, думая только о тебе. Ты останешься для меня воплощением чистоты, самым лучшим из всего, что я видел, самым благородным из всего, что существует на земле!

ЛИНА: Марсель... Нет, не надо... Марсель, я все тебе скажу!

БЕРНАР (*не слушая или не понимая ее слов*). Мне только будет мучительно-больно вспоминать, что я мог связывать с тобой хоть подобие недостойных мыслей! Только подобие, но и это было клеветой, тяжелым, очень тяжелым грехом. Прости меня!

ЛИНА: Ты должен бежать! Да, мы уедем, уедем в Америку, мы начнем новую, совсем новую жизнь, где лжи и обмана не будет!.. Я стану там другой! Подумай, какая это будет радость, какое счастье! Мы уедем на корабле «Кадмус», он отходит 8 января... Я знаю это потому, что на этом корабле уезжает маленький Джон... Деньги будут! Я завтра продам брошку... Завтра Рождество, магазины закрыты, все равно, мы достанем денег в Париже... Мы будем работать в Америке, я буду делать все, втрое больше того, что я делаю здесь! Я буду стирать белье!..

БЕРНАР: Лина, не все еще потеряно. Быть может, Бельфорское восстание удастся. Нельзя терять голову! Первым делом... Что первым делом? Я сам потерял самообладание... Что делать? Да, прежде всего нужно уничтожить некоторые бумаги. Пстой, у меня есть кое-что в том ящике. (*Быстро подходит к столу. Лина тихо вскрикивает, делает два шага вперед и останавливается как вкопанная.*

Бернар выдвигает ящик. Там лежат деньги Лиддевала). — Что это?

На его лице выражается изумление, потом тревога. Он смотрит на Лину и темнеет. Лина, оцепенев, смотрит на него остановившимися глазами.

БЕРНАР: Деньги... Тысячи... Что это?

ЛИНА (*шепчет почти беззвучно*): Деньги.

БЕРНАР: До его прихода у нас не было ничего...

Долгое молчание. Дверь вдруг растворяется настежь. В комнату быстро входит генерал Жантиль Сэнт-Альфонс в сопровождении солдат.

ЛИНА. БЕРНАР. ЖАНТИЛЬ СЭНТ-АЛЬФОНС. СОЛДАТЫ.

ГЕНЕРАЛ (*смущенно кланяясь Лине*): Полковник, вы арестованы.

ЛИНА: Оставьте его! Я во всем виновата!

ГЕНЕРАЛ (*так же*): Сударыня, вас никто ни в чем не обвиняет. Мне жаль, что я вас взволновал. (*Солдатам*). Подождите на лестнице, я вас позову, когда будет нужно. (*Солдаты выходят*). Марсель, мне очень тяжело исполнять эту обязанность в отношении старого друга и боевого товарища. Но я хотел явиться сюда раньше полиции.

БЕРНАР (*холодно*): Генерал, я не ваш друг. Вы служите Бурбонам, а я участник заговора против Бурбонов.

ГЕНЕРАЛ: Дело властей выяснить, участвовали ли вы в заговоре. (*Понижая голос*). Если у вас есть компрометирующие бумаги... (*Показывает на камин и отходит к Лине. Тихо*). Лина, где нельзя производить обыск? (*Замечает на столе деньги*). Если это деньги вашего мужа, я должен отобрать их. Но, может быть, это ваши личные деньги?

ЛИНА (*еле слышно*): Это мои деньги.

ГЕНЕРАЛ: Тогда благоволите их взять.

Лина машинально прячет деньги в ящик, с ужасом глядя на мужа. Он быстро отворачивается, берет из ящика связку бумаг и бросает ее в огонь. Генерал делает вид, что ничего не видит.

ГЕНЕРАЛ: Нет, не в ящик, Лина. Полиция явится сюда через полчаса. Вам пришлось бы объяснять, откуда у вас эти деньги.

БЕРНАР *(поспешно)*: Это наши сбережения за два года.

ГЕНЕРАЛ: Есть ли у вас оружие?

БЕРНАР: Есть. *(Вынимает из другого ящика три пистолета)*.

ГЕНЕРАЛ: Один пистолет? Нет ничего странного в том, что у отставного офицера есть один пистолет. Оставьте его здесь. *(Прячет два пистолета в карманы)*. Больше ничего нет?.. Тогда мы можем идти? *(Подходит к двери и зовет солдат. Солдаты возвращаются)*. Ведите арестованного в комендантуру. Полковник, вы можете проститься с женой.

Бернар, не глядя на Лину, выходит из комнаты. Генерал с изумлением смотрит на него, на Лину, затем, поклонившись, выходит за Бернаром.

ЛИНА *(шопотом)*: Марсель!.. Марсель... *(Стук двери внизу. Она растворяет окно. Комната ярко освещается пламенем пожара. Внизу стук шагов)*. Марсель!.. Марсель!.. *(Хватает с подоконника букет и бросает его вниз)*. Марсель!.. Марсель!..

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Гостиная в небольшом домике в одном из глухих штатов Америки. Обстановка как у средних зажиточных людей. Книги. Их не очень много. Гитара. На одной стене портрет Бернара в черной рамке. На другой — портрет Лафайетта и гравюры с тех же картин, которые висели в гостиной замка Лагранж.

ЛИНА. ДЖОН.

ДЖОН *(с озабоченным видом сидит у стола с кни-*

жечкой в руке. Против него Лина): Сколько всего штатов есть в нашей стране?

ЛИНА: Двадцать четыре.

ДЖОН (*с восторгом*): Совершенно верно! А сколько в нашей стране было президентов?

ЛИНА: В *вашей* стране было четыре президента: Вашингтон, Адамс, Джефферсон, Мадисон и теперь Монро.

ДЖОН (*огорченно*): Лина, Монро на прошлой неделе ушел в отставку. Теперь у нас президент Джон Квинси Адамс.

ЛИНА: Ах, да, я что-то слышала. Но я не виновата: это прошлогодний учебник... Как, опять Адамс?

ДЖОН: Другой. Тот был Джон Адамс, а этот Джон Квинси Адамс.

ЛИНА: Слишком много Адамсов, вы только сбиваете людей с толку. И нельзя называться Квинси! Почему у нас во Франции никто не называется Квинси?

ДЖОН (*мялко*): Не говори «у нас во Франции», говори «у нас в Соединенных Штатах»: ты забываешь, что ты скоро станешь американской гражданкой.

ЛИНА: Срок еще не вышел. (*С надеждой*). А может быть, меня не примут.

ДЖОН (*подсаживается к ней*): Лина, зачем так говорить? Франция прекрасная страна, но Америка гораздо лучше. Во Франции твоему первому мужу отрубили голову. Здесь полная свобода, ты можешь думать, говорить, делать что хочешь. Тебя впустили сюда без паспорта, без малейших препятствий, без малейших затруднений, не спрашивая, кто ты, что ты, зачем ты сюда едешь.

ЛИНА: Нет, меня спросили, не собираюсь ли я убить президента Соединенных Штатов. Я ответила: нет. Чиновник, кажется, не был удивлен: вероятно, и некоторые другие отвечали то же самое. Он еще спросил меня, не намерена ли я открыть дом терпимости. Я тоже ответила: нет.

ДЖОН (*улыбается*): Да, у нас остались эти старые вопросы, но это милый анахронизм, который никому решительно не вредит. Никаких затруднений не было и при

нашей женитьбе. (*Грустно*). Милая моя, может быть, я не должен был жениться на тебе, не имея возможности предложить тебе хороших условий жизни.

ЛИНА (*точно что-то вспоминая*): Разве я когда-нибудь жаловалась?

ДЖОН: Это правда, никогда, ни разу. Но мы скоро будем богаты. Наша меховая торговля идет прекрасно, особенно с тех пор, как ты мне помогаешь. Еще год-другой, и мы сможем переехать в Нью-Йорк. Я уже облюбовал там большой дом с садом на Уолл стрит, мы его купим, у нас будут свои лошади, свои коровы, свои овцы, они будут пастись на Бродвее. Нью-Йорк огромный город, в нем сто пятьдесят тысяч жителей.

ЛИНА: В Париже полтора миллиона жителей.

ДЖОН (*с легким раздражением*): Если ты вернешься в Париж, тебя немедленно посадят в тюрьму. На процессе выяснилось, что и ты была в ордене Рыцарей Свободы. Мы уехали во время!.. Вся Европа находится в рабстве у королей и у царей, Соединенные Штаты — единственная свободная страна в мире, однако вы, европейцы, жалуетесь: вам здесь скучно! В парижской тюрьме тебе было бы еще скучнее! (*Смягчается*). Ну, вот, через четверть часа ты будешь с французом: генерал Лафайетт обещал приехать ровно в три. Воображаю, как ему надоели все эти приемы и торжества в его честь: арки, плакаты, речи, стихи. Такой триумфальной поездки, я думаю, никто не совершал в истории. Конгресс поднес ему в дар имение и двести тысяч долларов, в возмещение денег, которые он пятьдесят лет тому назад потратил на борьбу за независимость. Наша страна бедна, но она не любит оставаться в долгу. Генерал был чрезвычайно смущен, он хотел отказаться от дара, но ему сказали, что американцы обидятся.

ЛИНА (*с горечью*): Он совершает триумфальную поездку, а Марселю и другим отрубили головы, оба Разведчика на каторге. Между тем главой заговора был Лафайетт.

ДЖОН: Королевское правительство не имело против него улик. Он ведь выехал в Бельфор с опозданием в один

день, по дороге узнал о неудаче восстания и вернулся. К тому же, в войнах главнокомандующие обычно остаются живы... Ангел мой, не вспоминай обо всей трагедии, это слишком ужасно. Генерал Лафайетт — самый лучший человек, которого я когда-либо в жизни видел... Я купил в писчебумажном магазине плакат в его честь, пусть стоит на столе. *(Подает Лине картон со стихами)*.

ЛИНА *(читает)*:

Our fathers in glory now sleep
Who gathered with thee to the fight;
But the sons will eternally keep
The tablet of gratitude bright.

We bow not the neck
We bend not the knee;
But our hearts, Lafayette,
We surrender to thee.*)

ДЖОН *(озабоченно)*: Ты еще плохо произносишь «ти-эч». Надо... *(заглядывает в руководство)*. Надо выдвинуть кончик языка, слегка его распластать и втянуть назад. Это очень просто.

ЛИНА: Очень... У нас во Франции нет «ти-эч».

ДЖОН *(благодарно машет рукой)*: Я знаю, я знаю, во Франции все самое лучшее.

ЛИНА: Ты убежден, что все самое лучшее в Соединенных Штатах, правда?

ДЖОН: Да, потому, что это действительно так, какой же тут может быть спор?.. Лина, если тебе скучно, выпишывай из Нью-Йорка книги. Почему ты больше не играешь? Помнишь, ты часто играла это *(Берет гитару и напевает, перебирая струны)*:

“Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie . . .”

*) «Почили в славе наши отцы, бывшие с тобой в боях. Но их сыновья полны вечной к тебе благодарности. Мы не склоняем шеи и колен, но сердца наши принадлежат тебе, Лафайетт»

ЛИНА (*поспешно*): Нет, не это!.. Это нельзя петь с твоим американским акцентом. (*Отбирает у него гитару*).

ДЖОН (*нерешительно*): Лина, я сегодня проходил мимо нашей винной лавки и, представь себе, вижу две бутылки Клико 1811 года. Помнишь, мы его пили у генерала в Лагранже.

ЛИНА: Помню!.. Ах, как тогда было хорошо!

ДЖОН (*обиженно*): Да, но теперь гораздо лучше... Я подумал, не купить ли для сегодняшнего обеда, а? Как ты думаешь?

ЛИНА: Сколько они стоят?

ДЖОН: То-то и есть: по шесть долларов бутылка!

ЛИНА: Шесть долларов! Тридцать франков! В Париже она стоила бы пятнадцать! Я давно говорю, что этот лавочник грабитель!

ДЖОН: Почему грабитель? Ты забываешь фрахт, пошлины, расходы. И ему надо жить. Мы торгуем мехом, а он вином... Я куплю, а? Генералу будет приятен этот знак внимания.

ЛИНА: Неизвестно, останется ли он вообще обедать. Он сказал нам тогда на приеме в мэрии, что он придет «посидеть полчасика со старыми друзьями». Терпеть не могу, когда так принимают приглашения: сказал бы ясно, будет он обедать или нет. Я заказала Цезарю очень скромный обед: будут устрицы, черепаховый суп, форели, жареная ветчина, индейка, спаржа, холодная дичь, сыр, пирог с черникой, пирог с яблоками, больше ничего.

ДЖОН: Маловато. А из напитков мы ему сначала дадим горячего пива с ромом.

ЛИНА: Если ты дашь генералу Лафайетту горячего пива с ромом, он тут же выплеснет тебе его в лицо. Он француз и знает толк в напитках.

ДЖОН: Я пил ваши знаменитые вина, и, по-моему, горячее пиво с ромом гораздо вкуснее... Но тогда тем более необходимо шампанское. (*Нерешительно*). Право, Лина, я пойду и куплю эти две бутылки.

ЛИНА: Нет, не две: не более одной бутылки. Этого достаточно на трех человек. Шесть долларов бутылка! Мне весь обед обошелся в девяносто пять центов. А вот привозные продукты стали очень дороги. Ты не можешь себе представить, сколько в этом месяце ушло на кофе!

ДЖОН (*весело*): У вас, французов, бережливость в крови. Ничего, мы как-нибудь проживем, несмотря на кофе.

ЛИНА (*с неудовольствием*): «Бережливость, бережливость». Я достаточно натерпелась от бедности и больше ее не хочу... Ну, хорошо, купи шампанского — одну бутылку. Когда принесешь, вели Цезарю опустить бутылку на веревке в колодец, чтобы вино остыло. Кстати, скажи ему... Или нет, это не твоего ума дело, пошли Цезаря сюда.

ДЖОН (*еще веселее*): Я гораздо умнее тебя, но допускаю, что в хозяйстве ты понимаешь больше. (*Целует ее*). Сегодня в нашем доме будет генерал Лафайетт! Для храбрости я выпью горячего пива с ромом. Или лучше горячего рома с пивом! Для храбрости и на зло моей жене! Ты не хочешь меня поцеловать?

ЛИНА: Не хочу, но могу. (*Целует его*).

ДЖОН: Ты меня безумно любишь, но ты еще больше любишь любовь. Ты не могла бы жить, если бы в тебя никто не был влюблен.

ЛИНА: Ты так умен, что я просто дрожу от страха в твоём обществе.

ДЖОН: Я не Наполеон, но это и слава Богу. Что бы ты делала с Наполеоном? А я люблю жизнь, люблю женщин, люблю природу, люблю спорт...

ЛИНА: И горячее пиво с ромом.

ДЖОН: И горячий ром с пивом. (*Целует ее еще раз*). Тебе тоже надо пить: когда ты не пьешь, ты делаешься злая. (*Убегает*).

ЛИНА. ЦЕЗАРЬ (негр).

ЛИНА: Цезарь, сегодня не подавай к индейке ни сладкой картошки, ни кукурузы, ни майонеза с ананасным ва-

ренем. Генерал Лафайетт француз и знает толк в еде. Я надеюсь, Цезарь, что ты для этого гостя постарайся.

ЦЕЗАРЬ: Я для него постарюсь. Говорят, он много для нас сделал. Он просил президента Вашингтона уравнять всех негров в правах с белыми. Для него цвет кожи не имеет значения.

ЛИНА: Никакого. Маркиз Лафайетт один из самых знатных людей в мире, но он и пятьдесят лет тому назад, и теперь везде здороваётся с неграми за руку. И мы все, французы, такие.

ЦЕЗАРЬ: Это хорошо. Тут ждет этот... *(Презрительно)*. краснокожий... Он принес мех.

ЛИНА: Мушалатубек? Зови его сюда.

Цезарь выходит. Появляется старый индеец в индейском костюме. У него в руках связка шкур.

ЛИНА. ИНДЕЕЦ.

ЛИНА: Здравствуй, Мушалатубек. Садись. Ну, покажи, что у тебя есть.

Индеец молча раскладывает перед ней шкуры. У нее разбегаются глаза.

ЛИНА: Они недурны. Этот недостаточно темен... Все же, если не очень дорого, я взяла бы... Сколько ты хочешь за все?

ИНДЕЕЦ: Пятьдесят.

ЛИНА *(с притворным негодованием)*: Пятьдесят долларов за этих несчастных соболей! Да ты с ума сошел! Им цена самое большее двадцать!

ИНДЕЕЦ *(равнодушно складывает шкуры)*: Не бери.

ЛИНА: Постой... Куда же торопиться? Я тебе дам тридцать долларов... Да не хочешь ли ты выпить со мной виски? *(Индеец наклоняет голову в знак полной готовности. Лина наливает ему большой стакан. Хочет налить себе, колеблется и не наливает)*. Вот... Твое здоровье, Мушалатубек. *(Он пьет)*. Я тебе дам тридцать долларов и кое-что еще. *(Идет к шкапчику)*.

ИНДЕЕЦ: У твоего чернокожего есть жена. Дай мне тридцать долларов и его жену.

ЛИНА: Я тебе уже несколько раз говорила, что я людьми не торгую. Но вот что я тебе дам. *(Вынимает большую коробку разноцветных стеклянных бус и пересыпает их перед индейцем. У того так же разбегаются глаза, как у нее при виде соболей)*. Клотш? Чудные бусы! Ты можешь вставить их себе в уши или в нос или подарить их твоим женам. Они будут в восторге. *(С любопытством)*. Ты ведь любишь своих жен, Мушалатубек?

ИНДЕЕЦ *(не удастая ее ответом)*: Дай мне еще.

ЛИНА: Виски? Клотш! Вот. *(Наливает ему еще стакан)*. Так как же? Тридцать долларов и эта коробка бус.

ИНДЕЕЦ: Тридцать пять, это и это. *(Показывает на бусы и на бутылку)*.

ЛИНА: Ну, хорошо, я согласна, хотя это страшно дорого.

ИНДЕЕЦ: Торговать лучше с твоим господином. Он гордый, но щедрый. А ты не гордая, но скупая. У тебя сегодня будет белый старик?

ЛИНА *(смеется)*: Да, будет белый старик. Об этом трубит весь город. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?

ИНДЕЕЦ: Я его знаю.

ИНДЕЕЦ. ЛИНА. ЦЕЗАРЬ. ПОТОМ ЛАФАЙЕТТ.

ЦЕЗАРЬ *(Взволнованно)*: Приехал!.. Идет сюда!.. *(Из дверей высовываются чужие люди. Кто-то заглядывает в окно)*. Вот он! *(Открывает настежь дверь и остается на пороге)*.

ЛАФАЙЕТТ *(целует руку Лине)*: Здравствуйте, Лина. Надеюсь, я не опоздал?

ЛИНА: Вы аккуратны, как король... Генерал, позвольте вам представить вашего поклонника, индейского вождя Мушалатубека *(Лафайетт крепко пожимает ему руку. Вполголоса Лафайетту)*. Он вождь какого-то племени... Я забыла, как оно называется. Они последние из каннибалов.

ЛАФАЙЕТТ: Я очень рад.

ИНДЕЕЦ: Я тебя видел пятьдесят снегов тому назад на поле Йорктауна. Мое племя было на стороне американцев.

ЛАФАЙЕТТ: Я очень рад. Мне приятно слышать, что вы любите ваших белых американских братьев.

ИНДЕЕЦ: Мы их терпеть не можем.

ЛАФАЙЕТТ (*озадаченно*): Зачем же вы им помогали?

ИНДЕЕЦ: Мы еще больше ненавидим англичан.

ЛАФАЙЕТТ (*Не знает, что сказать*): Мне очень приятно встретить старого боевого товарища.

ЛИНА (*индейцу*): Белый старик... Белый вождь теперь самый знаменитый вождь на земле.

ИНДЕЕЦ: Сколько у тебя скальпов?

ЛАФАЙЕТТ: О, не очень много.

ИНДЕЕЦ: У меня шестьдесят восемь. Из них тридцать два английских. Я их не надел на пояс. (*Показывает презрительно на Лину*). Она не любит. (*Лине*). Дай мне еще.

ЛИНА: «Клотш». (*Лафайетту*). Это по-ихнему «хорошо». (*Хочет налить Индейцу еще виски. Он мотает отрицательно головой и кладет руку на бутылку*).

ИНДЕЕЦ: Не это. Это я купил.

ЛИНА: Верно... «Клотш»! (*Наливает ему из другой бутылки*). Генерал, вы выпьете?

ЛАФАЙЕТТ: «Клотш».

ЛИНА (*наливает виски и ему*): Я знаю еще их слова. Деньги это «чикамен». Друг это «тилликем»... А когда им нечего сказать, они говорят: «этсин».

ИНДЕЕЦ (*пьет*): Белый старик, да пошлет тебе Маниту скорую смерть.

ЛАФАЙЕТТ (*тоже пьет, не совсем довольный*). Этсин... Собственно, зачем скорую?

ИНДЕЕЦ (*показывает на небо*): Там лучше. Там гораздо лучше.

ЛАФАЙЕТТ: Ты уверен? Что же ты там будешь делать?

ИНДЕЕЦ: То же, что здесь. Но там всего будет больше. Охоты, войны, виски, скальпов.

ЛАФАЙЕТТ: Этсиз.

ЛИНА: Генерал, позвольте вам представить еще другого поклонника. Это наш повар Цезарь.

Лафайетт встает и подает руку негру. В дверях появляется Джон и с неприятным удивлением на это смотрит. Негр тотчас исчезает.

ЛИНА. ИНДЕЕЦ. ЛАФАЙЕТТ. ДЖОН.

ДЖОН: Генерал, я так счастлив видеть вас в моем доме! *(Холодно)*. Здравствуй, Мушалатубек. Ты как сюда попал?

ИНДЕЕЦ *(встает и прячет бутылку и бусы в сумку. Лафайетту)*: Да ниспошлет тебе Маниту много добра. Скальпируй всех твоих врагов и иди туда продолжать свое дело. *(Показывает рукой вверх и, слегка поклонившись Джону, выходит. Лина идет за ним. В дверях)*. — Если ты захочешь продать черную женщину, я куплю.

ЛИНА *(деловито)*: Ты возьмешь ее в жены или ты хочешь ее съесть? Мне очень жаль, но я не могу ее продать. Вот твой чикамен. *(Отсчитывает ему деньги. Он тщательно проверяет ее счет)*. — Тридцать пять. Клотш? *(Он выходит, не удостоивая ее поклоном)*.

ЛИНА. ЛАФАЙЕТТ. ДЖОН.

ЛАФАЙЕТТ *(смеется)*: Братство народов наступит не завтра.

ДЖОН: Братство белых народов уже наступило. Остальное придет в свое время.

ЛИНА: Генерал, я надеюсь, вы пообедаете с нами.

ЛАФАЙЕТТ: Друзья мои, не могу. Сегодня опять обед в мэрии. Я зашел к вам лишь на несколько минут.

ДЖОН *(огорченный)*: Как жаль!

ЛАФАЙЕТТ: Мне самому очень жаль... Мог ли я надеяться, что здесь, в этом далеком штате, встречу вас, мое милое парижское дитя. Я был так изумлен, когда увидел вас на том приеме.

ЛИНА: Вы меня даже, кажется, не узнали?

ЛАФАЙЕТТ: Что вы! Конечно, узнал. Мы не виделись после тех ужасных событий. Вы не можете себе представить, как меня потрясла казнь полковника Бернара и других наших друзей и товарищей. Почти все они и в частности ваш покойный муж вели себя на процессах героями.

ЛИНА: Не будем говорить об этом, генерал.

ЛАФАЙЕТТ (*Поспешно*): Да, не будем... Я знаю, многие обвиняли меня. Не только прохвосты, как барон Лиддеваль...

ЛИНА: Барон Лиддеваль?

ЛАФАЙЕТТ: Был такой богач, темный человек. Этот циник очень хотел с нами связаться. Ему, я думаю, было все равно: стать придворным банкиром Бурбонов или министром финансов в моем кабинете. Он считал себя необыкновенно умным. Между тем в историческом масштабе эти люди необыкновенно глупы. Они ничего ни в чем не понимают, кроме как в темных спекуляциях.

ЛИНА: Где же он теперь, этот... Как вы сказали? Лиддеваль?

ЛАФАЙЕТТ: Он проиграл в карты все, что у него было, и куда-то скрылся... Но меня тогда ругали и порядочные люди. Они находили, что я должен был погибнуть вместе с другими. (*Говорит горячо, — чувствуется, что это его мучит*). Я спасся: правительство не имело против меня улик и не хотело возбуждать общественное мнение Соединенных Штатов, где меня ценят выше моих заслуг... Неужели эти люди вправду думали, что я боялся! (*Очень недолгое молчание*). Нет, я могу не опасаться обвинения в трусости. Но жизнь политического деятеля принадлежит не ему: несмотря на неудачи и поражения, он обязан жить для своего дела.

ЛИНА: Я вас ни в чем не обвиняла, генерал. Я сама слишком во многом виновата, чтобы иметь право обвинять других, а такого человека, как вы, всего менее.

ЛАФАЙЕТТ: Вы виноваты? Не знаю, что вы хотите сказать?

ДЖОН: Генерал, она ни в чем не виновата! После

ареста полковника Лина два месяца лежала в горячке. Но зачем теперь говорить об этом ужасном прошлом? Генерал, вы оказали нашему дому честь... Такую честь, что... Извините меня, я не умею говорить. Нам так досадно, что вы не можете пообедать с нами! Тогда позвольте выпить шампанского за ваше здоровье. Я принесу вино. (*Выходит*).

ЛИНА. ЛАФАЙЕТТ.

Недолгое молчание.

ЛАФАЙЕТТ: Вы уехали в Америку тотчас после гибели Бернара?

ЛИНА (*С откровенностью, неожиданной для нее самой*): Да... Я была сама не своя... Я хотела убить короля... Хотела убить еще одного человека (*Лафайетт удивленно на нее смотрит*). Хотела покончить с собой. Но я ничего этого не сделала. Мне суждено всю жизнь *хотеть* необыкновенных вещей... Я и за Бернара вышла потому, что он показался мне необыкновенным человеком. И в заговор я пошла тоже из за этого. Не сердитесь, я вам сочувствовала, но подумайте сами, какое мне, девчонке, было дело до государственного строя Франции!.. А уехала я в Америку на деньги того человека, которого собиралась убить!.. В жизни все гораздо менее красиво, чем в литературе... Чем в плохой литературе.

ЛАФАЙЕТТ: И в Америке вы полюбили Джона?

ЛИНА: Он меня полюбил. Я не выношу одиночества... Впрочем, я его тоже люблю. Он прекрасный человек. Или, вернее, человек со многими прекрасными чертами. Вполне хороших людей ведь нет. Вполне дурные есть, но их мало.

ЛАФАЙЕТТ (*улыбаясь*): Это не очень новая мысль.

ЛИНА: Но я пришла к ней своим горьким опытом.

ЛАФАЙЕТТ: Вы живете с ним счастливо?

ЛИНА: Да. Торгуем с индейцами. Пользуемся их невежеством. Это никому не вредит, а нам с Джоном полезно. Я сегодня купила за тридцать пять долларов шкуры, которые стоят двести. Но если б индейцы получали за мех

настоящую цену, они совершенно спились бы, все пошло бы на плохой спирт. Так пусть уж лучше деньги остаются у нас. Когда я выторговываю у них несколько долларов, я знаю, что сделала доброе дело: пьянства будет меньше. *(Задумывается на несколько секунд)*. Нет, я торгуюсь с ними не только для этого. Мне хочется возможно скорее накопить денег и переехать в большой город... Я стараюсь платить индейцам бусами: их на виски обменять нельзя, а удовольствия у них от бус много. Что ж, у них одни бусы, у меня другие, у вас, генерал, третьи: историческая слава.

ЛАФАЙЕТТ: Да вы философ, моя милая Лина.

ЛИНА: Не улыбайтесь, какой я философ! Но я стараюсь жить своим умом, учиться у людей, учиться у жизни. Я теперь лучше, чем была. Я меньше пью и меньше лгу... Иногда я думаю целые ночи напролет. О многом. Думаю и о Рыцарях Свободы. *(Улыбается)*. О вас. Часто мне кажется, что вы во всем правы.

ЛАФАЙЕТТ: В чем я прав?

ЛИНА: В вашем понимании жизни. А иногда мне кажется, что прав тот старый Индеец.

ЛИНА. ЛАФАЙЕТТ. ДЖОН.

ДЖОН *(входит с подносом; на подносе бутылка шампанского и три бокала)*: Генерал, я так рад, так счастлив... Это Клико 1811 года. Вы помните?..

ЛАФАЙЕТТ *(с недоумением)*: Помню что? Это очень хороший год шампанского.

ДЖОН: Мы пили Клико 1811 года в тот день, когда обедали у вас в замке Лагранж. И Лина, и я были тогда в первый раз на заседании ордена Рыцарей Свободы! Генерал, я предлагаю тост в память Рыцарей, в память ордена!

ЛАФАЙЕТТ: Да, в память ордена. *(Лицо его становится взволнованным и серьезным. Они пьют)*. В память Рыцарей... Многие из них погибли. Генерал Бертон, наш милый Марсель Бернар, еще другие были казнены. Доктор

Каффе перерезал себе вены накануне эшафота. Наш бедный Первый Разведчик недавно умер в тюрьме. Все вели себя героями, все или почти все. Рыцарей Свободы было много, очень много, а предатель нашелся только один... Друзья мои, я понимаю, у вас остались о многом тяжелые мысли. После провала дела враги утверждали, что мы были болтунами, что мы умели только говорить, что мы не умели действовать, что поэтому дело окончилось разгромом, победой деспотов и угнетателей. *(Встает и в волнении ходит по комнате)*. Но разве дело кончилось? Разве деспоты победили? Они восторжествовали на десять, на пятнадцать, пусть на двадцать лет, — потом они будут сметены. Они побеждены, потому что их идея мертва и ничтожна. Мы победили, потому что наша идея вечна: она отвечает самым святым, самым насущным, самым благородным требованиям человеческой природы. Вне этого нет ничего, кроме философии вашего людоеда-индейца. И то, чего совсем своим умом не понял Наполеон, то поняли безвестные, простые, быть может, порою и смешные люди, так смело назвавшие себя Рыцарями Свободы. Нет, это больше не смешно, это омыто кровью мучеников! Нет, не был смешон и наш ритуал с его простыми, прекрасными словами: «Вера. Надежда. Честь. Добродетель»! *(Джон в восторге поднимает три пальца)*. Лина, Джон, на одном из банкетов во время моей поездки по вашей прекрасной стране кто-то произнес слово «Лафайеттизм». Я принимаю это слово как высшую честь, но с тем, чтобы в него вкладывали только один, очень прямой и очень простой смысл: любовь к свободе, борьба за свободу, жизнь для свободы. Пусть она проигрывает одну битву за другой, — последняя битва будет выиграна! Рыцари Свободы погибли, — да здравствуют Рыцари Свободы! *(Пьет)*.

ДЖОН: Генерал!.. Генерал, как чудно вы говорили! Я так счастлив! Я прибью дощечку к этому креслу, на котором вы сидели! Вы великий человек, генерал.

ЛИНА *(Она улыбается, но тоже взволнована)*: Вы — Великий Избранник.

ЛАФАЙЕТТ (*смущенно смотрит на часы*): Этсин... «Великий Избранник» должен вас покинуть, друзья мои.

ДЖОН: Генерал, посидите с нами еще хоть десять минут! Умоляю вас!

ЛИНА: Нет, я не умоляю. После того, что вы сказали, после того *как* вы это сказали, я не хотела бы говорить о погоде. Мы приедем проститься с вами в Нью-Йорк.

ЛАФАЙЕТТ: Я был счастлив, что повидал вас, друзья мои. Вы очень милы. (*Смотрит на Лину*). Помните, что вы очень милы.

Выходят. Сцена остается пустой с минуту. Затем Лина и Джон возвращаются.

ДЖОН: Он очарователен! Я никогда в жизни не видел столь великого человека!

ЛИНА: Великий Избранник.

ДЖОН: Лина, даю тебе слово, что мы в этой глуши останемся не больше года! Через год у нас будет тысяч пятьдесят долларов, это независимость, больше нам ничего не нужно. Мы переедем в Нью-Йорк.

ЛИНА: И ты обессмертишь там свое имя, как ты когда-то мне говорил в замке Лагранж.

ДЖОН: Я был тогда очень молод, замок Лафайетта подействовал на мое воображение. Но я буду работать, я сделаю что могу.

ЛИНА: Ну, что ж, отлично. (*Подходит к двери. Зовет*): Цезарь!.. Ты можешь дать к индейке сладкую картошку, кукурузу и ананасное варенье... Горячего пива с ромом больше не давай.

ДЖОН (*обиженно*): Я выпил всего один стакан, правда большой. Если я пьян, то не от этого. И ты тоже иногда много пьешь.

ЛИНА: Меньше, чем при Бернаре.

ДЖОН: Опять Бернар! Лина, твой первый муж был герой, но зачем же так много говорить о нем, да еще в моем присутствии? Я не герой, но это потому, что в Америке теперь нечего делать героям. Поверь мне, если б я жил в

пору нашей борьбы за независимость, я вел бы себя не хуже Бернара, а может быть, боролся бы и успешнее. Этот человек довел тебя до горячки и чуть не довел до эшафота. А я, простой, не сложный американец, как-то наладил для тебя жизнь... Но ты все мечтаешь о необыкновенных вещах. Ты родилась в один день с Наполеоном.

ЛИНА: И торгую мехом.

ДЖОН: И ничего плохого тут нет. Если б ты только не старалась очаровать всякого мужчину! Ты сегодня старалась очаровать Лафайетта. Скажи, ты никогда не пробовала очаровать Мушалатубека?

ЛИНА (*смеется*): Ты глуп.

ДЖОН (*обнимает ее*): Не думаю, не думаю. Но, во всяком случае, в отличие от Лафайетта и Мушалатубека я люблю тебя... А ты меня еще любишь?

ЛИНА: Да, да. Отстань.

ДЖОН: Так же, как раньше?

ЛИНА (*опять точно что-то вспоминая*): В десять раз больше. В сто раз больше. В тысячу раз больше.

IX.

— Совсем недурно! — сказал Альфред Исаевич менее равнодушно, чем полагалось бы по его системе. — Я вас поздравляю, совсем недурно!

Как на всех маловосприимчивых к искусству людей, на него прежде всего и больше всего действовал сюжет художественного произведения. Четвертая картина пьесы очень взволновала Пемброка. Ему было жаль рыцарей свободы. Выросло еще и его уважение к автору. «Вот я никогда ничего про этот заговор и не слышал, а он все это изучил и знает... И диалог живой, свежая струя... Очень культурный человек, настоящий русский интеллигент!» — думал Альфред Исаевич. Когда Лина бросила в окно цветы, Пемброк представил себе в этой сцене Ингрид Бергман и решил приобрести права. «Надо только ему сказать, что в этой сцене, когда Бертрана уводят, он должен за окном спеть «Марсельезу»! Будет чудная сцена!»

Пятая картина понравилась ему гораздо меньше. В ней были длинноты, она затягивала действие. «Если будем крутить фильм, это мы переделаем»... Теперь он уже обсуждал практическую сторону дела. «Пьеса будет стоять в долларах гроши, — думал он. — А если она будет иметь успех, то сделаем фильм. Но отчего бы ему не написать для меня современного сценария? И отчего бы ему вообще не поступить к нам на службу? Очень культурный человек».

Когда Яценко начал складывать листы, Пемброк вернулся к своей технике покупки сценариев.

— Я все же остаюсь при своем мнении: конфликта пока мало, — сказал он.

— Как? И четвертая картина это тоже не конфликт? — воскликнула Надя.

— Если его п о к а мало, то больше ведь не будет: я прочел вам всю пьесу, — с приятной улыбкой сказал Виктор Николаевич.

— Возможны однако и переделки. В таком виде пьеса может и не иметь успеха.

— Значит, вы не склонны ее поставить?

— Я этого не говорю. Я имею в виду ваш собственный интерес... Вы согласились бы на опцион, скажем, на два месяца?

— Это чтобы Виктор был связан, а вы нет? — сердито спросила Надя. Альфред Исаевич примирительно улыбнулся.

— Какая она горячая!... Повторяю, пьеса очень интересна. Но у нее есть большие недостатки. О конфликте я уже сказал. Затем Лафайетт появляется только в трех картинах и не появляется в самой главной. Его роль, согласитесь, не очень благодарная и уж совсем без конфликта. Он у вас просто хороший старик.

— Просто хороший старик! — с негодованием повторила Надя. — У него отличная роль! Он в пьесе как живой!

— Я живого Лафайетта не знал. Но его роль, конечно, надо развить. Нельзя ли было бы сделать так, чтобы он тоже приехал в Сомюр?

— Этого никак нельзя сделать, потому что он в Сомюр не приезжал, — сказал Яценко.

— Какое это может иметь значение! Ведь вы написали не исторический трактат. А самое лучшее было бы, конечно, чтобы он и сам был влюблен в эту Лину, а?

— Помилуйте, Альфред Исаевич, что вы говорите! — сказала возмущенно Надя.

— Что же тут такого? Ему тогда было лет семьдесят?

— Как вам теперь, Альфред Исаевич.

— Увы, как мне теперь, honey, — благодушно согласился Пемброк. — Но у такого Лафайетта могло быть больше темперамента, чем у старого еврея-продюсера. Это сразу создало бы отличный конфликт. Не сердитесь, дорогой Виктор Николаевич. Вы не должны скрывать от себя, что, при всем вашем таланте, вы еще новый человек и в театре, и в кинематографе. Пусть не влюбляется! Но вы готовы продать и фильмовые права на пьесу?

— Отчего же нет?

Пемброк задумался.

— Знаете что? Условимся так. Я месяца через два собираюсь поехать в Нью-Йорк. Там я выясню вопрос, можно ли сделать фильм из вашей пьесы. Если будет признано, что это возможно, и, разумеется, если мы тогда сговоримся об условиях, то мы сделаем фильм. Можно будет его крутить в таком милом, старомодном стиле: все маленькое, маленькое и архаическое. Знаете, когда на экране показывают аэроплан, какой он был сорок лет тому назад, или допотопный автомобиль или поезд, в зале всегда хохот! Это всегда имеет огромный успех. Но пока до фильма еще далеко. Пока можно будет поставить пьесу во Франции, в театре, это небольшое дело, такой риск я могу взять на себя... Надо будет даже сделать кинематографический декупаж по вашей пьесе. Я всегда все лучше вижу по декупажу.

— Я никогда декупажей не писал и даже не совсем себе представляю, что это такое. Но я мог бы попробовать, — нерешительно сказал Яценко.

Альфред Исаевич поднял глаза к потолку.

— Он хочет делать декупаж! Он умеет делать декупаж!.. Я работаю в кинематографе тридцать лет, и не только не умею делать декупаж, но я еще в жизни не видел автора, который умел бы делать декупаж. Сам Хемингуэй не мог бы делать декупаж!

— Я никоим образом не могу согласиться на переделки.

— Зачем же сразу обижаться? Вот так они всегда, писатели! — жалобно обратился Альфред Исаевич к Наде. — Сначала все они говорят, что они нисколько не обидчивы, и просят высказываться совершенно откровенно, а затем, если у них специалист экрана хочет переставить одну запятую, они поднимают скандал!

— Против запятых я возражать не буду, но сколько-нибудь значительные переделки для меня неприемлемы.

— Если мы сговоримся о фильме, то вы будете работать совместно с декупажистом. Пока будем говорить о пьесе. Ведь вы же хотите, чтобы Надя сыграла Лину? Вам лично все равно, поставлю ли я вашу пьесу или нет, я вижу, — дипломатически сказал Пемброк, — но другой продюсер может Надю не взять. Со всем тем, я не настаиваю.

— Хорошо, значит вы берете пьесу, Альфред Исаевич? — вмешалась Надя, мучительно боявшаяся, что дело может расстроиться.

— Я вам сказал, что я хотел бы получить опцион для кинематографа. И чтобы показать вам «серьезность моих намерений», как говорят в брачных объявлениях, я был бы готов заплатить небольшую сумму при получении опциона.

— При этом я предполагаю, что мы в одном заранее согласны: роль Лины будет играть Надя? — спросил Яценко. — Это мое неперемнное условие.

Альфред Исаевич вздохнул.

— В пьесе — да, но не в фильме. Look, я верю в ее талант. Скажу вам обоим правду. Пьеса это для меня вообще незначительное дело, но в фильме успех на три четверти зависит от vedetty. Если главную женскую роль играет красавица и знаменитость, то успех почти обеспечен даже при очень среднем сце-

нарии. Вы, дорогая, красавица, но вы еще не знаменитость... Можно это сказать, или вы тоже обидитесь?

— Нет, я не обижусь, милый Альфред Исаевич.

— Ну, вот, теперь «милый Альфред Исаевич», а только что у вас был такой вид, что я боялся, что вы мне выцарапаете глаза. В кинематографе риск всегда большой, при самом лучшем сценарии. Не скрою, что мне придется вложить немало своих собственных денег. Под Кэтрин Хепборн любой банк мне дал бы любой аванс.

— А меня, значит, еще нельзя заложить в банке?

— Еще нельзя, — подтвердил Пемброк. — Я постараюсь достать хорошего Бертрана...

— Бернара.

— Бернара, виноват. Может быть, под хорошего Бернара банк что-нибудь и даст. Дистрибьютеры у меня обеспечены. Но о фильме я пока говорю только теоретически. И не надейтесь, что я вам заплачу миллионы.

— А мы именно надеялись, Альфред Исаевич.

— Напрасно, милая. Такой фильм будет стоить очень дорого, даже если крутить во Франции. Студия обойдется миллионов в двенадцать, техническая экипа миллионов в шесть, пленка и лаборатория миллиона в четыре, страховка — считайте столько же, если не больше. А статисты? Подумайте, сколько статистов нужно для вашей пьесы! Где я возьму дешевых рыцарей свободы! Все рыцари свободы состоят в юнионе и делают с нами что хотят. У них там два разряда: простые *figurants* и *figurants intelligents*, это те, которые произносят одно или два слова. За это они берут по две тысячи в день. Еще слава Богу, что в вашем сценарии никто не плавает!

— Не плавает?

— Если нужны статисты, умеющие плавать, *les figurants à mouiller*, то это просто разорение!.. А железная дорога? А костюмы? А налог? А *frais de*

régie? Мне общие расходы влетели бы миллионов в пятнадцать! Что же остается для артистов?

— И для автора, — вставила Надя.

— Авторы во Франции самый маленький расход. Сколько вы хотите за опцион, Виктор Николаевич?

— Он хочет много, но он не умеет торговаться. Я тоже не умею. Мы оба полагаемся на вас, — сказала Надя. — Я знаю, что вы ни его, ни меня не обидите. Вы друг, вы русский человек, вам известно, что я хочу уехать в Америку и что денег у меня немного.

— Look, какая она умная, Виктор Николаевич! — сказал Пемброк. — Всякая другая артистка решила бы, что продюсеру не надо говорить, что у нее мало денег: с продюсерами надо разговаривать так, как будто у нее на текущем счету миллион долларов. А эта умница Надя знает, как ко мне подойти. Она знает, что я не только продюсер, но и старый русский интеллигент. That's right, я действительно вас обоих не обижу. Поверьте мне на слово: опцион, если не надолго, обычно берется бесплатно. Много, если дадут сто тысяч франков. А я вам дам, Виктор Николаевич, при заключении опциона, двести тысяч. Если мы решим крутить фильм, то тогда договоримся об окончательных условиях. А если нет, то сговариваться будет не о чем: авторский гонорар от постановки пьесы в каком-нибудь французском театре, не покроет, вероятно, и двухсот тысяч франков.

— Это неизвестно, — сказала Надя. — Но мы хотели бы знать, во-первых, какие условия будут, если вы сделаете фильм.

— Она практичная. Ну, что ж, вы имете право представлять вашего жениха.

— Я его и представляю, он совсем не практичный.

— Еще раз, дети мои, — сказал Альфред Исаевич («Мы уже его дети», — подумал Яценко, впрочем благодушно), — не поймите моих слов непра-

вильно. Я в кинематографе решительно ничего не обещаю. Исторические фильмы теперь не в моде.

— Мы понимаем, но все-таки. Если вы приобретете фильмовые права, сколько вы ему заплатите?

— Я ему доплачу еще восемьсот тысяч франков! — сказал Пемброк с таким видом, точно бросался в воду с целью самоубийства. — Еще восемьсот тысяч франков! Следовательно, вместе с опционом, миллион.

— Альфред Исаевич, но ведь это только две тысячи долларов, — сказала Надя.

— Милая, вы пока не в Америке, а во Франции. Во Франции миллион франков это миллион франков. Спросите кого угодно в Париже, заплатит ли кто-нибудь миллион франков за сценарий, — извините меня, это так — за сценарий очень талантливого, но еще неизвестного автора. Я могу за пятьсот тысяч купить любой роман Мопассана или Зола! Да, Эмиля Золя! — почему-то с угрозой в голосе повторил Пемброк. — Вы, может быть, слышали, что Хемингуэй или Стейнбек получают за их романы в Холливуде по двести тысяч долларов? Но вы их спросите, сколько они там получали в начале своей карьеры!.. Вот, переходите к нам, Виктор Николаевич, займитесь кинематографом по-настоящему, изучите его, станьте кинематографическим человеком, тогда вы будете хорошо зарабатывать, даю вам слово Пемброка! — Он вопросительно смотрел на Яценко. — Ну, хорошо, это было «во-первых», а что «во-вторых»?

— Во-вторых, это то, что, как это вам ни неприятно, на свете существую еще и я. Сколько вы заплатите мне?

— Милая, я вам роли Лины в фильме не дам. Я не могу рисковать сотнями тысяч долларов, ставя фильм без ведетты. Но я вам обещаю, что в пьесе вы будете играть Лину. Если же вы в пьесе будете иметь большой успех и если вы действительно будете гово-

рить по-английски как американка, то... То мы увидим.

— А мой аванс?

— Я думал, что у вас общий карман, sugar plum. Ну, хорошо, не плачьте, я вам дам под пьесу аванс в сто тысяч, только потому, что вы со мной разговариваете не как с акулой капитализма, а как со своим братом. Хорошо? Виктор Николаевич, дайте мне вашу рукопись, я ее увезу в Париж. И не говорите, что это ваш единственный экземпляр! Все авторы почему-то клянутся, что отдадут свой единственный экземпляр и что, кроме того, им необходимо получить ответ не позже четверга. Это не ваш единственный экземпляр!

— Я и не клянусь. У меня даже есть три копии.

— Значит, он еще не совсем настоящий автор. Но он скоро им будет. Сознаться, Виктор Николаевич, что вы уже пишете второй сценарий... Виноват, вторую пьесу.

— Действительно пишу. Но она вам не подойдет.

— Почему?

— Почему?.. Ну, об этом сегодня говорить поздно. Вы верно уже достаточно утомлены первой пьесой.

— Вторая тоже историческая?

— Нет, современная.

— А, это очень интересно. Я хотел бы с ней ознакомиться. Правда, сейчас действительно поздно-вато, но в Париже мы должны с вами поговорить и о второй пьесе, и о кинематографе вообще. Я к вам приду в Разъединенные Нации.

— Приходите. Вместе там позавтракаем.

— Непременно. Вас там легко найти? Там ведь работают тысячи людей... Что, скажите, будет война или нет?

— Этого не знаю не только я, этого не знает и президент Труман.

— А знает только дядя Джо? Я тоже так думаю. Вдруг нам всем осталось жить три месяца, а мы го-

ворим о пьесах и фильмах! А может быть, мы кончим, как этот ваш полковник. — Альфред Исаевич почему-то не влюбил полковника Бернара; теперь мысленно называл его Сен-Бернаром. — Так вы в принципе не прочь работать для кинематографа?

— В принципе не прочь.

— That's right. Ох, эти авторы, они, Наденька, еще хуже вас, актеров! А казалось бы, что может быть хуже вас, а? Выпьем, дети мои, еще портвейну за вашу будущую славу!

— That's right, — сказала Надя. Она была в восторге.

Х.

— Вы честный человек, господин Норфольк, но работать с вами очень трудно, — сказал грубым тоном ювелир.

— Почему, если смею спросить?

— Прежде всего вы слишком много говорите.

— Этот недостаток я за собой признаю. Что прикажете, у меня в жизни остались только два удовольствия: пить и болтать. И еще, разумеется, делать добро людям. Продолжайте со мной работать, и я обещаю, что буду с вами нем, как рыба.

— Если б еще вы говорили как приличествует деловому человеку! Но у вас очень злой язык, вы всех ругаете.

— Вовсе не всех. Многих, а не всех. Слышали ли вы, например, чтобы я ругал Ганди?

— Вот видите, что вы болтун. При чем тут Ганди? Я ювелир, вы комиссионер по продаже драгоценностей, так говорите о драгоценностях, а не о Ганди. Вы продаете очень мало, а болтаете всякий раз два часа. Я вам назвал крайнюю цену брошки.

— А я вам сказал, что по этой цене такую брошку продать нельзя. Уступите еще немного.

— Больше я ни одного сантима не уступлю! — сказал ювелир. Дверь отворилась. В магазин вошла молодая красивая дама в черном костюме. Ювелир профессиональным взглядом тотчас признал в ней не

покупательницу, а продавщицу. Однако продавщицы на Ривьере часто бывали выгоднее покупателей.

— Чем могу служить, сударыня?

— У меня к вам просьба. Не можете ли вы оценить эту вещь? — сказала дама и сняла с шеи ожерелье. Она говорила по-французски хорошо, но с легким, не слишком неприятным акцентом. «Полька или русская? — спросил себя Норфольк. — Я ее видел в Казино. Играла и проигрывала, но очень скромно». Ювелир с неудовольствием на него оглянулся. Старик сделал вид, будто рассматривает часы под стеклом.

Ожерелье было из десяти больших бриллиантов. Ювелир внимательно их осмотрел, подошел к окну, затем вернулся и достал лупу.

— Вы желаете, сударыня, чтобы я произвел настоящую экспертизу? С целью продажи?

— Я еще не знаю, продам ли я их, — поспешно сказала дама. — Пока я хотела бы узнать приблизительно, сколько можно получить за это ожерелье.

— Я понимаю, — сказал ювелир. Так часто говорили клиентки, проигравшие на Ривьере много денег, но еще не все, что у них было: надеялись отыграться и на всякий случай оценивали свои камни. Ювелир достал щипчики, еще какой-то инструмент, измерил каждый камень отдельно, что-то записывая на листке блокнота.

— Качество бриллиантов недурное, но не первоклассное, — сказал он. — На двух есть пятна. Один желтоват... Конечно, это хорошее ожерелье. Такие камни на любителя можно расценивать тысяч в сто двадцать за карат. При некоторой удаче вы могли бы, пожалуй, получить около трех миллионов. Теперь в Ницце есть любители. Если вы хотите знать цену более точно, то я должен вынуть камни из оправы, точ-

но взвесить их и рассмотреть как следует... Вам, конечно, известно, что при покупке драгоценностей мы должны соблюдать некоторые формальности, — вставил ювелир. — Вам надо было бы оставить это ожерелье для продажи на комиссионных началах, не торопясь. Вы не склонны это сделать?

«Все равно будет плохо, но я еще подожду», — тревожно подумала она. Неопределенное предчувствие каких-то больших несчастий почти никогда ее не покидало.

— Не сейчас. Очень вас благодарю. Пожалуйста, извините, что отняла у вас время.

— Я весь к вашим услугам. Наша фирма может вам предложить условия, каких вы нигде в другом месте не получите. Покупатель скоро найдется.

— Я обращусь к вам, если решусь продать, — холодно сказала дама и вышла, кивнув ювелиру головой. На улице она сначала пошла в одну сторону, затем остановилась и повернула в другую. «Чуть было не продала! Это ужасно!» — сказала она себе и вошла в кофейню, еще пустую в утренний час. Она села в углу. К ней подошел лакей. Она смотрела мимо него своим невидящим взглядом.

— Дайте мне кофе.

— Н а с т о я щ е г о кофе? — спросил лакей.

— Да, настоящего. У вас есть американские папиросы?

Лакей кивнул головой с видом заговорщика и отошел. В кофейне появился Норфольк. Он поклонился даме и занял место за соседним столиком. Дама не ответила ему на поклон, как будто даже его не заметила.

— Пожалуйста, извините меня, — сказал ста-

рик. — Вы догадываетесь, что я зашел сюда не случайно. Мне хотелось...

— Мне совершенно не интересно, что вам хотелось, — сказала дама. Лицо у нее вдруг исказилось злобой. — Я терпеть не могу пристающих к женщинам людей, особенно стариков. Прошу вас оставить меня в покое!

Несмотря на всю свою самоуверенность, Норфольк немного смутился.

— Вы меня не поняли, — сказал он, оглядываясь. Около них никого не было. — У меня к вам есть дело... Я состою на полуполицейской службе.

— Что вам нужно? Что такое полуполицейская служба? Если вы сыщик, то потрудитесь показать ваш билет.

— Билет мне показывать незачем, даже если б он у меня и был. Пожалуйста, не пугайтесь, я просто...

— Я не из пугливых, и мне пугаться нечего. Что вам угодно?

— Я хотел сказать вам, что вы могли бы продать бриллианты выгоднее.

— Ах, вот что!.. А какое вам до этого дело? При чем тут полиция? — спросила она несколько менее резко.

— Я состою наблюдателем в игорном доме и имею большой опыт по продаже драгоценностей. Это лишь полуполицейская служба, хотя, не скрою, я был когда-то и сыщиком.

— Очень рада за вас, но меня ваша биография не интересует.

Он усмехнулся. Теперь был уверен, что она разговора не оборвет.

— У вас верно восточно-европейский предрассудок против полиции. Вы полька?

— Нет.

— У вас очень легкий славянский акцент, твердое р. Значит, вы русская?

— Да, русская.

— Меня зовут Макс Норфольк. Разрешите дать вам мою карточку, на ней адрес и телефон.

— Зачем мне ваша карточка? Перейдите, пожалуйста, к делу, если у вас есть дело.

— Вы хотите продать бриллианты. У скупщиков драгоценностей есть две системы. Одни назначают клиенту вдвое меньшую цену, в надежде, что клиент совсем дурак или очень спешно нуждается в деньгах. Другие, напротив, оценивают камни очень высоко, но говорят, что могут принять их только на комиссию. Это называется *barrage*. Вы тогда ни к кому другому не обратитесь, будете ждать и ходить к нему, он вас будет томить, томить, — «нет покупателей», — а потом предложит купить за гораздо меньшую сумму. Вам повезло, вы обратились к честному ювелиру. Но и он все-таки не Ганди. Все люди честны до какой-нибудь суммы. Он честен до пятисот тысяч франков.

Она усмехнулась.

— А как же надо было поступить, если бы я хотела продать ожерелье?

Норфольк ничего не ответил. К ним подходил лакей с подносом. «Курит американские, франков двести пакет. Значит, не то что бы сидела без гроша... Оставила на чай двадцать франков. Не знает, что в Ницце на чай включается в плату. Приезжая».

— Дайте мне рюмку коньяку, — сказал старик и подал даме зажженную спичку. Дама затянулась ра-

за три, затем, не погасив, бросила папиросу в пепельницу. — На Ривьере вообще невыгодно продавать драгоценности. В Париже вам дали бы немного больше. Конечно, если это очень спешно, если, например, вы проигрались в рулетку, тогда другое дело? — полувопросительно прибавил он.

— Я не проигралась и не могла проиграться, так как я не играю.

«Врет без необходимости. Скучная порода», — подумал Норфольк.

— Вот как? Тогда здесь бриллиантов не продавайте. Лучше заложите их в ломбарде. Я мог бы для вас это сделать, и я в таких случаях беру за комиссию совершенные гроши. Процент в ломбардах небольшой. Если же вы хотите продать, то я могу это для вас сделать лучше, чем сделает тот ювелир.

— А вы Ганди?

— Нет, — ответил он, смеясь. — Но вам не надо будет давать мне ожерелье на руки, я буду только вас сопровождать. Так вы русская? Я очень люблю русских. Может быть, вы еще вдобавок и еврейка?

— Нет, я не еврейка. Почему вы думаете, что я еврейка?

— Я не думаю, я просто спросил... Лучшие люди, каких я знал, были евреи. Худшие люди, каких я знал, были тоже евреи. Вы эмигрантка или советская?

— Да что вы меня допрашиваете! Я русская и только... Русские спасли в эту войну мир, — с вызовом сказала она.

— В каком-то смысле они спасли мир. В каком-то другом смысле они его, быть может, и погубят. Это выйдет симметрично... Так вот, право, лучше за-

ложите бриллианты. Я вам устрою большую ссуду. Потом вы их переведете в парижский ломбард... Или выкупите, — с сомнением сказал Норфольк, — и продадите там. Вы все спрашивали, какое мне дело. Во-первых, я с вас возьму небольшую комиссию. Во-вторых, я окажу вам услугу. В-третьих, я сделаю неприятность этому ювелиру, который без всякой причины был со мной груб. Я люблю платить долги. Не забываю ни услуг, ни обид, как «мул папы» в превосходном рассказе Альфонса Додэ: погонщик раз его ударил, мул затаил обиду и через семь лет изо всей силы его лягнул.

Она смеялась, теперь уже весело. «Смех у нее очень приятный, почти детский, — подумал он. — А глаза просто замечательные. Жаль, что немного навывкате».

— Так что и мне теперь будете мстить? За то, что я была резка?

— О, нет! Мое правило не распространяется на красивых женщин, — галантно сказал Норфольк.

— Мул Додэ умный. Так и надо. Я тоже такая.

— Это нехорошо. И я таков, но считаю это большим грехом. Постарайтесь изменить характер. Мне поздно, а вам как раз пора. Так вы советская?

— Только по духу. По паспорту я эмигрантка, но сочувствую коммунистам, по крайней мере во многом, — с таким же вызовом сказала она. — Вам это не нравится?

— Нет. Но мне нравится то, что вы откровенно это говорите: не все теперь это сказали бы, да еще незнакомому человеку, да еще состоящему на полуполицейской службе... Так как же: хотите, чтобы я вам помог заложить бриллианты?

— Нет. Я не намерена ни закладывать их, ни продавать.

— Зачем же вы ходили к ювелиру?

Дама засмеялась еще веселее. «Уж не пьяна ли?» — с все росшим любопытством подумал Норфольк. Он раздавил в пепельнице ее курившуюся папиросу.

— Не продала же и не продам! Сколько бы вы меня ни уговаривали!

— Я вас и не уговариваю. Значит, мне не судьба заработать на вас.

— Именно не судьба... А вы знаете, что такое судьба?

— Нет. Никто этого не знает. «Не полоумная ли?» — подумал старик.

— А вот я знаю! Знаю и то, что от судьбы спастись никто не может.

— Так говорят люди, страдающие навязчивыми идеями. И они обычно добавляют: “C’est plus fort que moi”^{*)}). Это вздор.

— Вы думаете?.. Нет, я бриллиантов не продам. Я зашла к ювелиру только для того, чтобы он их оценил.

— Понимаю. Но если вы передумаете, то позвоните мне до девяти часов утра. Вы теперь знаете мое имя. Я не имею честь знать ваше, — сказал он опять с вопросом в интонации. Дама, однако, ему своего имени не назвала. Она допила кофе.

— Я не передумаю... А если я спросила вас не по делу, то это потому, что вы показались мне не банальным человеком, — сказала она и, еле простившись, вышла из кофейни. Он разочарованно смотрел ей вслед. Ему очень хотелось поболтать. «Она под Мар-

^{*)} «Это сильнее меня».

лену Дитрих. И ходит как Марлена, когда та медленно, демонически надвигается на мужчину с края экрана». По его мнению, почти все молодые женщины были под какую-нибудь кинематографическую артистку. Ему больше всего нравились те, что были под Барбару Стэнвик.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

В самый день своего возвращения в Париж Яценко отправился к Дюммлеру. Надя в Ницце шутила, что он помешался на этом старике: так много он о Дюммлере рассказывал. «Я действительно никогда в жизни не встречал столь замечательного человека», — отвечал Яценко.

Николай Юрьевич Дюммлер был в свое время очень известен, но в значительной мере пережил свою славу. Он больше не писал, а его прежние ученые книги давно вышли из продажи. Свой статьи он в былые времена печатал в журнальчиках, которые теперь можно было разве чудом найти в рабочих кварталах Парижа. Молодое поколение и не знало, к какой именно политической группе он принадлежал или принадлежит. Смутно помнили, что он был в свое время связан тесной дружбой с князем Крапоткиным, с Элизе Реклю, и больше по этой причине считали его анархистом. В царское время он не был эмигрантом: жил обычно в Париже, но до революции наезжал в Россию. Говорили, что он сын давно забытого русского сановника и что у его матери был когда-то в Петербурге великосветский «салон». Отчасти благодаря этому салону, он знал и людей консервативного круга; встречался с великими князьями, был знаком с кронпринцем Рудольфом и где-то однажды разговаривал с Бисмарком.

Известность Дюммлера держалась отчасти на

его приемах. В былые времена в его доме на Авеню де-л-Обсерватуар собиралось много людей. Теперь он был очень стар, средства у него оставались лишь самые незначительные, дом он давно продал, сохранив в нем для себя квартиру из двух комнат в нижнем этаже. Прислуги не держал, — по утрам к нему приходила уборщица, готовившая ему и обед, который он сам разогревал. По понедельникам среди его гостей бывали обычно молодые дамы, и он отечески-ласково просил ту или другую из них исполнять обязанности хозяйки. Посещали его ученые, писатели, левые политические деятели; бывали и совершенно неизвестные люди, порою довольно мрачного вида, вызывавшие тревогу у других.

Некоторые знакомые говорили, будто ходят к Дюммлеру по чувству долга: нельзя совершенно забывать старика. В действительности у него и теперь бывало приятно и интересно. На вид, как все говорили, ему нельзя было дать больше семидесяти лет. Его миновало обычное проклятье глубокой старости: глухота. Умственные его способности почти не ослабели. Когда-то он даже в Париже считался замечательным *causeur*-ом. Теперь Дюммлер с улыбкой просил гостей останавливать его, если он впадет в старческую самодовольную болтовню, но никогда в нее не впадал, хотя часто беспорядочно перескакивал с одного предмета на другой. Говорил он тише, чем прежде, однако в нем чувствовалась та напористость, то умение не дать слушателю возможности заговорить, которая составляет особенность *causeur*-ов. Он очень много знал, встречал в своей жизни множество знаменитых людей и его гости часто поднимали глаза к потолку или с улыбкой разводили руками, когда он к слову сообщал: «Золя мне рассказывал» или «Я это слышал когда-то от Гладстона»... Обычно он говорил о знаменитых людях с ласковым юмором, отдавая им должное. Но иногда рассказывал о них

не слишком почтительные анекдоты. Некоторым новым знакомым Дюммлера не очень нравился его тон снисходительного гран-сеньера.

Остатки состояния все еще позволяли ему оказывать некоторую помощь нуждающимся людям. Это он делал всегда в совершенной тайне. Кому-то сказал, что распределил остатки капитала так, чтобы их хватило еще на десять лет: «Как это ни невероятно, но ведь я могу дожить и до совершенно неприличного возраста, — не протягивать же тогда руку за подаяньем». Дюммлер всю жизнь был окружен людьми, которые именно подаяньем и жили, и не только в мыслях не имел презирать их за это, как их в душе презирают многие благотворители, но даже почти не жалел их: столь естественным ему казалось, что бедные люди могут и должны брать деньги у богатых. Однако его самого действительно трудно было бы себе представить в роли человека, обращающегося к другим за помощью для себя.

Стены его большого кабинета были обиты красным шелком, пол был покрыт красным сукном, на клубных покойных креслах лежали красные подушки. Это преобладание красного цвета вызывало удивление у новых гостей, а некоторыми даже ставилось в связь с его политическими убеждениями. Он, улыбаясь, это отрицал. «Знаю, многие находят убранство моей комнаты безвкусным, — говорил он, — но что ж делать, мне физиологически приятно все красное». Вдоль двух длинных стен тянулись книжные полки красного дерева, но не до потолка, как у других владельцев больших библиотек, а лишь на высоту человеческого роста, так что любую книгу можно было достать, не становясь на стул или на лесенку. Дюммлер безошибочно знал, где у него находится каждая из его книг. Над полками висели гравюры и фотографии, изображавшие разных писателей, преимущественно революционных. Тут были Франклин,

Кондорсэ, Вольтер, Руссо, Прудон, Лелевель, Толстой, Бакунин; не было не только Ленина, но и Робеспьера, Дантона, Желябова. Он объяснял это тем, что, хотя невозможно проводить строгое разграничение между людьми мысли и людьми дела, у него душа лежит преимущественно к первым. На вопрос, почему в его коллекции портретов нет Маркса и Энгельса, Дюммлер отвечал неохотно. В углу кабинета стоял рояль, а между высокими окнами огромный письменный стол, на котором все находилось в совершенном порядке. Сбоку на столе стояла фотография не очень молодой красивой дамы. Это была его мать. О ней он никогда ничего не говорил.

— Как съездили? — спросил Дюммлер, садясь с Яценко в кабинете за стол, на котором стоял кофейный прибор. У старика вид был утомленный. Виктору Николаевичу показалось, что он не сразу его узнал: в передней с полминуты смотрел на него удивленно; затем на лице у него появилась благожелательная ласковая улыбка. — Давно ли приехали? Выпьете чашку кофе? Мне прислали несколько фунтов из Америки почитатели. — Он усилением улыбки и интонацией подчеркнул последнее слово, показывая, что не принимает его всерьез. — А кофе это и моя слабость, и моя специальность. Помните у Вольтера: «Кофе должно быть черно как дьявол, чисто как девственница и горячо как ад».

Он беспрестанно цитировал изречения, особенно слова тех знаменитых людей, которых знал лично. Некоторые его гости находили, что Дюммлер злоупотребляет цитатами.

— Нет, благодарю вас, я только что пил, — сказал Яценко, чтобы не утомлять старика. — Как вы себя чувствуете?

— Отлично. Пока замечаю за собой лишь легкое увеличение сонливости, все боюсь задремать в обществе. — Он засмеялся. — Мой покойный приятель

Артур Бальфур постоянно засыпал на заседаниях Парижской мирной конференции 1919 года. Не то, чтобы он был так стар, но вероятно, ему, при его философском складе ума, все там происходившее казалось чрезвычайно скучным и ненужным. Разумеется, он был совершенно прав. Случилось так, что итальянский делегат Титтони попросил Клемансо назначать заседания не раньше половины четвертого: ему врач велел отдыхать после завтрака. Американский же делегат Полк просил заканчивать заседания не позднее половины седьмого: он привык отдыхать перед обедом. Клемансо сказал: «Отлично. Значит, заседания будут начинаться в 3 часа 30 и кончаться в 6.30. Таким образом г. Титтони будет спать до заседания, г. Полк после заседания, а г. Бальфур во время заседания»... Ну, хорошо. Что ж, вы привезли в Париж вашу невесту?

— Нет, она предпочитает оставаться в Ницце. Там жизнь дешевле.

— А ее развод?

— Все то же. Пока никакого движения.

— Я вас ждал в понедельник. Мои понедельники становятся все менее многолюдными.

— Если вы позволите, я в следующий понедельник приду. Но я заехал сегодня днем потому, что хотел с вами поговорить наедине.

— Весь к вашим услугам. Верно о вашей пьесе? Я ее прочел с исключительным интересом. Искренне вас благодарю за доставленное мне удовольствие.

— Я пришел не для этого, но уж если вы заговорили о моих «Рыцарях Свободы», то мне, разумеется, очень хотелось бы узнать, что вы о них думаете. Я и не надеялся, что вы прочтете так быстро.

— Ваша пьеса очень интересна. Немножко старомодна и чуть-чуть «фряжского письма». Кое в чем она напоминает Сарду... Это похвала, так как он был великий мастер сцены. Не поймите меня дурно, я

прекрасно понимаю разницу: Сарду все строил на действии, а о правдоподобии характеров заботился очень мало, тогда как вы, отставая от него по напряженности фабулы, больше всего заботитесь о том, чтобы люди были живые. И они действительно у вас вышли живыми, особенно Лина... Быть может, я этого не сказал бы о вашем Бернаре: это не художественный портрет, а скорее остеология, — в искусстве вещь недостаточная. Он без теней и перспективы, как живопись на египетских саркофагах... Немецкий поэт Фридрих Геббель говорил, что трагедия возможна лишь в такие периоды, когда в истории сталкиваются два мощных принципа. Следовательно наше время особенно благоприятно для драматического творчества... Как я завидую вам, что вы художник слова. Сам я всю жизнь занимался наукой и политическими делами, но я вполне разделяю мнение Канта о том, что вечны лишь создания искусства. Если позволите, отмечу один маленький недостаток: слишком много у вас говорят некоторые действующие лица. Писать надо так, точно посылаешь телеграмм, и не простой, а срочный, по тройному тарифу за слово. Жаль только, что никто так не пишет. Кажется, это сказал кто-то другой? Нет?... И чем проще писать, тем лучше. Я открываю роман и тотчас прихожу в уныние, если в нем написано «город-светоч» вместо «Париж» или же «промолвил он» потому, что двумя строчками выше было «сказал он». По-моему, лучше было бы два раза «сказал он».

«А сам все свои словечки оттачивает!» — подумал Виктор Николаевич.

— Боюсь, Николай Юрьевич, что вы могли найти в моих писаньях и гораздо более важные недостатки.

— Конечно. Не недостаток, а беда, и не ваша, а всей эмигрантской литературы в том, что вы, как принято выражаться, оторвались от родной почвы. Советские писатели погибают, во-первых, от рабства, во-

вторых, от отсутствия разнообразия в быте, в-третьих, от свирепого упрощения жизни. Всего этого искусство не выносит. Вас же всех губит то, что вы не дышите родным воздухом. Поэтому, говорю с глубокой скорбью, русская литература дышит на ладан.

— Я этого никак не думаю. Вы говорите, будто мы оторвались от родной почвы. А вот Гоголь, уезжая за границу, писал кому-то из своих друзей: «Писатель современный, писатель нравов должен быть подалеже от своей родины». Я заучил эти слова: они меня всегда утешают.

— Не знал этой мысли Гоголя... В ней, быть может, кое-что и верно. Гоген, умирая на Маркизских островах среди кокосовых пальм, писал засыпанную снегом бретонскую деревню... О чем мы говорили? Ох, стал я стар. Да, ваша драма. У нас в 17 веке наши первые театральные пьесы делились на два разряда: «жалостные» и «прохладные». Ваша пьеса «жалостная», но, быть может, для жалостной она слишком прохладна.

— Очень забавные слова.

— У меня все старые слова, даже самые обыкновенные, даже не русские по корню, но звучные, вызывают «вздых сожаления». Ну, хотя бы слово «кавалергарды», а? Впрочем, были у нас и слова плохие, неестественные. Мне, например, всю жизнь резало слух слово «губерния». Новыми советскими выражениями я в меру сил стараюсь не пользоваться.

— Если б вы, Николай Юрьевич, ими воспользовались, то это было бы даже странно: вроде как если б архиепископ Кентерберийский говорил «Окэй» или римский папа выражался на парижском аргю, — сказал Яценко, смеясь. Дюммлер действительно выражался по-старинному. Он говорил: «пачпорт», «телеграмм», «Штокгольм», «с какого права».

— Полно издеваться. Но я вправду мушкетного пороха офицер. Засиделся, засиделся на этой земле,

а она что-то при всей своей красоте и прелести становится скучноватой. Может быть, засну от скуки и усталости, как один французский граф или маркиз в пору террора заснул на колеснице, подвозившей его к эшафоту... Да, так что же вы будете делать с пьесой? Есть ли надежда на постановку?

— Не только есть надежда, но пьеса у меня уже приобретена, — ответил Яценко, не слишком огорченный отзывом старика. Он знал, что Дюммлер, при всей своей любезности, очень строгий ценитель: говорил, что «Война и Мир» последнее гениальное произведение искусства, с тех пор были лишь талантливые. Виктор Николаевич кратко рассказал о Пемброке.

— Его настоящее имя Альфред Исаевич Певзнер, — сказал он с той улыбкой, с какой не-евреи произносят подобные имена. Дюммлер тоже улыбнулся.

— Так он приобрел пьесу? Это большой успех. Сердечно вас поздравляю... Вы говорите, что он очень богат? Не могла ли бы его заинтересовать «Афина»?

— Не знаю, может ли «Афина» заинтересовать Пемброка, но я, Николай Юрьевич, именно для того и приехал, чтобы с вами о ней побеседовать. Вы мне о ней говорили вскользь, я хотел бы получить более подробные сведения.

— Я так и знал, что это вас интересует. Конечно, в вас уже есть то, что называется «тягой к нездешнему», или «духовной жаждой», или еще «тоской», *“angoisse”*, это у философов теперь модное слово. Я очень рад, что вы этим интересовались.

— Но что же это собственно такое? Я слышал, что лет пятьдесят тому назад или больше в Париже были такие тайные общества с обрядами, с ритуалом, и даже с какими-то «мессами».

— Не будем смешивать. Такие тайные общества с обрядами действительно бывали, но у них с «Афиной» ничего нет общего. Могу это сказать с полным

знанием дела, так как я сам в молодости состоял членом некоторых странных обществ. Не всех, конечно... Помимо прочего, и безвкусица кое-где была потрясающая. Я помню и «сатанистов», их «черные мессы», которые довольно плохо изобразил в своем скучном романе Гюисманс. Он был скромный чиновник — и обожал «красивую жизнь». Вы помните его “*A rebours*”?

— Никогда не читал.

— Да, в ваше время Гюисманс уже вышел из моды. Герой этого романа дез-Эссент живет в своей вилле под Парижем. В его саду дорожки нарочно посыпаны углем, а в фонтанах льются чернила, — это, разумеется, ради черного цвета. Он устраивает обед, помнится, траурный обед по случаю потери мужских способностей. Приглашения пишутся на карточках с черным бордюром. А обед... Впрочем, нет, разрешите лучше это вам прочесть, — сказал с усмешкой Дюммлер и встал, опершись на ручки кресла. Он разыскал книгу на одной из полок. — Вот, слушайте, я прочту с сокращениями, — сказал он, снова сядя: «Обед был сервирован на черной скатерти, освещенной канделябрами, в которых горели восковые свечи. Оркестр за стеной играл похоронный марш. Блюда разносили голые негритянки. В тарелках с черным ободком подавали черепаховый суп, русский черный хлеб, турецкие маслины, икру, франкфуртскую кровяную колбасу, дичь под соусом цвета ваксы, трюфли, шоколадный крем, фиги. Пили в темных бокалах тенедосское вино и портвейн, затем после черного кофе, разные квасы, портер и стаут»... Дюммлер, беззвучно смеясь, опустил книгу на колени. — Согласитесь, это прелестно, особенно *des kwass*. Добавлю, что у героя романа было пятьдесят тысяч франков дохода, это верно казалось Гюисмансу пределом богатства. У меня было много больше, но я никогда так красиво не жил... Да, да, были и эти «черные мессы».

— Неужели вы и сами в них участвовали? — с любопытством спросил Яценко.

— Были и другие общества, без кощунств и без свального греха, были общества весьма пристойные, например, «Последние язычники» моего покойного друга Луи Менара. Не слышали о таком? Он был поэт, историк, живописец и химик, очаровательный был человек... Были «Служители Человечества», были «Люцифериане».

— А к этим пристойным обществам вы имели отношение, Николай Юрьевич? — опять нескромно спросил Виктор Николаевич.

— Знаете, у нас в России с 18 века была особая порода людей, которые ко всему на западе именно «имели отношение» и вместе с тем в западную жизнь не вошли. Хотели войти и не вошли. Уж на что Тургенев подходил для роли посла русской культуры: знаменитый писатель, прекрасно владел языками, светский человек, богатый, гостеприимный, западник по взглядам. У нас и была такая легенда, будто он в Париже всех знал и его все знали. На самом же деле он говорил Драгоманову, что не имеет в Европе ни малейшего значения: «Едва знают мое имя»... Ну, так вот, я, кажется, последний представитель этой породы людей. Входил, входил в разные общества и всегда там себя чувствовал чужим... Наполеон III дал аудиенцию какой-то английской или американской даме. Спросил ее, долго ли она предполагает оставаться во Франции. А она ему в ответ: «Нет, государь. А вы?» Вот так и я, входя во французские, в английские кружки, всегда чувствовал, что я в них не задержусь, как Наполеон на троне.

— И у анархистов?

— Я вам, кажется, говорил, что я не анархист, хотя имею к ним слабость... Помню, Себастиан Фор ездил по Франции и читал странную лекцию: «Двенадцать доказательств того, что Бог не существует».

Я раз попал, потом спросил его с изумлением: «Да неужели вы хотите э т и м завоевать сердца людей?» Мне все антирелигиозное, всякая пропаганда безбожия всегда были противны. К счастью, в «Афине» ничего сходного нет и следа, на этом мы все сходимся и я этого не допустил бы. Ритуал наш философский или философско-политический.

Дюммлер задумался.

— Ведь этот Себастьян Фор умер? — спросил Яценко после недолгого молчания.

— Пожалуйста, извините меня, — сказал старик, вздрогнув. — Умер ли? Разумеется, умер. Все умерли... У меня на том свете неизмеримо больше друзей, чем на этом. Позади кладбище... "Friedhof der Namenlosen", «Кладбище безымянных», есть такое около Вены... Простите, вы спрашивали об «Афине». Идея была моя, но позитивисты и другие навязали свои ритуалы, и пока у нас, к сожалению, попытка совместить несовместимое. Я надеюсь понемногу привести дело в порядок... Вы помните биографию Огюста Конта?

— Только в самых общих чертах.

— Создатель самой трезвой и самой скучной философии в истории мира, достигнув пожилого возраста, как будто почувствовал, что задыхается в своем собственном позитивизме. Он устроил в своей квартире на улице Monsieur le Prince «часовню». Кресло Клотильды де Во, женщины, которую он любил, стало чем-то вроде алтаря; он опускался перед ним на колени, читал особые молитвы, читал стихи Данте и Петрарки. В своем завещании Конт велел создать храм нового учения и составил план. Позитивистские храмы и были созданы в Лондоне, в других городах. Там происходили и, кажется, происходят по сей день позитивистские молебствия. Воображаю, что это такое! Кажется, они в Англии считаются признаком дурного тона. Хуже этого только зарезать человека или

есть баранину с горчицей... Во Франции тоже было немало весьма странных «храмов» и в ту пору, когда рационализм упивался своим торжеством. Может быть, было не меньше уклонов и в сторону волшебства. Мой добрый знакомый биолог Гексли когда-то говорил, что в истории бывали народы, обходившиеся без веры в Бога, но народов, обходившихся без веры в колдунов и привидения, никогда не было... Мудрые восточные цари приглашали к себе на совещания, вместе с государственными людьми, волхвов и чародеев. Что ж, если б нынешние правители держали при себе для совета какого-нибудь хорошего волхва, то от этого никакой беды не произошло бы, — Соломон был не глупее их. А если волхвы врут, то и государственные люди тоже никогда ничего не предвидели с сотворения мира. Забавно, что прочнее всего держались в истории договоры и учреждения, созданные психопатами. Версальский трактат писали Клемансо, Вильсон, Ллойд-Джордж, Тардье, на Берлинском конгрессе орудовали Бисмарк и Дизраэли, все очень умные люди, правда? И от их дел через несколько лет ровно ничего не осталось. А вот дело Священного Союза держалось лет сорок. А кто придумал Священный Союз? Прежде всего полоумная баронесса Крюденер. Текст же писал Бергасс, не полоумный, а совершенный психопат и поклонник графа Калиостро.

— Все-таки обобщать не следовало бы, — сказал с улыбкой Виктор Николаевич. — Вы не будете утверждать, что государственные дела надо передать психопатам?

— Не буду. Но и умные люди делают их очень плохо. Если же говорить серьезно, неужели вы и теперь, после двенадцати лет гитлеровщины в самой ученой стране мира, сомневаетесь в том, что мы полудикари?.. В мире всегда было и будет сильно и то, что какой-то ученый называет — *“la volupté de*

l'horrible".*) Однако, дело никак не в этом и не в дикости, а в другом. Нормальная человеческая душа не удовлетворяется тем, что ясно и просто, как медный грош. Именно наша эпоха и, быть может, еще больше эпоха надвигающаяся, благоприятны для развития так называемых метапсихических наук и разных видов оккультизма. Решаюсь даже предсказать: расцвет их будет в России. Материализм у нас свирепствует — и в прямом и в переносном смысле слова — уже тридцать с лишним лет, реакция против него неизбежна во всех ее формах, и хороших, и не очень хороших.

— Но все-таки, что же это такое? Позитивизм, кончающийся креслом Клотильды де Во? Это немного напоминает наши волостные суды, которые лет семьдесят тому назад приговаривали к наказанию розгами крестьян за то, что они работали в годовщину 19 февраля... Нынешнее состояние науки делает невозможным увлечение оккультизмом.

Дюммлер пожал плечами.

— Позвольте вам сказать, что в число сторонников спиритуалистического понимания мира были такие выдающиеся представители точных наук, как Шарль Ришэ, как Оливер Лодж, как Вильям Крукс. Бергсон издевался над теми, кто издевался над «метафизикой психической науки». А тот же Огюст Конт! Ведь он был человеком не только огромного ума, но и колоссальных энциклопедических познаний. Правда, его ученик и друг Литтре говорил мне, что Конт с тех пор, как создал позитивистическую философию, больше никаких книг не читал. Впрочем, я не вхожу в оценку факта, о котором я говорю, я его просто констатирую.

— Но вы не утверждаете, что этот факт отрадный?

— В нем кое-что отрадно, а многое странно и

*) «Сладострастие страшного».

даже смешно. По старым моим наблюдениям, по тому, что я слышал, во всех таких обществах преобладали честные и искренние люди; но к ним не очень понятным образом часто примазывались всякие шарлатаны, обманщики, мошенники. Я помню, одно из таких обществ в свое время закончило существование чистейшей уголовщиной, чуть только не убийствами. Я и там кое-кого знал.

— Не представляю себе вас в обществе уголовных преступников.

— О, я не строгий моралист. Когда-то в Лондоне я встречал Оскара Уайльда в дни его славы. Скверный был и человек, и писатель, но одно его слово запомнилось мне на всю жизнь: — “I never came across anyone in whom the moral sense was dominant who was not heartless, cruel, vindictive, stupid and entirely lacking in the smallest sense of humanity”.*) Теперь, со времени прихода коммунистов к власти, я вместо “moral sense” сказал бы «служение будущему строю». Замечу еще, все эти общества чрезвычайно любят ритуал и выполняют его по непривычке худо. Где уж нам до военных с их вековыми навыками! В «Афине» я стараюсь свести все это до минимума, но другие с этим не согласны.

— Кто другие? Члены вашего общества?

— Члены общества «Афина», — сказал Дюмлер. — Очень много людей живут только верой в социальный прогресс, а ею не очень проживешь. Другим и эта вера не нужна, они, видите ли, скептики и любят, чтобы их скептицизм называли изящным, хотя ничего изящного в нем нет. Но в известном возрасте человек чувствует потребность в чем-то ином. Особенно, если он своей жизненной работой не слишком доволен и

*) «Я никогда не встречал такого человека, в котором моральное чувство было преобладающим и который при этом не был бессердечным, жестоким, мстительным, глупым и совершенно лишенным гуманности».

если детей у него нет. Ведь творчество и дети будто бы дают какой-то суррогат бессмертия... Не очень хороший суррогат, однако это лучше, чем ничего.

— И это вам дает «Афина»?

— И это мне может дать «Афина», — с легким раздражением повторил старик. — Скажу больше того: моя «Афина» гораздо лучше других. Ведь «Афины» теперь везде, даже отчасти в ООН. Вне идей «Афины» коммунисты, но ведь это философская Чухлома, у них дно ученья на глубине двух вершков, хотя на лицах у всех у них повисла тонкая усмешка, точно они всех нас насквозь видят и точно у них-то квинтэссенция, глубочайшее слово человеческой мысли. Это, кстати сказать, безошибочный признак всякой Чухломы. А их ведь много, самых разных... Мы о чем говорили? — тревожно спросил Дюммлер, поглаживая лоб над полужакрытыми глазами. — Не напоминайте, я сам вспомню!.. Да, о бутафории. Это тяжелый вопрос. Я борюсь с ней как могу, да не всегда удается, и я огорчаюсь. Вот как в старых пресвитерианских семьях люди танцуют: знают, что это большой грех, и все-таки на свадьбе танцуют, но, чтобы смягчить свою вину, во время танцев изображают на лице страшное мученье. Такой, вероятно, вид и у меня, когда я председательствую на наших заседаниях.

— И вы серьезно верите в реальное значение этой «Афины»?

— Реальное значение, — с досадой повторил Дюммлер. — Никогда нельзя сказать, что будет иметь значение и что нет. Совершенно неизвестно, что именно завоевывает мир. Магомет, вероятно, на свой огромный успех в мире и не рассчитывал. Маркс тоже нет... Впрочем, Маркс, может-быть, и рассчитывал, но и он овладел душами людей случайно. Если я в чем-либо все-таки уверен, то это в том, что экономический материализм не может надолго сохранить власть над душами людей. В нынешних событиях он ничего

не объясняет. Все эти фикции, борьба за рынки, войны из-за интересов капитала, из-за так называемых *vested interests* стали нелепыми: одна неделя войны будет любой великой державе стоить больше, чем ей могут дать рынки. Что мы сказали бы о капиталисте, который истратил бы миллион, чтобы нажить пятьдесят центов? Нет, какие там рынки! В мире царит случай, вот результат моего жизненного опыта... Я знаю, вы все в ОН «реальные политики». А это уж такое правило: когда государственные люди хотят сделать что-либо недостойное, их тотчас объявляют реальными политиками, и они очень этому рады: это как бы производство из полковников в генералы. У нас в России все же было не совсем так... Вы Россию хорошо помните?

— Как же не помнить? — удивленно спросил Яценко. — Ведь я уехал из Петербурга всего десять лет тому назад.

— Простите, я по старости все путаю. Собственно во всем мире только и были две настоящих столицы: Париж и старый Петербург. — Он задумался. — Маз на хаз и дульяс погас, — сказал он.

— Как?

Старик опять точно опомнился.

— Покорно прошу извинить мою бессвязную болтовню, — сказал он. — Это одно выражение, оставшееся у меня в памяти от школьного времени... Да, с жизнью не поспоришь. Павел I приказывал в наказанье «объявить вам, сударь, дурака». С нами именно это случилось: история нам объявила дурака... Мой отец оставил капитал в Государственном банке с тем, чтобы на него в 1929 году была издана лучшая биография графа Канкрин. В 1929 году!.. Со всем тем я никогда не был пессимистом и никогда им не стану. По-моему, есть даже какое-то безвкусие в том, чтобы ругать жизнь. Это и не совсем прилично в отношении собеседника, он наверное вовсе не желает, чтобы ему

отравляли настроение духа... Было ли наше время «хорошее»? Не знаю. Хорошее или дурное, оно было особенное... Я думаю, каждый человек способен понять только свое время. Когда вышла «Война и мир», Муравьев Апостол, участник Отечественной войны, сказал, что Толстой той эпохи совершенно не понял! Уж если не понял Лев Николаевич! (он произносил Лёв). Протопоп Аввакум говорил, что с ним уйдет «последняя Русь». Мне иногда хочется сказать то же самое о моем поколении. Россия, конечно, будет и дальше, но другая, совсем другая.

— Сделайте все же поправку, Николай Юрьевич, на то, что вы в России были баловнем судьбы. Кажется, вы были архимиллионером?

— Архимиллионером никогда не был, разве уж в какой-нибудь очень смешной валюте... Помните, у Чехова есть чудный рассказ. У старухи сын был архиереем. Он умер, она впала в нищету. Через несколько лет никто ей не верил, что у нее был сын архиерей. Я никогда иностранцам не говорю, что мой отец был царским министром. Им давно известно, что все русские парижане — князья и что каждому из них принадлежало до революции по крайней мере по одной губернии... Теперь средства у меня очень скромные. Я вложил большую часть моего состояния в государственную ренту, а как вы знаете, почти все правительства установили в виде инфляции кару для честных людей и привилегию для менее честных. Но я давно думать забыл о прошлой жизни... Мы с вашим отцом, Виктор Николаевич, или с вашим дедом принадлежали верно к одному обществу, — сказал он. Эти слова были приятны Яценко, хотя он понимал, что Дюммлер принадлежал к гораздо более высокому кругу, чем его отец и дед. — Так вы в самом деле хотели бы ознакомиться с «Афиной»?

— Очень хотел бы.

Дюммлер задумался.

— Вот как мы сделаем. В воскресенье, в пять часов дня, ко мне соберется несколько человек из наших заправил. Мы теперь обсуждаем некоторые вопросы. У нас скоро предстоит первое большое заседание, с моим вступительным словом и с докладом одного профессора. Конечно, при вас, пока вы в наше общество не вошли, мы этого обсуждать не будем, но вы посидите с полчаса, познакомитесь с людьми, а затем оставите нас.

— Очень рад, если вы этого не находите неудобным.

— А может быть, ничего у нас в «Афине» и не выйдет. Просто выдумываю себе занятие, как полагается эмигранту... Ну, что ж, мы сами виноваты. На войне, говорил генерал Бурбаки, надо «спасаться вперед». Так и в революции. На худой конец можно еще «спасаться назад». Но нельзя спасаться, стоя на одном месте. А мы именно это и делали в 1917 году, о наших предшественниках я и не говорю. И хоть бы один из нас или из наших предшественников поседел от горя, как адмирал Того от заботы поседел перед Цусимой. Нет, все остались живчиками. А меня всегда раздражали две породы людей: живчики и нытики... У нас в Артиллерийском музее в Петербурге была старая, не помню чья картина: немец и еврей жарятся рядом в аду... Художник, очевидно, не любил именно немцев и евреев. Он был эклектик. И я, верно, тоже, хоть по-другому.

— А вы знаете, Николай Юрьевич, вы, при всей вашей умудренности, очень строгий судья людей. Вы добрый мизантроп, — не удержавшись, сказал Яценко.

— Мне очень жаль, что я наговорил вам вздора. Раскаиваюсь и беру назад. Нет, я не мизантроп, но вы попали в мой дурной час. А кроме того... В Англии кто-то так объяснял разницу между Дизраэли и Гладстоном: Дизраэли “knew not mankind but perfectly

knew all men. Gladstone knew nothing of men but knew and loved mankind".*) Надо занимать, думаю, золотую середину. Я в себе преодолел скептика. Ведь и неверующий человек должен что-то делать «для души».

— И для этого вами предназначается «Афина»?

— Отчасти и для этого. Каждый из нас должен сам найти свой способ освобождения. Способов очень много. Некоторые из них так странны, что нам с вами это и понять трудно, но это тоже способы освобождения. Я еще не знаю, как освобождаетесь вы, Виктор Николаевич, или как хотите освободиться... Вот читал вашу пьесу. Что же вы собственно проповедуете? Лафайеттизм?

— Я ничего не проповедую.

— Тогда нельзя и писать. То есть, можно, да следует ли? Я знаю, что не всегда творчество вполне отражает душу творца. Злые люди часто специализировались в доброй литературе, и наоборот. Жизнерадостный Тинторетто писал чуму, писал труп своей дочери. Но оставим это. Почему бы вам из ОН не перейти в то другое учреждение, с румынским названием, как его? Юнеско. Там, кажется, иногда делается хорошая работа, та самая, в которой я вижу главную надежду человечества.

— Вы вправду так думаете? — спросил Яценко, удивленный сходством слов старика с тем, что ему и самому приходило в голову. — У нас, напротив, к ним относятся несерьезно: какое же это реальное дело! Им выкинули кость в семь миллионов долларов в год, и никто за их работой особенно не следит, пусть, мол, люди занимаются ерундой.

*) «Дизраэли не знал человечества, но отлично знал всех людей. Гладстон же ничего о людях не знал, но знал и любил человечество».

— Вот видите. Я говорил вам, что я думаю о так называемых реальных политиках. Вы суετε какие-то идеалы в самую обыкновенную политическую грязь, и получается глупо или во всяком случае смешно. Вышинский, должно быть, хохочет. В Юнеско Вышинского нет. По крайней мере, в замысле, она близка к моей «Афине»... Держится то ваша ОН только на том, что обе стороны смертельно боятся одна другой... Это мне напоминает какое-то сражение римлян с аллема-нами: обе стороны в панике бежали друг от друга... Если вы хотите знать мое мнение, то эти семь миллионов самая разумная из всех трат ОН. Надо было бы давать Юнеско не семь, а семьсот миллионов в год... И один совет, если позволите, — говорил старик, как будто все больше теряя внешнюю связь в мыслях, — не очень старайтесь быть «объективным», не оглядывайтесь вы в пьесе и в жизни на несуществующий «суд потомства». Не удастся, да, пожалуй, и незачем... Когда Наполеон велел расстрелять герцога Энгийенского, единственный в мире человек, который почти его оправдывал, это была мать казненного герцога: она, видите ли, хотела быть беспристрастной. А была полумной... И еще совет: пишите добрее, думайте о пользе людям. Я понимаю, люди все оглядываются на себя. Говорят, сам Магомет любил смотреться в зеркало. Но, поверьте мне, вечна только д о б р а я литература. Как хорошо, что Толстой не стал совершенным мизантропом и мизогином на двадцать лет раньше: иначе у нас не было бы «Войны и Мира».

— А мизантропия Гоголя?

— Есть исключения. Да и Гоголь вечен потому, что все его взяточники в сущности симпатичны... Так

что же, приходите в воскресенье, — сказал Дюммлер, с трудом подавив зевок.

— Непременно. И простите, что я вас утомил, дорогой, Николай Юрьевич, — поспешно вставая, сказал Яценко.

II.

Со всех сторон доносился треск пишущих машин. Полицейский в красных аксельбантах и белых перчатках не спросил пропуска. Он уже знал всех делегатов и переводчиков. Зал еще был пуст. Второго переводчика пока не было. «Вечно опаздывает! Видно, сегодня придется мне переводить Андрея Януарьевича!» — раздраженно подумал Яценко. Он был с утра в самом мрачном настроении духа и заранее знал, что все сегодня будет ему казаться смешным и отвратительным. «Опять день дешевого неврастенического анархизма», — с насмешкой над самим собой подумал он.

Уже несколько дней в Париже шел мелкий скучный дождь, и, как всегда, люди говорили, что такой погоды не запомнят. «Да, на Ривьере было веселее», — думал Виктор Николаевич, вспоминая залитые солнцем улицы Ниццы, теплые вечера с высоко повисшими редкими южными звездами. Во дворце Шайо с утра горели электрические лампы. Заседание ожидалось обыкновенное, не слишком боевое, хотя газеты обещали читателям «стычки». «Они, наши красавцы, все еще примериваются друг к другу и вырабатывают род красноречия». В ОН не было общепризнанных авторитетов, не было и талантливых ораторов. Публики почти всегда бывало очень много. Парижане еще не успели привыкнуть к новому роду развлечения и посещали дворец охотно: всех занимало то, что небольшая часть Парижа оказалась международной тер-

риторией, что над ней развевается новый, мало кому известный флаг, что на площади, у барьеров, полицейские спрашивают что-то вроде визы. За полчаса до начала заседания, у дверей главного зала далеко тянулась очередь получивших входные билеты людей.

В коридоре Яценко встретился со знакомым журналистом. Тот, понизив голос, сообщил новые слухи. — «Вышинский находится под тайным наблюдением Гепеу! Дядя Джо не очень ему доверяет». — «Откуда вы знаете?» — спросил Яценко, — «ведь если б это было и так, то нам с вами об этом верно не сообщили бы. Никто ничего не может знать о том, что делается в Кремле, и все, что люди об этом рассказывают, вздор!» — «Я не могу, конечно, назвать свой источник», — обиженно ответил журналист, — «но он совершенно достоверен... Эти сведения идут с Кэ-д-Орсэ!» — таинственным тоном добавил он. — «Кэ-д-Орсэ об этом знает столько же, сколько мы с вами». — «Могу вам даже объяснить причину его опалы. Помните тот процесс? Ну, как его?.. Старый большевик с азиатской фамилией, кажется, было такое государство»... — «Бухарин?» — «Вот именно. Так вот, Вышинский на этом процессе превознес тогдашнего министра... Не помню фамилии... Он был главой Гепеу»... — «Ежов?» — «Да, да, Иежофф. — Как вы, американец, можете запомнить все эти имена?» — «Я американский гражданин, но русский». — «Извините, я забыл. Хотя нам это не совсем понятно: как можно быть и русским, и американцем?.. Да, да, а очень скоро после того этот Иежофф оказался злодеем и был ликвидирован. Откуда же бедный Вышинский мог знать, что именно дядя Джо будет думать через месяц?.. Мне очень нравится слово «ликвидирован»! Если б я мог ликвидировать своего издателя!» — «По-моему, все же это мало вероятно», — сказал Яценко. Как служащий, он обязан был соблюдать нейтралитет и осторожность в разговорах даже

с посторонними людьми, особенно с посторонними людьми. Отсутствие нейтралитета он проявлял только тем, что избегал переводить Вышинского. «Показываю кукиш в кармане... Ничего не поделаешь, надо уходить из этого учреждения. У меня для него недостаточно твердые убеждения и недостаточно здоровая печень», — сказал он себе, расставшись с журналистом.

Виктор Николаевич вошел в подъемную машину, на первой остановке перешел в другую и оказался снова в длинном коридоре, по сторонам которого стучали на машинках служащие пятидесяти восьми стран. На длинных столах лежали бесконечные груды бумаги, журналы, протоколы, брошюры. Вдали виднелись огромные модели допотопных кораблей: не все было вынесено из приспособленного для сессии антропологического музея. Проходя мимо советского агентства, он невольно ускорил шаги. Его в начале интересовало, знают ли советские служащие ООН, что он русский, сын расстрелянного тридцать лет тому назад следователя. Они были с ним всегда очень корректны и даже любезны. На ходу он бросил взгляд в отворенную дверь. Там писали на машинках две барышни, одна хорошенькая. «Так у них в свое время стучала Надя», — подумал он и вошел в свой крошечный кабинетик. Повесил шляпу на голову каменной бабы и достал из ящика бумаги. Накануне он работал до позднего вечера, составлял какую-то сводку. Письменные работы не входили в его обязанности: он был «интерпрэтер», а не «транслэтор». Но отказывать в услугах было здесь не принято. Если делегаты в своих публичных выступлениях еще не нашли надлежащего тона, то служащие с самого начала приняли тон корректный и джентльменский; теперь именно они как бы хранили прежние дипломатические традиции.

Работа была почти готова, оставалось дописать лишь несколько строк. Яценко заглянул в стенограм-

му и быстро, без единой пометки, написал по-французски: «Г. Фарис-Эль Хури (Сирия) высказывает мысль, что никакое решение вопроса не может считаться окончательным, если оно не продиктовано справедливостью. Г. Ахмет-Магомет Кашаба-паша (Египет) выражает пожелание, чтобы Собрание взяло на себя обсуждение вопроса не иначе, как после добросовестного и глубокого его изучения». — «Что ж, мысли ценные и интересные, они здесь сделали бы честь самому почтенному министру. Кто дальше? Малик, но какой: Малик — СССР или Малик — Ливан? Что, если обойтись без Маликов? В краткой сводке они не обязательны... Дальше Вижаха-Лакшми-Пандит (Индия). Она, голубушка, что сказала? Доказывала необходимость дружной работы, так. Тоже в высшей степени важное соображение. Все-таки Вижахе три строчки дадим: милая дама, да еще индусы обидятся... А это что?» Он увидел, что в английском тексте была еще подстрочная ссылка на документ "Supplementary agreements with specialized agencies concerning the use of United Nations laissez-passer report of the Secretary General (A) 615, A) 615, Add. —, A) C. 6) 290" Эту ссылку необходимо было сделать. Не задумываясь ни на минуту, он перевел ее совершенно точно на французский язык, хотя даже не понимал, о чем идет речь.

В первый год своей службы он еще думал о том, что переводил, но скоро заметил, что самые лучшие из переводчиков переводят все почти механически, и перевод у них выходит превосходный. Его отличная память облегчала работу. К нему часто обращались за справками и объяснениями; это льстило его самолюбию. Яценко шутил, что организация Объединенных Наций во всяком случае имеет одно громадное преимущество перед женеvской Лигой: благодаря наушникам, слушаешь всевозможный вздор один раз, а не два раза подряд, по-французски и по-английски. К своей работе он за два года привык, однако теперь

думал о ней со злобой. «Следовало бы смотреть на вещи просто, как они все».

«Они все» были его сослуживцы. Из них многие находили, что независимо от пользы для человечества, их организация имеет большое достоинство: платит прекрасное жалованье, дает возможность путешествовать в хороших условиях, останавливаться в дорогих гостиницах, есть и пить в отличных ресторанах, встречаться и даже знакомиться с самыми известными людьми мира, вообще получать много удовольствия, а этим надо особенно дорожить еще и потому, что скоро все учреждение пойдет к чорту, так как начнется третья предпоследняя. Эстеты же с усмешкой добавляли, что уж если наблюдать исторические зрелища, то лучше всего из первого ряда кресел. Впрочем этот тон не встречал сочувствия у большинства служащих. «Преувеличивать незачем: среди нас есть и серьезные люди, искренне верящие в пользу от своей работы и в важность этого учреждения; есть и просто хорошие чиновники, добросовестно относящиеся к делу. А если все мы наизусть знаем 35-ый раздел, статьи о жалованьях, налогах и пенсиях, то что же тут дурного? Жить нам надо, и преобладают у нас порядочные и приятные люди. Циники, кажется, в меньшинстве. Но, к несчастью, именно это учреждение понемногу может приучить к «цинизму».

Кончив сводку, Виктор Николаевич отдал ее переписчице и вышел. В нижнем коридоре, вблизи делегатского входа в зал, он почти столкнулся с тем иностранным министром, которого видел в Ницце; он должен был сегодня говорить. Вид у министра был озабоченный. С другой стороны к двери, в сопровождении телохранителей, шел Вышинский. Министр еще издали радостно помахал ему рукой. Телохранители, тотчас признавшие русского, не сводя глаз, смотрели на Яценко.

— «Bonjour, mon cher Vichinsky!» — сказал, сияя

улыбкой, министр. «Если б война кончилась иначе, он точно так же говорил бы: "Bonjour, mon cher Himmler!" — подумал Яценко.

Зал теперь был полон. Последние в очереди радостно занимали места, хватали наушники, с любопытством их пробовали, оглядываясь на соседей, спрашивали, где сидят знаменитости. Делегаты издали приветливо кивали друг другу или переговаривались с таинственным видом, будто сообщали нечто чрезвычайно важное. На своей трибуне репортеры раскладывали телеграфные бланки, пробовали карандаши, самопишущие перья. За креслом одного из главных корреспондентов стояли рассыльные, — они должны были по частям относить его статью в телеграфное отделение. Он уже что-то быстро писал, изредка отрываясь от листка и обводя взглядом зал. «Знаю, знаю, наперед знаю», — думал Яценко: — «Настроение взволнованное и тревожное»... «Нарядные дамы, превосходные туалеты»... «Много представителей политического, литературного, ученого мира»... «Весь Париж собрался в великолепном зале дворца Шайо»... И все ты, братец, врешь: и зал не очень великолепен, и «представителей» как кот наплакал, и ни одной красивой дамы нет, а есть те самые старушки, что двадцать лет таскались по кулуарам Лиги Наций...»

Министр сидел за столом своей делегации и читал газету. «Сейчас он произнесет историческую речь», — злобно думал Виктор Николаевич. — «Утром он, должно быть, выпил две чашки крепкого кофе, тогда как врач ему разрешает только одну, и при этом вид его говорил, что он жертвует собой для родины, социализма и человечества. А жена горестно на него смотрела, болела душой, но понимала, что такой великий человек перед такой гениальной речью не может думать о своем здоровье, как оно ни необходимо родине, социализму и человечеству. За кофе он ничего не ел, как знаменитые певцы не едят перед спек-

таклем. Затем он еще раз пробежал конспект, попробовал голос и продекламировал одно из самых сильных исторических мест. В своей стране он в парламенте говорит не совсем так, как на митингах, на митингах не совсем так, как на партийных собраниях, а на партийных собраниях не совсем так, как на обедах. Обеденные речи ему особенно удаются, там нужно шутить, а он специалист по «здоровому юмору». Когда его обступают интервьюеры, он неизменно произносит одну из тех неумных и не остроумных шуточек, которыми все они отвечают журналистам, если не хотят делиться с ними своими мыслями и тайнами величайшей важности. А в ООН они еще не знают, нужен ли здоровый юмор, и как тут надо говорить: как в парламенте, или как на партийном собрании, или как на обеде. Волнуется? Нет, очень волноваться он не может: он выступает с важнейшими речами не реже двух раз в месяц. Думает о том, что скажет? Тоже нет, думать он не умеет, за него думают другие, думает аппарат, да у него и нет ни единой свободной минуты из-за тех бесчисленных мелких дел, которые и выдающемуся человеку не дали бы возможности серьезно обсудить то, что происходит в мире»...

Начался несложный ритуал, которым открывалось заседание. Председатель поднялся на эстраду, сел в кресло с высокой спинкой, придвинул к себе звонок и карандаш, сказал несколько слов. Все было просто и торжественно. «По обстановке это напоминает судебное заседание, нехватает только «суд идет!» — думал Яценко все более раздраженно. — «Они и в самом деле работают под международный трибунал. Думают, что благодаря их трибуналу опасность войны меньше. На самом деле верно обратное. Именно здесь, в этой ярмарочной обстановке, на «мировой трибуне» и в «кулуарах», завязываются худшие интриги, создаются соперничества и антипатии, приобретают огромную важность соображения «престижа»,

обостряется мстительность, политические обиды дополняются личными. Либералы требуют, чтобы «все делалось открыто, под контролем общественного мнения». Но, во-первых, и здесь главное делается тайно, за кулисами, а во-вторых, общественное мнение хорошо тогда, когда оно определенно высказывается в голосованиях, здесь же оно может высказываться только в газетах, а газеты все между собой не согласны, и ничего тут общественное мнение контролировать не может. В общем дело сводится к тому, что каждый маленький актер, попавший на парадный спектакль с рецензиями во всех газетах, больше всего боится, как бы не осрамиться, и готов на что угодно, лишь бы рецензии о нем оказались возможно лучше. В мире было бы много спокойнее, если б эти красавцы сидели у себя дома, сносились через старых, тихих послов, о которых рецензий почти никогда не пишут, и сносились не по телеграфу, а по простой почте. Именно эта ярмарочная атмосфера скорее может вызвать войну, чем разные, будто бы неразрешимые, конфликты, чем борьба за рынки, ничего не стоящие по сравнению с расходами одного дня войны. Мне случалось бывать здесь на заседаниях, на которых за несколько часов не говорилось ни одного слова правды, а это, видит Бог, трудное дело: сочетать с лживостью общие места. Они подали миру великую надежду, которой осуществить не могут. И быть может, никогда в истории не существовало такой школы лицемерия, как эта организация: не может быть настоящим либералом и демократом человек, который семь раз в неделю говорит: "Bonjour, mon cher Vichinsky!" А иначе он здесь поступать не может, и тем хуже для Объединенных Наций и для него, так как он неизбежно становится циником, если и не был им раньше. И главное, самое главное, это учреждение создано в единственный такой период новейшей истории, когда оно быть создано не могло. В 1914 году такая

организация могла бы действительно спасти мир. Теперь же она рано или поздно вызовет жестокое всеобщее разочарование. После Лиги Наций и ООН едва ли будет у людей охота начинать дело в третий раз. Они только компрометируют идею мирового парламента. И безмерно преувеличивают они значение ООН в смысле пропаганды. Я за два года не слышал тут ни одного яркого запоминающегося слова. Да и роль пропаганды вообще далеко не так велика, как обычно думают люди. На этой «мировой трибуне» она ведется всеми так плохо, что почти никакого значения не имеет»...

В зале раздались рукоплескания, впрочем не очень сильные. Министр шел к эстраде. Аплодировали три четверти зала. Советский блок не аплодировал. «Ох, будет мертвая скука», — подумал Яценко, нацепив наушник и подвинув к себе рупор громкоговорителя. То же самое сделали другие переводчики. Министр устроился на трибуне и переменил очки. Он умел читать по бумажке так, что казалось, будто он не читает, а говорит.

Начал он с учтивых слов, с комплиментов по адресу противников. «Так, так, отлично», — думал Виктор Николаевич, с совершенной точностью переводя каждое слово оратора: вначале это бывало нетрудно, он выбивался из сил только после часа работы. К тому же министр говорил медленно. На трибуне публики новые посетители ловили каждое слово, поправляли тяжелые наушники, на мгновение их приподнимали. Однако минут через пять по залу прошла первая легкая волна разочарования.

— ... Все же вчера, когда я слушал эту блестящую речь, — сказал министр, сделав коротенькую передышку после комплиментов, — когда я слушал эту блестящую речь, меня мучило одно сомнение. Я спросил себя, — он еще помолчал несколько се-

кунд, показывая, что сейчас будут сказаны важные слова. — Я спросил себя: что, если эта речь ставила себе единственной целью пропаганду! Что, если ее цель заключалась в пропаганде и только в пропаганде!

Когда министр хотел увеличить силу своих слов или высказать суждение особенной важности, он не только повышал голос, но повторял одну и ту же фразу и подбирал синонимы. Переводчики знали эту черту его красноречия и очень ее ценили: она облегчала перевод. Некоторые из них старались и умели передавать не только слова говоривших делегатов, но и их интонацию. Особенно хорошо это делал переводчик на испанский язык. — “Consiste en propaganda y nada mas que en propaganda”, — с негодованием и даже с легкой угрозой сказал он, повысив голос совершенно так, как министр. Китаец, волнуясь и размахивая руками, кричал в рупор что-то непонятное. По лицу советского переводчика было ясно, что он глубоко возмущен клеветой: как можно, сохраняя хоть следы совести, приписывать главе делегации СССР намерение вести пропаганду! — но что-ж делать, по долгу службы он обязан переводить даже такие гнусности. «Обратите внимание, как оригинально и глубоко то, что он сказал!» — вставил переводчик-шутник, прикрыв рукой рупор. Переводчики порою забывали это делать, и изредка случались неприятности, вызывавшие сначала недоумение, а потом хохот у публики.

— ... Но подумал ли уважаемый делегат Союза Советских Социалистических Республик, — уже не сказал, а воскликнул министр, — подумал ли он, что на всякую пропаганду можно ответить контрпропагандой!

В зале раздались рукоплескания. Публика немножко оживилась: уж не начинается ли балаган? Оживи-

лись и репортеры: из этой фразы можно было сделать подзаголовок, хотя он в одну строчку не уместился (заголовков в две строчки редакции не любили). “...A cada propaganda se puede cotestar por contra propaganda!” — воскликнул испанец. В эту минуту дверь приотворилась, в ложу скользнул опоздавший переводчик. Он с виноватым видом развел руками, мгновенно нацепил наушник и отстранил Яценко от громкоговорителя. Переводчикам не полагалось меняться во время речи, но публика на это внимания не обращала. То, что новый переводчик не слышал начала речи министра, не имело никакого значения: он мог начать перевод хотя бы со середины фразы. Яценко с удовлетворением уступил ему место. «Повезло: не буду и сегодня переводить Андрея Януарьевича...»

— ...Подумал ли уважаемый представитель Союза Советских Социалистических Республик, подумал ли он, что такой образ действий не может и не будет способствовать доверию в мире! Подумал ли он, что моральное разоружение является нужной, необходимой, обязательной предпосылкой разоружения материального! Подумал ли он, что без первого не будет и не может быть второго! Что без первого нет, не будет и не может быть второго!

Рукоплескания усилились и оживление увеличилось. Несомненно начиналась стычка. Аплодировали даже смельчаки в публике, хотя этого по правилам не полагалось. — “Sen el primero ne sera y no puede ser el segundo!” — грозно кричал испанец и последнее слово его перевода совершенно совпало по времени с последним словом оратора, точно испанец заранее знал, что скажет министр (как специалист, Яценко не мог не оценить красоту работы). «В особо важных случаях для них, вероятно, готовят речи другие. Это, должно быть, вначале довольно неловкое чувство: восклицать то, что для тебя написал сек-

ретарь. Впрочем, он может, конечно, и сам написать свою речь. В парламенте он часто тут же отвечает оппонентам или на «возгласы с мест». Бывает, разумеется, и так, что эти «возгласы» заранее подготовлены по взаимному соглашению... Они правят миром, а какие у них для этого права? Разумеется, очень хорошо, что к власти приобщаются новые люди: «каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл», и т. д. Но талантов у них нет, а маршальский жезл они получают очень легко. Они способствуют идущему в мире процессу огрубления жизни. В сущности все то, что теперь делает это учреждение, в былые времена так же хорошо или так же плохо делали большие государства, — как тогда говорили «концерт великих держав». А что тогда обходились без Ливанов, так от этого никому хуже не было, даже Ливанам. И правители тогда были не глупее нынешних. Вдобавок, прежним министрам незачем было доказывать народу и особенно своим подчиненным, что они «настоящие патриоты» и «настоящие государственные люди». Нынешние же все время стараются показать «мы, мол, знаем все тонкости великодержавного ремесла». Да и теперь Черчилю и генералу Маршаллу этого доказывать не надо, поэтому они гораздо свободнее и даже либеральнее, чем министры из тех, что в молодости считались революционерами и вдруг сразу превратились в Макиавелли. У большинства из них и вид такой, точно они еще не опомнились от радости: отдельные аэропланы и вагоны, шифрованные депеши, встречи и проводы на вокзалах. В политике почти все — «парвеню», но эти, новые, в особенности. Вдобавок, предполагается, что каждый из них знает все: сегодня он министр иностранных дел, а завтра будет министром финансов или юстиции. В действительности же он ничего не знает, так как в первую половину своей жизни занимался совершенно другим делом, выработал себе другие навыки «мысли», при-

обрел другие познания, ненужные, а иногда и вредные для его нынешней работы. А так как они сами не могут этого не понимать, то они бессознательно на новой службе исполняют все то, что им подсказывают их профессионалы-подчиненные. Один был членом рабочего союза, другой военным, третий банкиром, четвертый адвокатом, пятый грузчиком, — думал Яценко, переводя взгляд с одного известного делегата на другого, — и в своей области они, конечно, компетентны, а некоторые и замечательные специалисты. Но пожилой человек, становясь министром, не может себя переделать, приобрести новые привычки рассуждения, да еще в год или два, а они редко остаются у власти много дольше, и человечество не может ждать, пока они научатся своему делу. Говорят, их преимущество именно в том, что они «свежие люди», что у них нет профессиональной деформации. Но, во-первых, никаких свежих мыслей у них нет, а во-вторых, они тотчас подчиняются профессиональной деформации своих подчиненных. Те чему-то учились, сдавали экзамены, могут перечислить все пункты какого-нибудь договора Сайкса-Пико и знают, когда и между кем был заключен, например, Утрехтский мир... Не очень хорошо, конечно, шло дело при Верженнах, Таллейранах, Меттернихах, но у них хоть не было такого невежества, дилетантизма, самоуверенности от внезапно доставшейся власти... Да, они все здесь делают, что могут, но не могут они почти ничего, сколько бы ни притворялись, будто Ливан и Соединенные Штаты имеют у них одинаковые права, будто это вполне отвечает демократической идее и будто «концерт великих держав» был одно, а они совершенно другое. Дай им Бог успехов и благополучия, тем более, что при них кормится множество людей, в том числе и я... Однако я долго при них кормиться не буду, чтобы не заболеть разлитием желчи. Мое решение принято»...

Он вспомнил о предложении Пемброка, о своем близком отказе от службы — и настроение у него изменилось. Яценко никак не считал себя, да и не был, неврастеником, и то, что он порою называл «припадками неврастенического анархизма», у него скоро проходило. «Разумеется, я очень сгущаю краски, и нет ничего бесполезнее «кожного», писательского подхода к политическим людям. Точно я не знаю, что и в работе Объединенных Наций многое разумно и справедливо. И уж во всяком случае нельзя нападать на них и на демократию за то, в чем они не виноваты, нападать на них одновременно справа и слева. Нельзя также в глубине души рассматривать сомнительный анархизм как патент на умственное благородство или на повышение в человеческом чине. В этой организации одинаково мало нужны и анархисты, и реакционеры. Да и в самом деле, что можно теперь предложить вместо Объединенных Наций? Идеи Крапоткина? Это в нынешней-то обстановке! Или же Верженнов и Таллейранов? Но им и неоткуда взяться, и песенка их спета, и в их политическую могилу давно вбит осиновый кол, тогда как для этих он еще только готовится, да и то не наверное»...

— ... Но как же может произойти моральное разоружение, если некоторые члены Совета Безопасности делают все возможное, чтобы ему помешать? — спросил министр. Виктору Николаевичу показалось, что он говорит теперь другим, не эстрадным, а простым человеческим голосом. По залу пробежала новая, другая волна, как будто впервые слышались настоящие, правдивые слова, отразившие мировую драму. «Да, я и к нему несправедлив. Это и легко, и пошло — во всем находить комедию и фальшь. Конечно, он специализировался на общих местах, но в политике и вообще, кроме общих мест, почти ничего нет, и свое общее место в ней надо раз навсегда выбрать и тогда защищать его всячески — или уж

совершенно в нее не вмешиваться. Человек же он не-глупый и честный, он гораздо лучше меня знает то, что происходит за кулисами, и, вероятно, переживает все это еще острее, чем я, из-за лежащей на нем ответственности, быть может, и по ночам не спит? Чем же он виноват?.. Вот кто виноват в том, что все идет к чорту и что рушится тысячелетняя цивилизация».

Глава советской делегации встал и направился к трибуне. Аплодировал советский блок. Все другие делегаты угрюмо молчали. «Он мало изменился, только поседел. Так же будет «бросать чеканные фразы», — по старой привычке под Троцкого... Та же гневная улыбочка, так же держит бумагу между пальцами левой руки, так же расставляет пальцы правой, ладонью к ровненькому, в косую клеточку галстуху. Только теперь, кажется, галстух шелковый... Все тот же и говорит так же. И ангельский голосок тот же, и те же выкрики! — с ненавистью подумал Яценко. — Он не очень дурной оратор, это нельзя отрицать, и все свои дела изучает превосходно. На Бухаринском процессе он даже поразил меня своим знанием следственного материала; это было ему и ненужно, так как там было простое убийство по приказу начальства. Так и теперь, он изучил обвинительный акт, «досье западных империалистов и поджигателей войны». Так, так, Форрестол авантюрист, и Ройалл тоже авантюрист. Так им и надо, если они могут все это проглотить, — те, прежние, таких слов не проглотили бы. О московских подсудимых он говорил, помнится, «подлые авантюристы», но хорошо и так, пусть, по крайней мере понемногу установится тон... На процессе этот бывший меньшевик поносил Бухарина и Рыкова за меньшевистский уклон, зная, что они не посмеют ему напомнить об его прошлом. Часть будущих историков изобразит его мелодраматическим злодеем, как не раз изображали Фукье-Тенвилля или

Фуше. Между тем и в тех ничего мелодраматического не было, они не были ни садисты, ни изверги, они просто были чиновники-карьеристы, постепенно привыкшие к своему делу. Им нужно было выходить в люди, — «что ж, все это делают, и я не хуже других, а идейное оправдание всегда можно сочинить: и я сам сочиню, и находчивый биограф придумает». В той исторической обстановке, где за готовность к таким услугам щедро дают награды, Фукье-Тенвилли появляются неизбежно, и спрос на них далеко отстает от предложения. А выбор исторического мундира дело личного вкуса: кто играет под «фанатика», как Сен-Жюст, кто под «человека, добровольно принявшего крест», как Дзержинский с золотым сердцем, кто под «веселого циника», как Фуше, кто под «мыслителя, понявшего смысл великого социального процесса», как, повидимому, этот. И свою роль он играет недурно, он способный человек... Да, да, совсем не изменился, даже интонации прежние, — думал Яценко, вспоминая то заседание процесса, на котором он был. — «Подсудимый Плетнев, каков был ваш образ мыслей в ту пору, когда Ягода пригласил вас, чтобы сговориться с вами об убийстве Куйбышева и Горького? Были ли у вас антисоветские тенденции?» — «Были». — «Вы их скрывали». — «Да». — «Каким способом?» — «Часто повторял, что я поддерживаю все меры советского правительства». — «А на самом деле?» — «Я не был советским человеком». — «Значит, вы занимались камуфляжем?» — «Да». — «Двурушничали?» — «Да». — «Лгали?» — «Да». — «Обманывали?» — «Да»... Так так, продолжай. — «Подсудимый Маршалл, есть ли у вас антисоветские тенденции?» — Генерал, кажется, еще не сознался, слушает очень хмуро. Его труднее запугать, чем профессора Плетнева... Публика притихла... Да, все почувствовали трагедию, почувствовали, что дело идет к небывалому в истории кровопролитию, от которого

если что еще и может спасти, то уж никак не это несчастное учреждение с прекрасной основной идеей».

Впоследствии Яценко сам с некоторым недоумением думал, что конец этого заседания сыграл огромную роль в перемене, случившейся в его жизни. Он встал, на цыпочках вышел из ложи, поднялся по лестнице. Издали доносился треск пишущих машин.

III.

— Да, да, я в полном восторге, — сказал Пемброк, когда они сели за стол в ресторане делегатов, около какой-то раззолоченной статуи. — Этот министр произвел на меня сильное впечатление. Кстати, большевики здесь завтракают? Ведь никогда не знаешь, кто сидит рядом с тобой.

— Нет, они ездят к себе в посольство.

— Верно, они боятся, что их здесь отравят. И как вам понравился министр? Правда, он говорил превосходно?

— Ничего.

— Только ничего? По-моему, отлично! Как жаль, что он не представляет великой державы! Он, часом, не марксист? А вы, верно, бывший полусоциалист, это лучше... Каюсь, я и Маркса не очень люблю. Умный был человек, хорошая еврейская голова, а наделал много зла. Конечно, я не смешиваю социалистов с коммунистами, — сказал Альфред Исаевич, протянув вперед обе руки ладонями к своему собеседнику: этот жест смягчал его слова, на случай, если бы Яценко все-таки оказался социалистом. — Практика у них разная, методы разные, я знаю, но так сказать, их боги, их ангелы, даже их обряды одни и те же. У этих «Интернационал», и у тех «Интернационал». Хоть бы еще песенка была хорошая, а то ведь слушать противно. Они режут друг друга под одну и ту же музыку. Но «почти-социалисты» хороший народ. Так, вот, я ведь в Петербурге всех знал. Моей специальностью в газете были кулуары Думы и боль-

шое интервью. Я и всех рептильников знал, Бог с ними. А настоящие русские интеллигенты были все социалисты, или полусоциалисты. Зато они теперь страшно поправились, даже для меня. Они теперь всё зло в мире приписывают коммунистам.

— Не всё, а три четверти.

— Это уже лучше. Вот, например, за муху це-це или за Ку-Клукс-Клан большевики не отвечают, — сказал Пемброк. В разговоре с Делаваром он нападал на него с п р а в а и действительно попутчиков терпеть не мог. Но теперь перед ним был русский эмигрант, Альфред Исаевич нападал на него с л е в а не без удовольствия: эта роль была ему в Холливуде непривычна. — Одно только я вам скажу. В вас, по моему, есть задатки замечательного сценариста, к этому мы сейчас перейдем. Но если вы будете работать в кинематографе, то вы должны быть сдержаннее: там полно попутчиков и они вас заедят!

«Вот, вот, и здесь», — подумал Яценко.

— Я именно для того и поселился в Америке, чтобы делать что мне нравится и ни с какими попутчиками не считаться.

— И вы совершенно правы, — сказал одобрительно Пемброк. — Соединенные Штаты самая лучшая и самая свободная страна в мире. Я говорю только о необходимости соблюдать известную сдержанность... Впрочем, теперь и у нас начинается другая волна. Через год, я уверен, в Холливуде настроение изменится. Так вот, — сказал он поспешно, не желая продолжать разговор об этом предмете, — так вот, возвращаясь к Объединенным Нациям... Я сам кстати иногда называл их Разъединенными Нациями, а теперь беру все назад. Это чудное учреждение! И я теперь уверен, что никакой войны не будет! Большевики приняли грубый тон, но что же с этим считаться? Важно то, что они воевать не хотят, значит и не могут. Как вы думаете?

— Да, очень может быть, — сказал Яценко, подавляя зевок. Он сто раз это слышал, читал и сам говорил.

— И поверьте, этот трибунал во дворце Шайо уже оказал на них отрезвляющее действие. Все-таки это первый международный парламент в истории, и он делает войну невозможной...

— Почему первый? Второй. Первый был в Женеве и он тоже делал войну невозможной.

— Ну, вот! Вы настроены скептически. Поверьте мне, старому человеку, нет ничего хуже и бесплоднее скептицизма, он вам наделает много вреда в жизни. Мы, американцы, особенно его не любим. Надо верить в жизнь, Виктор Николаевич!.. Нет, повторяю, я просто в восторге. И организовано тут все отлично. А еще говорят, будто французы плохие организаторы! Между тем даже у нас было бы не больше комфорта и удобств. Скептики утверждают, будто открыли новую говорильню, вдобавок очень дорогую. Какой вздор! Ни одно великое дело не создавалось сразу, трения и неудачи всегда неизбежны, но роль этой организации уже очень велика и будет расти с каждым днем. А расходы на нее ведь это сущий пустяк. Осуждать все очень легко, а что можно предложить взамен этого?.. Но я говорю против своих интересов, а может быть, и наших общих. Я восхваляю, правда совершенно искренно, это учреждение, между тем я, как вы уже знаете, хочу предложить вам из него уйти.

— Вот как, — равнодушным тоном сказал Яценко и подумал, что начинает усваивать приемы делового человека. — Но, давайте, сначала закажем завтрак... Я хочу угостить вас превосходным вином. У них удивительное Montrachet 1944 года...

— Как, это вы меня угощаете? — весело спросил Альфред Исаевич. Он не был скуп, но забавлялся, когда его, миллионера, угощали небогатые люди. Говорил при этом почти всегда: «Я на все согласен, со

мной как с воском». Сказал и на этот раз. Когда завтрак был заказан, он сразу начал деловой разговор.

— Сегодня, Виктор Николаевич, я окончательно утвердился в своей мысли. Я хочу создать грандиозный мировой фильм именно на эту тему: об Организации Объединенных Наций!

Яценко взглянул на него с изумлением.

— Об Организации Объединенных Наций?

— Так точно! Сегодня, — сказал Пемброк, часто говоривший «сегодня» вместо «теперь», — в мире есть только две великие идеи: это разложение атома и Разъе... и Объединенные Нации. От них зависит жизнь и смерть человечества. Вот о чем надо написать фильм! Вы думаете, что Америка материалистическая страна? Так думают иностранцы и «зеленые»! А я вам скажу, что нет более бескорыстного, великодушного и увлекающегося народа, чем наш!

— То есть, чем американский? Да, это так.

— Разумеется, чем американский, потому что я стопроцентный американец еврейской религии. Я думаю, что эти два элемента можно скомбинировать: атомную бомбу и Объединенные Нации. Конечно, совершенно необходимо, чтобы при этом был конфликт и был авантурный элемент, иначе это было бы очень скучно. Я хочу, чтобы карьера Пемброка закончилась грандиозным идейным фильмом! Чтобы ничего похожего не было в истории мирового кинематографа со времени «Большого Парада» Кинг Видора и «Рождения Нации» Гриффита. Нет, больше! Мы сравняемся с Сесилем Б. де Миллем, а Сесили Б. де Милли рождаются раз в столетие! Мы дадим и атомную бомбу, и Объединенные Нации!

— Вы думаете, что такой фильм может иметь успех?

— Огромный!

— Денежный?

— Конечно и денежный, — ответил Альфред Исаевич. — Когда идея хороша, то фильм дает и большой доход, — скороговоркой пояснил он. — Это Делавар уверяет, что его деньги не интересуют. Если вам деловой человек говорит, что его не интересуют деньги, то, поверьте, это значит, что он хочет заработать сто процентов на капитал! А я честно говорю, что я без прибыли работать не хочу и не могу: за мной стоит финансовая группа, она мне верит, и я должен оправдать ее доверие. Кроме идеи и артистов, как я вам говорил, нужна хорошая фабула.

— Как же вы к Организации Объединенных Наций пришьете хорошую фабулу? Вы не хотите, чтобы Вышинский зарезал генерала Маршалла из ревности к индусской делегатке?

— Нет, я этого не хочу. Но фабула должна быть. Даже в Священном Писании есть фабула, и без нее даже оно не завоевало бы мира... Пока у меня есть, конечно, только очень общие идеи, которые моя экипа и должна разработать... Вы говорите, откуда возьмется фабула? Но вот позвольте: мы с вами сходимся на том, что Организация спасает мир от ужасов атомной войны, правда?

— Допустим, хотя...

— Никаких хотя! Надо, значит, показать на экране, от чего именно организация его спасает.

— То есть, показать атомную войну? Это невозможно по тысяче соображений. Даже, я думаю, по цензурным. И притом как же это? Если Организация спасает мир от атомной войны, значит атомной войны не будет. Тогда что же показывать?

— Дайте мне досказать мою мысль. Я не так глуп, как вам, быть может, кажется, и, смею добавить, я знаю кинематограф немножко лучше, чем вы... Мы покажем не атомную войну, а людей, которые хотят похитить у нас ее секреты.

«Так, так», — подумал Яценко.

— Значит, вы хотите сделать шпионский фильм? Что же, все зависит от того, какой именно.

— Вот это вы говорите правильно!

— Все зависит от того, какой именно, — настойчиво повторил Яценко. — До сих пор ни одного художественного фильма о шпионаже не было или по крайней мере я таких не видел...

— Не было! Я тоже не видел. И мы такой сделаем! Таким образом сценарий будет, так сказать, иметь два центра, оба с жгучим мировым интересом. Нужна фабула! Полцарства за фабулу! Или не полцарства, но очень хорошие деньги. И я подумал о вас. Вы новый человек, вы внесете свежую струю. У вас есть культура, а гэг-и мы вам дадим. Займитесь кинематографом сначала так, и года через два вы будете виднейшим членом моей голливудской экипы! — сказал Альфред Исаевич, и по его интонации Яценко понял, что в кинематографе стать членом экипы это как бы перейти из кордебалета в балет. — Моя экипа считается первой во всем Холливуде, то есть во всем мире! Вы, конечно, понимаете, что над таким грандиозным фильмом вы не можете работать один. Работать будет целая экипа, я готов включить вас в мою экипу, Виктор Николаевич! Я отлично знаю, что вы думаете. Вы думаете, старик Пемброк предлагает мне заняться пошлостью: всякий шпионский фильм это пошлость! А вы помните, что сам Чехов всю жизнь мечтал о том, как написать хороший водевиль! И может быть его на беду от этого отговорили разные пуристы, думавшие, что всякий водевиль непременно пошлость. Так что же вы думаете о таком сценарии?

Лакей разлил по бокалам вино. Другой лакей подкатил столик с закусками.

— Так сразу не скажешь, — разочарованно ответил Яценко.

— «Так сразу»! Говорите не «так сразу», а подумавши.

— Вы хотите, чтобы работало несколько человек, то, что вы называете экипой.

— Почему «я» так называю? Так это все называют, — подозрительно вставил Пемброк, точно опасался, что Яценко не причисляет его к интеллигенции.

— А вот я хотел бы работать в одиночку.

— Вы слон-пустынник, — сказал Пемброк, — А разве у вас что-нибудь есть? Какой-нибудь ценный сюжет?

— Не только сюжет. У меня есть вторая пьеса, я ведь вам говорил в Ницце.

— Опять пьеса? Отчего бы вам не писать прямо сценарии?

— Вы знаете, я давно думаю, что надо объединить жанры. Должно быть сочетание пьесы с фильмом и рассказом.

— Значит, это не для экрана?

— Пожалуй, и для экрана, но только, если найдется герой-продуктор, который решится на реформу кинематографа.

— Вот вы так всегда, начинающие сценаристы! Еще ни одного сценария не написали, а думаете устроить революцию в кинематографе. Я им занимаюсь тридцать лет и пока революции не произвел!

— Дело идет не о революции, а о нововведении. Есть ведь вещи, которые нельзя показать только на экране и нельзя показать только в рассказе. Отчего же их не объединить? В середине фильма кто-то читает. Публика не так глупа, как думают кинематографические люди: она отлично может слушать четверть часа и чтение. Идея моей пьесы: снисходительность к людям. Все мы хороши, надо очень многое прощать и другим.

— Это прекрасная мысль. Она может очень понравиться американцам! — сказал Альфред Исаевич. Яценко взглянул на него с худо скрытой ненавистью. — Но зачем что-то объединять?

— Мелодрама б ы л а не очень серьезным видом искусства, но теперь дело другое. Теперь жизнь показала такие ужасы и злодеяния, что мелодрама становится совершенно реалистичной. Заметьте, само по себе слово «мелодрама» значит только «музыкальная драма». Вы давно объединили экран с музыкой, отчего же вы не хотите объединить его с рассказом? Конечно, в рассказе действуют те же лица, что в фильме.

— Но зачем разбивать впечатление? Если рассказ драматичен, то отчего не сделать из него часть сценария?

— Оттого, что это условно, утомительно, не похоже на жизнь. В жизни люди не только разговаривают, не только целуются и не только стреляют из револьвера. У них есть мысли, есть психология, есть то, что экран передать не может или может только очень элементарно. Есть вещи, которые при передаче на экране неизбежно опошляются. И театр имеет тоже свое настроение, не совпадающее с настроением фильма. Одним словом, по-моему, должен быть ви-ден и автор: недостаточно упомянуть о нем вначале в объявлении рядом с костюмерами и фотографом. Ну, вот, например, герой моей пьесы носит неестественное странное имя. В фильме я не могу объяснить, почему он принял такое имя. Не могу рассказать и его прошлое.

— Напротив, это очень легко.

— Да, при помощи разных шаблонных приемов: воспоминания героя, сон или что-либо еще более заезженное и тошнотворное. Отчего не объединить разные жанры?

— Пиранделло, Пиранделло, — пробормотал Пемброк. — Кажется это у него какие-то персонажи ищут какого-то автора, правда?

— У меня никакие персонажи никакого автора не ищут. Пиранделло тут совершенно ни при чем, —

сердито сказал Яценко. — И я думаю, что это может иметь и успех. Дело для меня впрочем не в успехе, а в моих общих воззрениях на искусство. Я думаю, что объединение в одном произведении разных видов искусства может быть чрезвычайно плодотворно. Вспомните, какое огромное значение имело когда-то создание оперы, объединившей драму с музыкой. В меньшей степени то же относится и к балету, который впрочем объединил виды искусства совершенно разного уровня: танцы не идут в сравнение ни с музыкой, ни с живописью, ни с литературой, даже в ее принятой балетом детской форме. Я убежден, что и роман выиграл бы от сочетания с драмой: приемы этих двух искусств разные и каждое дало бы автору возможность по-разному осветить и уяснить душу действующих лиц. Согласитесь, что вообще ваши обычные кинематографические приемы и элементарны, и очень надоели. Когда, например, вы хотите создать «мрачное настроение», у вас на экране сначала показываются н о г и приближающегося убийцы, а потом сам убийца. Пора бы придумать что-либо лучше.

— Я все-таки не очень понимаю. Что-то тут для меня слишком умное. Я продюсер, а не герой, и у меня есть компаньоны... Ну, хорошо, не будем пока об этом говорить. А конфликт у вас есть?

— Есть.

— Превосходно. Не расскажете ли содержание?

— Рассказать не так легко.

— Вы, может быть, думаете, что я у вас стащу сюжет? — благодушно спросил Альфред Исаевич. Яценко преувеличенно-весело засмеялся. — Ну, хорошо, покажите пьесу. Правда, грандиозный фильм, быть может, лучше ставить в Америке. Я еще немного колеблюсь. Финансовая группа уже почти создана. Разумеется, руководителем буду я. Я всегда так работаю, и, слава Богу, — он постучал по столу, при-

подняв край скатерти, — до сих пор ни один мой фильм провалом не был. Были фильмы, приносявшие миллионы, и были фильмы, приносявшие только приличную прибыль... Разумеется, к художественному успеху моих фильмов это относится еще больше. Я к тому же хорошо знаю критиков, знаю, что им нужно. Одним словом, я даю общие директивы. Вам, кажется, не очень нравится то, что я говорю? — спросил Альфред Исаевич и немного помолчал, вопросительно глядя на Яценко. — Но я могу вас уверить, что я с величайшим вниманием отношусь к чужой работе. Вы можете спросить в Холливуде кого угодно: «Что, Альфред Пемброк хам?» и вам все ответят: «Нет, Альфред Пемброк не хам, а джентльмен». И плачу я тоже лучше других. Коротко говоря, я вам предлагаю сотрудничество и работу. Я верю в ваш талант... Нескромный вопрос: сколько вы здесь зарабатываете?

— Я получаю около семи тысяч долларов в год, а во время разъездов еще и суточные, в Париже по три тысячи франков в день.

— Это недурное жалование, — снисходительно сказал Альфред Исаевич, — но я вам предложу для начала (он подчеркнул эти два слова) пятьсот долларов в неделю. Разумеется, вам пришлось бы бросить Объединенные Нации. Это вас пугает?

«Ну, слава Богу! Значит, и это устроено!» — подумал Яценко с чрезвычайным облегчением. Он не ожидал столь большой цифры. — «Это важно не для меня, а для Нади».

— Нет, это меня не пугает. Они мне осточертели.

— Осточертели! — укоризненно повторил Пемброк. — Издеваться над Объединенными Нациями то же самое, что издеваться над Холливудом. Этим тоже только ленивый не занимался, и это тоже несправедливо.

— Во всяком случае, я должен вас предупредить:

я очень независимый человек и по природе, и потому что я пробыл столько лет в СССР.

— Это скорее был бы довод в объяснение того, почему вы не независимый человек, — сказал, смеясь, Пемброк.

— Я смотрю на годы, проведенные в СССР, как Достоевский мог смотреть на годы, проведенные им на каторге. «Вот кого вспомнил! Ох, мегаломан!» — подумал весело Альфред Исаевич. — Повторяю, у меня этой нашей профессиональной писательской мегаломании нет и следа, — без полной уверенности сказал Яценко. — Там я только думал, а писать не мог ни строчки. Но я для этого и бежал за границу. Оказавшись в свободной стране, я твердо решил прожить остаток жизни вполне независимым человеком...

— Это прекрасная мысль, и, поверьте, я ни на чью независимость не посягаю. Я и сам терпеть не могу «иес-мэнов». И в конце концов, если мы не подойдем друг к другу, мы расстанемся и, надеюсь, друзьями. Что же вы скажете?

— Работать надо было бы в Холливуде?

— Позднее да. Но сейчас крутить мы будем не в Холливуде, а во Франции. У вас есть квартира в Нью-Йорке?

— Есть. Маленькая, холостая.

— Контракт я предложил бы вам на год, разумеется с продлением, если мы подойдем друг к другу, — учтиво добавил Альфред Исаевич. — А если нет, то ведь за этот год вы заработаете двадцать шесть тысяч... Предупреждаю вас, что никаких налоговых комбинаций мы не делаем. Мы обязаны публичной отчетностью, и...

— Я налоги всегда платил без каких бы то ни было комбинаций.

— Как и я... Надеюсь, вы не обиделись? Но ведь, кажется, жалование служащих Объединенных Наций не облагается налогом?... Одним словом, я вам пред-

лагаю, по-моему, подходящий джаб*). А если вы делаетесь знаменитым сценаристом, то на вас польется золото. В Холливуде есть сценаристы, зарабатывающие в год до ста тысяч.

— Я подумаю, — сказал из приличия Яценко, чтобы не соглашаться тотчас. Он чувствовал все большее смущение. «Так верно чувствует себя женщина после первой измены мужу».

— Подумайте. Покажите мне вашу вторую пьесу, мы поговорим, я вас кое с кем познакомлю. В нашей группе я за собой оставил 51 процент. Французскую группу составляет Делавар, которого вы знаете.

— Да, я его знаю, — сказал Яценко, опять с неясным неприятным чувством.

— Что вы делаете в воскресенье днем? Приходите, мы поговорим, а потом я вас угощу обедом.

— Именно в воскресенье я не могу. Приглашен к Николаю Дюммлеру. Знаете его?

— Этого философа-анархиста? Кто же его не знает! Так он жив еще?

— Не только жив, но свеж, как мы с вами, хотя ему далеко за восемьдесят лет.

— Свеж, как мы с вами? — радостно повторил Альфред Исаевич. — Далеко за восемьдесят лет? А как он себя вел при немцах?

— Это, кажется, ваш вечный вопрос, но...

— Согласитесь, вопрос довольно существенный!

— Вполне соглашаюсь, но как же можно задавать его о таком человеке, как Дюммлер. Разумеется, он вел себя безукоризненно! Я в жизни не встречал более благородного человека! — с жаром сказал Яценко.

— Я тоже слышал, что Дюммлер хороший человек. Он был очень известен, когда я только что приехал из провинции в Петербург начинать свою карье-

*) Дело.

ру публициста. Я его раза два видел на собраниях в 1905 году, он тогда вернулся из заграницы. Как чистого теоретика, его царское правительство не преследовало. Кроме того, он сын министра Александра II. Тогда, помнится, говорили, что он вивёр? Какие-то у него были сногшибательные романы, тоже что-то страшно благородное... Он был очень богат. А теперь он верно нуждается? Если вы делаете сбор в его пользу, то я охотно приму участие. У меня есть пиэтет к таким людям, и я помню, что он не только никогда не был антисемитом, но и подписал протест против кишиневского погрома. Вас тогда верно еще на свете не было!

— Нет, он не нуждается.

— Слава Богу!.. Так если вы в воскресенье заняты, — давайте встретимся в начале будущей недели, я вам позвоню. И я очень, очень рад, что мы в принципе договорились. Вы об этом не пожалеете, даю вам слово Пемброка! — сказал с чувством Альфред Исаевич.

IV

Шарль Делавар не имел квартиры в Париже. Он занимал номер из четырех комнат в одной из лучших гостиниц. Имел также замок в Люксембурге, — был люксембургским гражданином. Это было ему удобно в отношении налогов. Дела у него были везде, но главным образом во Франции.

Репутация у него была не слишком хорошая. Отзывы о нем обычно начинались со слов «Да, но»: «Да, но вы не можете отрицать, что он человек не злой», или: «Да, но вы знаете, как он щедр и отзывчив», или: «Да, но зато какой деловой человек». Ничего особенно худого о нем никто точно не знал. Биржевых людей раздражало, что он, занимаясь такими же операциями, как они, все же создал себе репутацию «человека с идеалистическим мировоззрением». Впрочем, они слова эти произносили редко и неуверенно, как, например, могли бы произносить слова «субдолихоцефал» или «поверхность постоянной отрицательной кривизны». Многие считали его очень умным человеком. Репутация «умницы» распространяется в мире так же легко, как репутация «дурака», — ошибок случается в обоих случаях приблизительно одинаково.

У большинства людей с запасом эгоизма, превышающим средний, т.е. чрезвычайно высокий, уровень, эгоизм умеряется тем, что они заботятся о своей семье. У Делаvara семьи не было. Действовал он в жизни главным образом по инстинкту. Он не только не говорил, но и не думал, что самые важные в мире вещи это деньги и реклама. Однако поступал он всегда так,

как если бы это было математически доказанной истиной, — сам он ее и не проверял, как не стал бы проверять, что дважды два четыре. Вопрос о том, зачем ему нужны еще сотни миллионов франков в дополнение к уже нажитым сотням миллионов, просто не приходил ему в голову; а если бы пришел, то он верно с недоумением ответил бы себе, что тут никакого «зачем» быть не может. Столь же бесспорно было то, что деньги и реклама тесно между собой связаны: при помощи денег реклама достается очень легко, а при помощи рекламы, хотя и далеко не с такой легкостью, можно наживать деньги. Конечно, реклама могла быть разной. Как все люди, он узнавал разве лишь десятую долю того, что о нем говорили. Как нормальному человеку, ему бывало приятно, когда о нем говорили хорошо. Но и когда говорили худо, это было все же много лучше, чем если бы не говорили ничего. Вдобавок он знал, что людей, о которых говорили бы одно хорошее, не существует. Писали о нем — пока — чрезвычайно редко. Поэтому каждому упоминанию о себе в газетах, даже короткому и незначительному, Делавар придавал неизмеримо больше значения, чем привычные к статьям о них писатели или политические деятели. Он с наслаждением мог перечитывать заметку в десять строк о том, что известным благотворителем Делаваром пожертвовано пятьсот тысяч франков на такое-то доброе дело. Раз в какой-то темной газетке его называли темным финансистом. Ему в голову не пришло усомниться, что заметка имела целью шантаж. Вопрос был: кто хочет денег, издатель или репортер, и надо ли дать деньги или нет? Некоторые финансисты в таких случаях платили. Немного поколебавшись, он решил не платить: о Наполеоне писали и не такие вещи. С легкой тревогой ждал продолжения заметок в газете и был несколько разочарован, когда больше ничего не появилось.

Жизнь его была почти всецело построена на тщеславии, и потому была счастлива; по тщеславию он был убежден в том, что все, даже враги, даже шантажисты, считают его гениальным человеком, а это убеждение укрепляло в нем тщеславие. Любую неприятность и любое несчастье он мог объяснить себе так, что удовольствие от них с ними мирило. Он любил радости жизни, но и они были у него сплетены с тщеславием так тесно, что никто не мог бы сказать, где начинается одно, где кончается другое. У него было немало любовниц и он много пил, но очень и это преувеличивал, — ему нравилась репутация кутилы. Из-за тщеславия же в его жизни занимали некоторое, правда небольшое, место и идеи. Он не интересовался литературой и ничего не понимал в искусстве, но делал вид, будто интересуется ими чрезвычайно. Некоторые из его знакомых говорили, что он «человек двух плоскостей», хотя это объяснение ничего не объясняло, да и было бы столь же верно в отношении большинства людей. Иногда Делавар говорил и не только о себе, но тогда говорил без интереса.

Как ни приятно было ему сознавать, что его считают гением, еще приятнее это было слышать. Нуждавшиеся в нем люди постоянно на этом играли. Наиболее бесстыдные или же наиболее уверенные в том, что любой человек способен проглотить любую лесть, называли его гениальным человеком в глаза, — обычно такие слова у них «вырывались», — эти при Делаваре преуспевали. Но после того, как он нажил большое богатство, не сделав ничего каравшегося законом или, по крайней мере, ничего строго им каравшегося, у него появились и искренние, правда немногочисленные, поклонники: они просто не допускали мысли, что можно нажить сотни миллионов и быть ограниченным или даже туповатым человеком.

Физическое сходство с Наполеоном действительно сыграло в жизни Делаваара немалую роль. В

люксембургском замке у него была большая библиотека. Он знал, что, кроме первых изданий и «переплетов эпохи», от влюбленных в книгу людей требуется еще какая-либо специализация, и стал собирать книги о Наполеоне. Имел даже наполеоновские реликвии. За большие деньги ему предлагали прядь волос императора, кому-то подаренную на острове Святой Елены. Этой пряди Делавар не купил: любил Наполеона только в период успехов; все, связанное со Святой Еленой, напоминало ему, что в конце концов и он может разориться. Читал он вообще немного: и времени не было, и не сделал себе с молодости привычки. Но о Наполеоне прочитал немало книг. В одной из этих книг он с огорчением прочел, что император в «инстинкт» не верил: «Надо обо всем долго думать, я думаю целый день, за делом, за едой, за разговорами». Это было неожиданно: инстинкт, по представлению Делаvara, был безошибочным признаком гения. Думать целый день он не мог и даже вообще занимался этим очень мало, но намекнул своим приближенным, что проводит день и ночь в размышлениях.

Делавар вставал рано и тотчас садился за работу. Секретарша приходила в восемь часов утра. Он очень заботился о своих служащих, они его любили и называли цифры его состояния (всегда преувеличенные и все росшие) почему-то с гордостью, точно это были их собственные деньги. Но работы он от них требовал немалой. Секретарей иногда задерживал до поздней ночи. Диктовал, расхаживая по комнате, самые обыкновенные письма. Но секретарша писала под его диктовку с выражением восторга на лице. Она его обожала. С женщинами у него были в запасе два тона: презрительно-наполеоновский и покорно-рыцарский. Но он так женщин любил, что с ними все же бывал приятнее и правдивее, чем с мужчинами. Секретарша, впрочем, не отличалась красотой;

с ней он был прост и ласков, говорил почти естественно: совершенно естественно он говорить не мог.

Когда хотел, Делавар умел быть очень мил и любезен. Он не был злым человеком: коэффициент недоброжелательности, дающий возможность различать и классифицировать людей, был у него незначителен: он почти никому не желал зла, кроме разве нескольких финансистов, да и тем желал зла лишь в меру: если бы они потеряли три четверти состояния, этого было бы для него достаточно.

Со своими врагами он умел быть резок и груб, но также без крайностей и больше потому, что таков часто бывал Наполеон. Да и большинству этих людей охотно все простил бы, услышав от них похвалы. Был чрезвычайно обидчив, но особенно злопамятен не был, любил делать друзей из врагов и справедливо считал это мудрейшей политикой. Ближайших своих помощников засыпал наградными деньгами, как Наполеон титулами и именьями своих маршалов. Делавар был от природы щедр и не забывал о своей голодной молодости. Кроме того, репутация грансеньера его соблазняла. Нередко давал деньги и без всякой рекламы: в конце концов все всегда узнавалось, и репутация благотворителя, у которого правая рука не знает, что делает левая, была самой лестной. Знал, что в некрологах услужливые люди в услужливых газетах именно скажут о нем, что он щедро, никому о том не говоря, оказывал помощь всем нуждающимся (и не объяснят при этом, откуда же им это известно). Впрочем, о некрологах он думал мало: реклама ему была нужна преимущественно при жизни.

Служитель принес снизу почту. Только что пришла телеграмма из Монте-Карло: старик Норфольк соглашался поступить в его секретариат, принимал предложенные ему условия, но требовал платного шестинедельного отпуска. В предприятиях Делавара служащим полагался только месячный отпуск. Тем

не менее он тотчас согласился и велел послать телеграмму: «Согласен. Приезжайте немедленно». В телеграммах соблюдал особенно сжатый даже для телеграмм, цезарский стиль. Норфольк очень ему понравился своим умом, ученостью и энергией. Теперь, для кинематографического дела, нужно было увеличить секретариат.

Важных писем не было. Несколько малоинтересных деловых предложений, несколько просьб о пожертвованиях, билеты на благотворительные вечера. Эти просьбы и билеты ему, как всем богатым людям, смертельно надоели. Считалось, что суммы до тысячи франков для него вообще никакого значения не имеют: о таких суммах его мог собственно просить всякий, как любой прохожий на улице может попросить у незнакомого человека спичку, хотя никогда не попросит папиросы. Делавар почти никому не отказывал, однако думал, что число просьб может быть бесконечно и что всему надо знать меру. Разумеется, он, как большинство богатых людей, определял размер пожертвования в зависимости не от того, на что просили, а от того, кто просил. Одна просьба была от какой-то принцессы и составлена в очень любезных выражениях. Он вспомнил, что Наполеон принцессам, надоедливо просившим его о портрете, дарил пятифранковую монету со своим изображением, и с усмешкой надписал карандашом на этом письме довольно крупную цифру; на других надписал цифры поменьше и отдал все секретарше.

Было еще письмо от Дюммлера. Тот просил непременно приехать в воскресенье, в пять часов, для выяснения вопроса о покупке дома.

Делавар не мог бы с точностью сказать, почему вошел в «Афины». Инстинкт сказал ему, что вокруг этого общества может создаться большое шумное движение, вроде экзистенциалистского. Он читал Дюма,

и из четырех мушкетеров ему особенно нравился Арамис, который в конце оказывался могущественным генералом иезуитского ордена, с таинственным перстнем, производившим магическое действие на людей. Первоначальный состав учредителей «Афины» был таков, что не очень трудно было стать ее фактическим руководителем, а после кончины Дюммлера и председателем. Наполеон как будто был масоном. Теперь участвовать в масонском ордене было слишком банально, да и выслуга высоких званий там шла слишком медленно. Делавар принял в дюммлеровском обществе должность *Garant d'Amitié* (титул, впрочем, ему не очень нравился: именно напоминал что-то масонское и не годился для заметок в газетах). Шумное движение пока не создавалось, дело росло медленно, если вообще росло. Между тем денег у него взяли уже довольно много и, очевидно, хотели получить еще гораздо больше. «Гранд все обещает чудеса, но он отъявленный лгун, ни одному его слову верить нельзя. Теперь, конечно, хочет нагреть руки на покупке дома. Старец Дюммлер ученый и честный человек, но что он понимает в жизни?» Все же Делавар записал на воскресной странице адрес-календаря: «5 час. Дюммлер». Решил: если и даст деньги, то не иначе, как под условием, чтобы дом был приобретен на его имя.

Затем он долго говорил по телефону с разными странами. Телефонные разговоры стоили ему несколько миллионов франков в год. В одиннадцать часов он отправился на биржу. Там он знал всех. Старался со всеми раскланиваться благожелательно и чуть свысока, но это не очень ему удавалось, — от привычек, приобретенных в пору бедности, отучиться было нелегко: шляпу приподнимал одинаково, но перед особенно важными людьми наклонял голову чуть дольше, чем следовало. На бирже поклонники почтительно его расспрашивали о политическом положении. Он

говорил общие места, но говорил чрезвычайно уверенно, бойко, громко и с таким видом, будто знал подоплеку всего, какие-то важные тайны, *top secret*. Этот тон действовал, если не на всех, то на очень многих. У Делаваара язык и голосовые связки были устроены так, что его всегда слушали внимательно, особенно в первые минуты. Не любили его в большинстве старые богачи, унаследовавшие состояние от дедов.

Завтракать он поехал не в тот дорогой ресторан поблизости от биржи, где собирались только что нажившие много денег люди, а подальше, в другой, еще лучше. Он знал толк в еде и винах (этим пожертвовать сходству с Наполеоном не мог). Долго и старательно обдумывал и выбирал блюда. Вина заказал только полбутылки: заботился о здоровьи, и рабочий день еще далеко не был закончен. За завтраком он думал не о делах. Думал о еде, думал также о всяких пустяках, о том, как он обедает со своими маршалами после победы под Аустерлицом, о том, как в Варшаве ему отдается графиня Валевская, о том, как приятно было бы быть римским патрицием и иметь рабынь. Представлял себе, как он уносит на руках полуодетую красавицу, спасая ее от мужа или другого соперника, — в этом уносе на руках он видел что-то особенно поэтичное. Думал также о дуэли, которая могла бы у него быть с каким-либо известным человеком, и даже мысленно намечал себе для нее подходящих по рангу секундантов, — дуэль кончалась легкой раной противника и примирением. Эта привычка думать о вздоре за едой и перед сном осталась у него с отроческих лет; он сам считал ее глупой, но отделаться от нее не мог, да и жаль было бы с ней расставаться: она была уютной.

За кофе он вынул из кармана первый курс ценностей и первое издание вечерних газет. На бирже узнал, что франк упал за день, но не очень: на 4 про-

цента. Делавар помнил, когда и по какой цене приобрел каждую из своих многочисленных акций, какие дивиденды она приносила, каковы были ее высший и низший курсы. Следил и за курсом тех ценностей, которых у него не было. Он вел большую биржевую игру; биржевики-остряки называли его Карлом Смелым; это очень ему льстило. Другая часть его богатства была связана с самыми разными, сложными делами. Делавар не мог бы точно сказать, каково его состояние. Подсчитывать можно было только биржевой «портфель» и он любил это делать. Так и теперь, хотя перемены за день были невелики, приблизительно подсчитал: около трехсот двадцати миллионов. В долларах цифра выходила гораздо менее внушительной. Мысль о том, что все его ценности не стоят и одного миллиона долларов, тогда как какой-нибудь американский болван, вроде Пемброка, имеет больше, была ему неприятна.

Как многие люди, он был почти лишен способности на себя оглядываться. Делавар не был ни циником, ни лицемером; не был даже лгуном, — поскольку тщеславие может не переходить в лживость. Богатство было неотделимо и от поэзии, и от идей: он собирался вести большие политические дела. Одной из его любимых книг были воспоминания банкира Лаффита, который лично знал Наполеона, бывал у королей и королев и руководил революцией 1830 года.

Как всем, Делавару было известно, что коммунисты — и не только они одни — убеждены во всемогуществе Уолл-Стрит. Он иногда и сам так говорил со значительным видом, точно немало мог бы об этом рассказать. Делавар х о т е л в это верить. Однако он бывал и на нью-йоркской бирже, лично знал многих ее деятелей, знал главных финансистов в разных столицах Европы. При встречах с этими людьми он испытывал некоторое разочарование (такое же чувство, вероятно, испытал бы, если б встретился, например, с

«Сионским мудрецом», а тот благодушно заговорил бы с ним о цене на хлопок и пригласил бы его на завтрак в еврейский ресторан). Все это были незначительные люди; они не только не правили миром, но и не очень хотели им править и совершенно не знали бы, куда мир вести, если б в самом деле обладали тем могуществом, которое им приписывали. Свои дела они устраивали хорошо, хотя и тут никакой гениальности не проявляли: составляли богатство чаще всего по воле случая, иногда потому, что были очень настойчивы, хитры и беззастенчивы. Вдобавок, огромные состояния создавали далеко не самые одаренные из них; наиболее смелые и умные, напротив, нередко разорялись или ничего не достигали.

В политику все эти люди действительно часто вмешивались, главным образом для устройства своих личных деловых комбинаций или деловых комбинаций их групп. И хотя и они сами, и особенно их группы обладали громадными капиталами, — в общеполитическом масштабе больших стран их вмешательство в государственные дела имело очень мало значения. Обычно оно сводилось к подкупу чиновников, но опять-таки для устройства частных, а не мировых дел. Они вообще плохо разбирались в политике, были мало образованы, иностранных дел совершенно не знали, как обычно не знали и иностранных языков. Если их частные дела зависели от мировых событий, то в большинстве случаев они ошибались в расчетах. Эти люди часто наживались на военных поставках, но войны устраивались не ими. Влияние их в политике к тому же с каждым годом уменьшалось. Чаще всего они поддерживали противников демократии, и это тоже свидетельствовало об их ограниченности, так как деньги им было все-таки легче наживать при свободном строе. И действительно, большинство огромных состояний именно в свободных странах и создалось. Симпатии этих людей к диктаторам бессознательно свя-

зывались с тем, что им хотелось быть диктаторами в своих предприятиях. Между тем ограничения их власти там нисколько не мешали им богатеть. Не очень им вредили и социальные реформы, к которым легко было приспособиться, не теряя денег; гораздо больше мешал подоходный налог, — но и тут были возможны всякие комбинации, не нарушавшие или почти не нарушавшие законов уголовного кодекса. Стачечников они действительно терпеть не могли, и это увеличивало их симпатии к диктаторам. Однако диктаторы, запрещая стачки, не очень церемонились и с капиталистами. По опыту истории «люди с Уолл-стрит» могли бы знать, что в громадном большинстве случаев диктатуры кончаются худо и для диктаторов, и для их друзей. Но они историю знали плохо и, несмотря на тяжелые уроки в прошлом, все же верили, что найдется настоящий, хороший, прочный и долговечный диктатор. Впрочем, помощь их диктаторам была тоже незначительной и обычно сводилась к денежной поддержке в ту пору, когда кандидат в диктаторы еще в ней нуждался. Они так же мало устанавливали диктатуру, как вызывали войны.

Все это Делавар знал или мог знать. Тем не менее он поддерживал в разговорах легенду о Уолл-Стрит: он и сам фигурально к международной Уолл-Стрит понемногу приближался. Но в тех случаях, когда он строил свои деловые комбинации на предвидении важного политического события, он обычно терял деньги. В свое время даже ордена Почетного Легиона ждал довольно долго, так как поставил не на того министра и, к крайней своей досаде, получил для начала лишь Орден Туристской Заслуги. Тем не менее его сомнения проходили быстро: он ошибаться не мог.

После завтрака он побывал еще в разных влиятельных учреждениях, в которых не совсем легко было

понять, где начинаются дела и где кончается то, что он называл идеями. В Греции собирались кормить детей, некоторые другие страны снабжались машинами; в связи с этим возникали вопросы, кому будут даны заказы, кто будет снабжаться в первую очередь, и от кого все это главным образом зависит. В шестом часу его деловой день кончился: после шести он, по заведенному правилу, о делах не говорил. Светские приятели нередко в обществе расспрашивали его о биржевых комбинациях в надежде на даровой совет, как при встрече со знаменитыми врачами наводили разговор на болезни, которыми страдали. Он отшучивался и говорил о живописи, о музыке, о поэзии. Запоминал то, что при нем говорили знатоки. Их присутствие его совершенно не смущало. Сначала и они слушали, — в первую минуту и на них действовал его громкий голос и авторитетный тон, — потом, зевая, отходили; он смертельно обижался, если это замечал.

Обедал Делавар то в гостях, то в ресторанах, чаще всего в роскошном игорном доме. Старик-швейцар там встретил его радостно-почтительно. Знал, что он не француз и не Делавар, но уже нерешительно пытался называть его «господин барон». В гимнастическом зале он с полчаса фехтовал с каким-то настоящим бароном, проделывал разные приемы, секунды, кварталы. Затем с тем же бароном пообедал и выпил бутылку шампанского. Делавар не был снобом и так же мало почитал титулованных людей, как людей знаменитых: часто полушутливо говорил, что от природы лишен «шишки уважения», слов же “inferiority complex” вообще понять не может; иногда еще шутливее добавлял: «у меня скорее “superiority complex”». Но он всякую силу принимал просто как факт, а титул в мире еще кое-что значил, хотя его значение уменьшалось с каждым годом. Этот барон вполне годился и в качестве противника на дуэли:

“Les adversaires se sont reconciliés”*), — но он был очень любезен, а главное, хорошо владел оружием. Гораздо больше годился бы в секунданты.

За обедом они говорили о том же, что все, и то же, что все: может быть, у Сталина уже атомная бомба есть, а может быть, у него атомной бомбы еще нет; может быть, Россия уже к войне готова, а может быть, она еще к войне не готова; может быть, война будет, а может быть, войны и не будет.

— Дорогой мой, — сказал Делавар, — Сталин очень смелый стрэддлер, но и отличный игрок: у него сейчас фулл хэнд, а он будет играть, когда у него будет ройал флеш.

— Да, но что, если у него уже есть ройал флеш, — возразил барон.

— Тогда будет война и гибель миров. В этом есть грозная зловещая поэзия. А без поэзии что такое жизнь? Зачем без поэзии жизнь? Любите ли вы Апокалипсис?

— Люблю, — ответил барон так же озадаченно, как в Монте-Карло Пемброк.

— Так вспомните же виденье саранчи, по виду подобной коням с лицом человеческим. Она пройдет по миру, но нанесет вред только тем людям, у которых на челе нет печати Божьей.

На это барон не нашелся что ответить, и они пошли играть. Кофе и коньяк лакей принес им уже к карточному столу. Среди партнеров был один серьезный противник: человек с крепкими нервами, наживший в пору оккупации огромное состояние, не имевший позднее никаких неприятностей с властями и судом. Он безукоризненно одевался и в клуб приходил в смокинге, что делали лишь немногие.

Делавар играл во все игры, даже в давно вышедшие из моды, даже в те, которые были известны толь-

*) «Между противниками произошло примирение».

ко в далеких восточных странах. По-настоящему он любил только покер и постоянно называл эту игру символом жизни; как большинство людей, сто раз говорил одно и то же. Хотя он в клубе играл очень крупно, обороты его биржевой игры были, разумеется, гораздо больше. Однако биржа не включала в себя непосредственного процесса игры: там он писал приказы о продаже и покупке ценностей или отдавал распоряжение по телефону, больше делать ничего не надо было, никто на него не смотрел, результат становился известен лишь позднее. Покер был другое дело. Вино, коньяк, крепкое кофе и сигара приводили его нервы в состояние счастливого напряжения. Сядь за игорный стол, он чувствовал себя так, как Наполеон в ту минуту, когда с высоты какого-нибудь холма отдавал приказ о начале сражения. Все знали, как он прекрасно играет, и посматривали на него с восхищением и страхом, — так, вероятно, смотрели генералы на Наполеона. В этом клубе, где было немало хороших игроков, он считался королем блеферов. Как только были розданы карты, у него сделалось poker face. Среди его противников были люди, которых никакой проигрыш особенно испугать не мог, тем не менее он запугивал и их и выигрывал много чаще, чем проигрывал.

Особенно приятна была одна из последних сдач, уже в двенадцатом часу ночи. Имея на руках обыкновенную sequence, он шедевром блефа прогнал всех игроков, в том числе и человека в смокинге. Ставки были так велики, что вокруг стола собралось человек десять зрителей, и даже секретный полицейский наблюдатель, беззаботно гулявший по залу, остановился и с доброй ласковой улыбкой поглядел как-то одновременно на игроков, на зеленое сукно, на карты. Проигравший большую сумму игрок в смокинге приятно улыбался, как улыбаются боксеры после получения страшного удара. Делавар и сам волновал-

ся, несмотря на каменное лицо. После этой сдачи он поиграл из приличия, но уже ставил немного: отдыхал от волнения, как Наполеон четыре года отдыхал после Маренго.

Из игорного зала он прошел в бар. Здесь, как в Монте-Карло, к нему тотчас подскочил услужливый человек с зажигалкой, и барман, не спрашивая заказа, с почтительной улыбкой подал его напиток. Сидевшая на высоком табурете дама, прекрасно и очень скромно одетая, шутливо вполголоса с ним заговорила. Он так же шутливо ей отвечал. Это была одна из тех женщин, по отношению к которым и наполеоновский, и рыцарский тоны были бы одинаково неуместны. Делавар поговорил с ней ласково. Она не очень ему нравилась, и он всю жизнь мучительно боялся болезней. Но, по своей доброте и щедрости, часто в дни выигрыша дарил деньги дамам игорного дома. Сунул что-то и этой, — из деликатности незаметно под столом, — слегка пожав ей руку на уровне табурета.

Домой он вернулся пешком, несмотря на дурную погоду. Его гостиница была недалеко, он старался много ходить, особенно перед сном. Когда он вышел из клуба, за ним незаметно пошел какой-то пожилой человек с зонтиком. В этот вечер Делавар был почти уверен, что принадлежит к Уолл Стрит и правит миром. Но и в нормальное время, без вина и выигрыша, ему в голову не могло бы прийти, что за ним, при его богатстве, связях, заслугах, кто-то посмеет установить слежку. Недалеко от входа в гостиницу пожилой человек остановился, взял зонтик подмышку и стал закуривать папиросу.

Швейцар почтительно отворил перед Делаваром дверь и тотчас заметил человека с зонтиком. Это впрочем не очень швейцара заинтересовало: он давно привык к клиентам, за которыми следила полиция. Его часто о них расспрашивали и он всегда давал бла-

гоприятные сведения. Иногда таких клиентов в гостинице арестовывали, и, как ни тщательно избегался шум, репортеры тотчас обо всем узнавали; не всегда можно было даже от них добиться, чтобы они хоть не называли гостиницу, а писали: «в одном из самых аристократических отелей Парижа»... Неприятно это бывало еще и потому, что уводимые полицией люди бывали самыми щедрыми клиентами. Дверь захлопнулась. Человек с зонтиком вздохнул и пошел к станции подземной дороги.

V.

На столе в кабинете Дюммлера стояли портвейн и печенье. Гостей еще не было. Старик был утомлен. Он сам больше толком не знал, зачем устраивает собрания и приемы; но он устраивал их уже лет пятьдесят и думал, что без людей ему было бы еще тоскливее. «Если перестану принимать и бывать на заседаниях, то верно сразу впаду в слабоумие», — угрюмо говорил себе Дюммлер как раз перед приходом Виктора Николаевича. На этот раз встретил гостя чуть чуть менее приветливо, чем всегда. «Сегодня улыбка у него еще более гран-сеньерская, *très dix-huitième*...*)» Право, он должен пудрить голову», — подумал Яценко.

— ... Устал? О, нет, нисколько не устал, — говорил он, наливая Виктору Николаевичу вина. — Выпейте, портвейн прекрасный. Я и сам немного выпью с вами.

— А вам не вредно?

— Конечно, вредно. Все вредно... И не спрашивайте, не болен ли. Конечно, болен, каким-то сочетанием каких-то болезней. Врач давеча справедливо сказал, что в мои годы нельзя не болеть. Верно скоро буду делить людей только по одному признаку: больные и здоровые... Гранд только что звонил, что не придет.

— Какой Гранд?

— Разве я вам не говорил? Гранд один из деяте-

*) В стиле 18-го века.

лей нашего общества. Почему-то они прозвали его испанским грандом, хотя он никакой не гранд, и не испанец, а просто авантюрист и, как теперь у нас говорят, довольно отвратный... Ужасное слово «отвратный»... Этот Гранд, разумеется, ничего общего с Испанией не имеет. По наружности он «Молодой Аббисинец» Фриеса. По манерам третьестепенный торреадор из тех стран, где бой быков не сопровождается опасностью ни для торреадора, ни для быка. Зачем мы ему, по совести я плохо понимаю. Но об «Афине» и особенно об ее будущем он говорит с таким выражением на лице, какое могло быть у Моисея в ту минуту, когда он увидел вдали Обетованную Землю. По тону он — «рубаха-парень», довольно противный мне тип людей. В России такие, здороваясь, высоко поднимали руку и хлопали ею по вашей.

— Зачем же «Афине» этот испанский гранд, который не испанец и не гранд?

— Что ж, «Афина» принципиально верит в... в *“la perfectibilité de la race humaine...”**) Видите ли, и русский язык стал забываться.

— А кто у вас будет еще?

— Будет один богатый делец, некий Делавар.

— Вот как? Я его немного знаю, — разочарованно и удивленно сказал Яценко. Дюммлер усмехнулся.

— И как будто не одобряете? Он такой идеалист, что просто никаких сил нет. И эстет! А занимается делами вроде как бы по предписанию врачей — или вот как Гогэн был чем-то вроде биржевого маклера. Ленин сказал, что в большевистском хозяйстве могут пригодиться и дрянные люди. Моралисты очень его ругали за эти слова. Сказал он грубо, и случай был уж очень неприглядный, но по существу в словах его на этот раз была немалая доля правды. Кажется, нет такой партии, группы, общества, которые

*) Совершенствование человеческой расы.

обходились бы без дрянных людей. Я это говорю с сокрушением и, поверьте, без цинизма... Что ж, и народная мудрость немного «цинична», со всеми ее поговорками: «На Бога надейся, а сам не плошай», «Береженого и Бог бережет», “*Charité bien ordonnée commence par soi-même*”*) и т. д. И уж едва ли можно удивляться тому, что события последних тридцати лет расплодили в мире циников. Скорее уж удивительно, что их все-таки еще не так много, как могло бы быть. И если циничные минуты бывают неизбежно у каждого человека, то у меня, думаю, они бывают реже, чем у большинства, так как я имел счастье или несчастье воспитываться во времена доисторические. Впрочем, я отнюдь не хочу сказать, что Делавар дрянной человек. Скажем мягко, он человек не очень хороший. Как это учебники зоологии определяют хищников? Большие, сильные, очень ловкие животные с тонким обонянием и плотоядным зубом, правда? Или как-то так... Делавару очень хотелось бы быть хищником, но у него только тонкое обоняние, а плотоядного зуба нет. Он богат и щедр. Почему-то он заинтересовался «Афиной», но я надеюсь получить у него для нашего общества миллионы, да что-то он в последнее время помалчивает... Я не моралист, но, быть может, и моралист поступил бы неумно, если бы отказался от миллионов только потому, что мосье Делавар не очень хороший человек. Повторяю, ничего особенно худого за ним не знаю.

«В сущности, он всех людей презирает и большинство считает идиотами, хоть из вежливости не говорит» — с недоумением подумал Яценко.

— Кто будет еще?

— Американский профессор Фергюсон. Этот, напротив, превосходный человек, — сказал Дюммлер, точно отвечая на мысль своего собеседника. Он хи-

*) Разумную благотворительность надо начинать с себя.

мик и, говорят, один из первых атомных химиков мира — сказал Дюммлер. — Помните, у нас когда-то Михайловский пустил в обращение слово «кающийся дворянин». Теперь кающихся дворян больше нет, да их и всегда было чрезвычайно мало. Я, может быть, в жизни знал двух или трех. Гораздо больше знал революционеров, которые никогда не могли забыть, что они знатного происхождения, очень гордились этим и очень неумело скрывали, что гордятся... Вождь германских социал-демократов Фольмар, собиравшийся стать священником, забыл о всем прошлом, забыл о Господе Боге, но так и не мог забыть, что он дворянин: всю жизнь именовался ф о н Фольмар. Мне на каком-то их конгрессе показалось уморительным, что его все так величали: «товарищ фон Фольмар». А об англичанах и говорить не стоит. Я слышал, как английские радикалы выступали на народных собраниях, речи были необыкновенно радикальные, но, если человек по рождению принадлежал даже не к аристократии, а просто к правящим классам, он уж непременно упоминал об этом, ну хотя бы просто в виде милой шутки: не придаю, мол, никакого значения этой ерунде... Если б я не боялся вас огорчить, я сказал бы, что за долгую жизнь знал только одного человека, который не только не гордился своей породой, но искренне сожалел, что не вышел из крестьян, — и этот человек принадлежал к русскому императорскому дому. И взглядов был не консервативных, а радикальных. Почему все-таки мы об этом заговорили? Да, да, согласитесь, слишком много было в «цивилизованном мире» лжи и ее худшего рода, самообмана. Теперь все стало обнаженней, грубее и правдивей... А может быть, и вообще никакой цивилизации в мире не было, а была иллюзия, порожденная техникой, а? Мы же что-то наперед вышивали прекрасное, вот как Пушкин иногда наперед писал в черновиках рифмы, а потом подбирал к ним божественные стихи. Но мы имели наив-

ность думать, что наши так называемые завоевания прочны или даже вечны!.. Я как-то ночью думал, что было самого курьезно-восхитительного в наше время. Припомнил Казанский вокзал в Москве, дворец дождей, построенный каким-то банкиром на Невском, привилегии родовитого дворянства, глубочайшие романы Максима Горького и нашу самодовольную не-любовь к «мещанству», с таким элегантным переходом от «духовного мещанства» к мещанству бытовому. Сам покойный Герцен, наш *doctor subtilis*, не тем будь помянут этот удивительный писатель, очень любил то, что приписывал мещанству: не все конечно, а хорошую жизнь очень любил. А ведь правдивый был человек, да и вся наша классическая литература самая правдивая из всех. В западном искусстве всего этого гораздо больше. Я назвал бы это явление «челлинизмом». Бенвенуто Челлини, сварливейший драчун и скандалист, выбирал пацифистские сюжеты: “*Clauduntur belli portae*”.

— Что же тут странного? Писатель, как всякий человек, пытается преодолеть в себе то, что считает злом. К тому же, надо делать поправку на время. Гуманнейшие люди во Франции восхищались преследованием протестантов...

— Не все. Овернский губернатор де Монморен, получив после Варфоломеевской ночи приказ Карла IX об истреблении протестантов в его провинции, ответил королю: «Я слишком почитаю ваше величество, чтобы признать вашу подпись на этом приказе подлинной; если же она, чего избави Бог, подлинная, то я слишком почитаю ваше величество для того, чтобы исполнить ваш приказ». Вот как поступают порядочные люди. Жаль, что об этом не говорилось на процессах гитлеровских генералов... О чем мы говорили? Не подсказывайте, я вспомню... Нет, не могу вспомнить, — угрюмо сказал Дюммлер.

— Да и я не помню. Кажется, о хороших людях.

— Есть отличные, замечательные, большие люди. Но памятников я и им не поставил бы. Памятников, может быть, заслуживало десять человек в истории, — сказал утомленным голосом Дюммлер. — Все-таки почему я об этом заговорил?.. Да, так были у нас кающиеся дворяне. А теперь появился в мире новый тип: «кающиеся физики». Они создали атомную бомбу и их мучает совесть: они, видите ли, никак не думали, что эти нехорошие генералы так используют их открытия. Что ж делать, вне своей области эти люди не орлы, как впрочем и Делавары. Большевизанская демонология такой же миф, как все другие демонологии.

— Да может быть, он просто fellow traveler?

— Нет. Я феллоу-трэвелеров терпеть не могу. По общему правилу, люди они неумные. Фергюсон же и очень честный и неглупый человек. Он придет со своей секретаршей. Она русская.

— Русская секретарша у атомного химика? Это, конечно, приставленная к нему советской разведкой шпионка, — сказал, смеясь, Яценко.

— Он больше атомными изысканиями не занимается. Кроме того, она эмигрантка, хотя и левых взглядов. Очень странная девушка. Милая, неглупая, но странная... Может быть даже и не совсем нормальная. Нет, это я преувеличиваю. Нормальная, но странная. Если говорить правду, то она и есть главная работница общества «Афина». Я, впрочем, и тут не совсем понимаю, чего она в нем ищет. Едва ли того, что можно было бы назвать «рационалистической ванной», хотя такая ванна была бы ей очень, очень нужна: в «Афине» она занимает крайнюю «мистическую» позицию, ведь у нас разные люди, даже слишком разные... Читает она какие-то странные книги о колдуньях, о чертовщине. Она одна из довольно многочисленных «мистически настроенных» русских женщин, ищущих зацепки в жизни и часто ищущих ее там, где зацепку найти мудре-

но. Вообще смысл Тони, если можно так выразиться, в бессмыслии. Зацепку найти мудренно. Вдобавок, она, тоже как многие русские женщины, еще преувеличивает свою русскость, — уж я, мол, такая русская, такая русская. И, разумеется, они свою русскость видят преимущественно во всевозможных бескрайностях. И, тоже разумеется, они все «обожают Достоевского»... Ах, много бед наделал Достоевский своими «женщинами великого гнева». Я что-то не встречал на своем веку Грушенек и Карамазовых, но людей, желавших походить на Грушеньку, на Карамазова встречал немало. У нас чуть не всякий пьяница и буян считал себя Митей Карамазовым. Мы столько начитались всякого вздора о «славянской душе», что как будто и сами этим вздором заразились.

— Ничего не поделаешь, есть на свете и «инфернальницы» и «женщины великого гнева». Достоевский был гениальный писатель.

— Конечно... Он вдобавок создал свой мир, как те новые живописцы, у которых, скажем, пшеница синего цвета, груши — фиолетовые а люди гnedые... Нужно ли это? Так ли это трудно? Достоевский показал, что нужно: изумительно смешал с правдой. Конечно, гениальный писатель, что и говорить... Но как же тогда называть Пушкина или Толстого? Верно надо то же слово, да произносить по-другому. Так при Людовике XIV-м слово Монсеньер произносили по-разному, обращаясь к архиепископу и к принцу крови...

— Она красива, эта секретарша?

— Очень. Впрочем, это еще как сказать? У Островского Фетинья о ком-то говорит: «Дурой не назовешь, а и к умным не причтешь, так, полудурье»... Нет, она не полудурье, но думаю, что в душе у нее пустота, пустота, точно пневматический насос все высосал. Такие бывают среди нынешней молодежи. И то сказать, какую жизнь они все прожили! И именно из-за этой пустоты они в душу мгновенно всасывают что

угодно... Она из какой-то оголтелой эмигрантской семьи. Какие-то французские эмигранты в пору Реставрации требовали от короля, чтоб были восстановлены «наши прежние казни и пытки». Другой умник где-то настаивал, чтобы королевский парик составлялся не иначе, как из дворянских волос... Впрочем, у нас, кажется, такого не было...

Он вдруг изменился в лице.

— Простите выжившего из ума старика, — сказал он. — Я все постыдно напутал. Из правой эмигрантской семьи вышла совершенно другая моя знакомая барышня. Тони, напротив, дочь какого-то либерального земца.

— Не все ли равно? — сказал Яценко, видевший, что эта ошибка расстроила Дюммлера.

— Нет, не все равно, когда человек заговаривается. Ну, что ж делать: стар — чудес на свете не бывает... Да, Тони дочь либерала, теперь говорю верно: я не всегда завираюсь. В пору резистанс она работала с коммунистами, да и теперь отзывается о них с симпатией. Я ее просил в «Афине» таких воззрений не высказывать... Современный коммунизм организован так, что он автоматически втягивает в себя все, что плохо лежит: плохо лежит в переносном, моральном смысле. Кроме того, он для молодежи имеет огромную притягательную силу. Когда-то у нас молодые люди от всяких разочарований, от скуки, от безделья уезжали воевать на Кавказ, хотя он сам по себе едва ли был им очень нужен... Как бы для них и теперь придумать какой-нибудь этакий безобидный Кавказик? А то слишком многие стали уходить в Коминтерн. Мы-то с вами знаем, что в коммунизме «поэзии» не больше, чем в счетной книге бакалейной лавки, но для них, для молодежи, клички, шифры, подпольная работа, конспирация, тайнственные съезды, это самое поэтическое из всего, что жизнь им может дать с тех пор, как кончились войны с кавалерийскими атаками.

— И ваша девица к ним уйдет?

— Надеюсь, нет. Тони милая и несчастная девушка. По манерам горда и неприступна. Говорят, что люди иногда прикидываются гордыми и сухими от застенчивости, тогда как на самом деле у них золотое сердце. Это клише, и таких людей я тоже почти никогда не видал. Впрочем, мало ли отчего и почему человек играет роль! Я знал и знаменитых революционеров, которые играли роль всю жизнь. И как играли! Просто не хуже Ермоловой! Делали вид, будто их больше всего на свете волнует русский мужичок. Об этих «святых» написаны самые худшие картины в русской живописи, а мой покойный друг, талантливый писатель Короленко, написал о них самый фальшивый рассказ в русской литературе.

— Однако русские революционерки из-за этого «мужичка» шли на смерть, — сказал Яценко, в первый раз неприятно удивленный словами Дюммлера.

— Шли. И эта Тони тоже вполне способна пойти.

— Ее зовут Тони?

— Да. Ее имя Антонина и фамилия тоже прозаическая, кажется Семенова? Она ни своего имени, ни фамилии не любит. Ей надо было бы называться Ариадна... Очень странная женщина. Она немного напоминает мне Блаватскую, которую я лично знал. Многие считали Блаватскую шарлатанкой и обманщицей, в ней было и это, но было не только это. Она была очень даровитая, сумасшедшая женщина. Должно быть, и Калиостро, и граф Сен-Жермен были отчасти таковы. Да, кажется, Тони сочувствует большевикам, и следовательно спорить с ней совершенно бесполезно, как вообще с большевиками. Ведь по нашим понятиям в мире нет ничего выше свободы, а им на свободу наплевать. Какой же может быть спор без аксиом, общих для обеих сторон? Теперь в мире что-то вроде морального биметталлизма... Такого гонения на мысль, мне кажется, никогда нигде не было... Бенжамен Констан

больше ста лет тому назад по поводу каких-то полицейских злоупотреблений при Наполеоне вопил: «Потомство просто не поверит, что такие вещи были возможны в цивилизованной стране»... История любит неизлечимой любовью рецидивы, но потомство Констана увидело Гестапо и Гепеу... И вы думаете, что это кого-нибудь очень потрясло? Немногих немногих... А надо было бы как янсенисты: «прощать, но не забывать»... Вообще и злодеи и злодейства все гораздо проще, чем мы думаем. Все происходит по-домашнему. Равальяка, убийцу Генриха IV, подвергли нечеловеческим мукам, просто нельзя читать описание. А где это происходило? В буфете парижского суда. Я уверен, что судьи и палачи при этом пили вино и закусывали... Так же было и когда сжигали Жанну д-Арк. Солдаты на Площади Рынка просили, чтобы подожгли костер поскорее: пора обедать.

— Иностранцы: английские солдаты.

— Нечего все валить на иностранцев. Жанну взяли в плен не англичане, а бургундцы, и судьи ее были французы, и парижский университет благословил дело, и продал ее на казнь тоже француз, де Линьи, взявший ее в плен... Правда, жена его валялась у него в ногах, умоляла не выдавать героиню... И он был, кажется, недурной человек, но ему до зарезу были нужны деньги. Это он потом вставил в свой герб слова: “*A l'impossible nul n'est tenu*”...*) И англичане, которые ее сожгли, тоже были рыцари. Верно и в Гестапо попадались благодушные люди, мирно пившие по вечерам пиво. Но им также надо было жить: “*A l'impossible nul n'est tenu*”... Ну, как ваши Объединенные Нации? Все еще делают великое дело во дворце Шайо? Кстати сказать, место гиблое. Там был когда-то замок Екатерины Медичи. Может быть, она там задумала Варфоломеевскую ночь? За-

*) Никто не обязан делать невозможное.

тем там Генрих IV щелкал зубами в своем лагере, поглядывая на осажденный им Париж, и вероятно уже подумывал о перемене веры... Позднее там поселился маршал Бассомпьер, счастливый человек, получивший на своем веку шесть тысяч любовных писем. Он был арестован и просидел двенадцать лет в Бастилии. Еще позднее вдова казнённого Карла I построила там какой-то монастырь и в нем скончалась. Монастырь был разрушен в пору Революции. Там же где-то была главная квартира казнённого Жоржа Кадудалья, в пору его заговора. Позднее Наполеон начал на этом месте строить для своего сына дворец, который должен был стать самым прекрасным дворцом в мире, но император успел только заложить фундамент. И наконец построили чудовищное здание и назвали его Трокадеро по названию стычки в пору франко-испанской войны 1823 года. А об этой войне старый наполеоновский солдат, маршал Удино, сказал: «Самое ужасное то, что эти вояки в самом деле думают, будто это была война!»... Теперь там ваши ООН. Если я что им ставлю в вину, то разве самодовольство. Они как та французская графиня, которая говорила: “*Nous autres, jolies femmes*”. Впрочем, благочестивый Эжен де Монморанси говорил еще и не так: “*Nous autres, les saints*”.

— Да, я помню, я это читал в чьих-то мемуарах, — сказал Яценко. «Все-таки разговаривать с ним чуть утомительно», — подумал он, несмотря на свое уважение к Дюммлеру. — Но какая у вас память, Николай Юрьевич! Вы так знаете историю всего Парижа?

— Кое-что знаю. Уж очень я всю жизнь любил этот город. Собственно во всем мире только и были две настоящих столицы: Париж и старый Петербург... Но это, кажется, я вам уже говорил? — беспокойно спросил Дюммлер.

Раздался звонок.

— Я отворю, не вставайте, Николай Юрьевич, — сказал Яценко и направился к двери. В вошедшей да-

ме он с удивлением узнал русскую, с которой ехал из Парижа в Ниццу. На ней было то самое ожерелье. Платьев Яценко никогда не запоминал, хотя и думал, что ему, как писателю, следовало бы их запоминать. Дюммлер, все же вышедший в переднюю, познакомил их.

— Мой друг Виктор Николаевич Яценко, он же американский писатель Джексон.

— Мы недавно вместе путешествовали. Мир в самом деле мал, — сказал, улыбаясь, Яценко. Дама его узнала и чуть улыбнулась, глядя на него тем же как будто пристальным и вместе невидящим взглядом.

— Я не предполагала, что вы русский.

— А я по лицу сразу признал в вас русскую.

— Очень рада! — сказала она почему-то с вызовом в голосе.

— Гранд телефонирует, что не придет, — сказал хозяин, вводя их в кабинет. — Делавар будет. А профессор?

— Он сказал, что приедет ровно в шесть. У него какое-то деловое свидание.

— Милая Тони, я надеюсь, что бы будете хозяйкой и угостите нас чаем? Вы знаете, где у меня в кухне чай, сахар, чашки. Правда? Мои гости всегда это для меня делают, такова у нас традиция, — начал Дюммлер. Тони его перебила.

— Я сейчас поставлю воду на огонь, — сказала она и вышла. У Дюммлера на лице скользнуло недоумение: он не привык к тому, чтобы его перебивали.

— Сегодня она колючая, — вполголоса сказал он Виктору Николаевичу. — Впрочем, она меняется по несколько раз на день. Теперь у нея, повидимому роман с этим американским профессором, но что-то странное: вроде как венецианский дож венчался с Адриатическим морем.

— Очень красивая женщина.

— Очень, хотя и не мой жанр. Она и рассказы писала. Один я читал. Рассказ, как рассказ. Все есть: и «друг Горацио» есть, и «тьма низких истин» есть, и героиню зовут «Римма Валентиновна», и еврей говорит «пхе», а что ни коренной русский, то с надрывом, сверхчеловек или пьяница. И все чувствуется какое-то «ну-т-ка!». И ничего за этим «ну-т-ка» нет. Разве «шапками закидаем»? Так, во-первых, не очень закидывают, а во-вторых, шапки-то чужие: красные и скверные. Страшно бурная литература, но бескровная, вроде как есть бескровные животные. Вообще это подозрительный симптом, когда человек много болтает о «бурях». Вот и художники такие были, — сказал Дюммлер, особенно любивший сравнения с живописью. — Например, Лудольф Бакгейзен: он все больше бури и писал. Подозреваю, что в жизни он был очень тихенький голландец. Усердно исполнял заказы для нашего Петра. Но он хоть был талантлив. А моя бедная Тони... — Дюммлер приложил палец ко рту: Тони вернулась в кабинет и поставила на стол чашки и сахарницу.

— Чай сейчас будет.

— Спасибо, милая. Вы знаете, Виктор Николаевич хотел бы вступить в «Афины»...

— Для этого есть определенные формы, — сухо сказала Тони, опять его перебивая. На этот раз Дюммлер рассердился.

— Формы я знаю! — сказал он. Опять слышался звонок. Пришли Делавар и высокий чуть-чуть сутуловатый человек ясно выраженного англо-саксонского типа. У него были седые волосы и относительно молодое, хоть утомленное, лицо. Увидев Тони, он просветлел. Дюммлер познакомил его с Яценко, опять назвав и русскую, и американскую фамилии Виктора Николаевича. Профессор Фергюсон поздоровался с легким недоумением. Он прожил жизнь в кругу лю-

дей, которые фамилий не меняли; быть может, у него было впечатление, что меняют имя только люди, скрывающиеся от правосудия.

Минут через десять разговор за чаем шел довольно гладко. По долгой привычке, Дюммлер поддерживал его на высоком уровне. Старику было одинаково легко говорить о каких угодно серьезных предметах; при своей необыкновенной памяти, он обо всем говорил с достаточным знанием дела, с цитатами, с анекдотами. Его все слушали с почтительным вниманием. Только у Тони был такой вид, точно ей хотелось спать.

— Значит, вы находите, дорогой профессор, что современная физика не идет по пути позитивизма?

— Я об этом сожалею, но это так.

— Не смею с вами спорить. Все же многие нынешние философские течения так или иначе с позитивизмом связаны. Назову у вас в Америке прагматистов, Пирса, Дюи. Напомню в Германии блестящий «фикционализм» Файхингера, труды Маха по истории точных наук. Допустим, что все это уже прошлое. А вот «Венский круг», “Wiener Kreis”, это во всяком случае настоящее. Впрочем, что именно вы называете позитивизмом? Конт не остановился на «Позитивной философии». В его последних работах есть то, что принято называть «мистикой» и другими неодобрительными словами. Но что такое мистика? Разрешите взять определение Эрнста Трельша, философа, гремевшего в Германии в до-гитлеровское время. «Мистика, — говорит он, — это вера в существование и в воздействие сверхчеловеческих сил, а также в возможность сношения с ними». Согласитесь, что под это определение можно и должно подводить все вообще религиозные учения. Во всяком случае Конт очень верно и ясно поставил диагноз той болезни, ко-

торая только начиналась в его время. Он писал что весь хаос нашей эпохи вытекает из падения в мире старой веры и будет продолжаться до того, как будет создана новая вера. “*L’anarchie résulte de l’irrevocable décadence des anciennes croyances dirigeantes et elle ne peut cesser qu’après l’avènement d’une foi nouvelle*”...*) Кажется, я цитирую дословно.

— Слова замечательные, — сказал Яценко. — Это из какого произведения Конта?

— Из его письма к императору Николаю I. У нас в России, кажется, никто об этом письме и не слышал. В политическом отношении письмо было реакционно. Конт писал царю чрезвычайно почтительно, сообщал, что он сам всю жизнь боролся с ложными идеями народоправства и равенства, приветствовал то, что в Россию не допускаются разные зловерные западные писания, советовал ее достойным правителям или губернаторам, *ses dignes gouverneurs*, защищать и дальше русский народ от западных лжеучений, но вместе с тем советовал отменить крепостное право, не разрушая больших имений, а превращая их понемногу в огромные промышленно-земледельческие предприятия. Вместе с тем он говорил царю, что царская власть все равно кончится. Правда, успокаивал его тем, что это будет еще не так скоро, не при нем, а при его *digne successeur***), и что во всем мире неизбежно установится республиканская диктатура для осуществления позитивистического миропонимания. Намекал даже, что таким республиканским диктатором мог бы стать сам царь, с его *dignes gouverneurs*.

— Да это, если хотите, кроме последнего пункта,

*) «Анархия бывает следствием непоправимого упадка старых господствовавших верований, и она проходит лишь после появления новой веры».

**) Достойном наследнике.

пророческое письмо: и диктатура есть, и даже комбинаты есть, — сказал Делавар.

— Во всяком случае диагноз и объяснение причины болезни даны, по-моему, совершенно правильно, — сказал Дюммлер. — Все дело именно в этом: пока новой веры не будет, будет хаос. А если есть вещь, в которой я совершенно уверен, то это то, что такой новой верой не может быть экономический материализм. Откуда новая вера возьмется, никто не знает. Может быть, из каких-либо маленьких *séances**), которые дадут начало новым великим движениям.

Разговор скоро все же стал спотыкаться. Несмотря на свою усталость, Дюммлер, опытный хозяин дома, делал что мог. Он видел, что Тони зеваает, что как будто скучновато и Яценко. «Вот пусть познакомятся, она ему и расскажет о нас», — решил он и, под предлогом делового разговора, отозвал к письменному столу Фергюсона и Делавара.

— А вы пока можете, друзья мои, поговорить по-русски, — ласково сказал он Тони и Виктору Николаевичу. Американский профессор на них оглянулся.

Тони не очень внимательно слушала то, что Яценко говорил ей о красоте Avenue de l'Observatoire. «Кажется, я внушил ей антипатию, хотя и не знаю, чем. И что за манера разговаривать, точно она ничего не слышит и изучает мое левое ухо! Говорок у нее как у старой петербургской барыни, и манеры какие-то старо-помещичьи, повелительные. Откуда бы это у молодой эмигрантки?.. Самое лучшее у нее глаза. Только очень странные зрачки. И волосы шелковистые, прелестные... А все же такой женщине я верно последней предложил бы «руку и сердце», — думал Яценко; он с тридцатилетнего возраста так при-

*) Кружки.

меривался к молодым барышням: «могла ли бы она стать моей женой?»

— ...Вы, кажется, писатель? — спросила Тони со скучающим видом. — Что же вы пишете?

— Недавно кончил историческую драму.

— Историческую драму?.. Может быть, вы хотите еще чаю?

— Нет, благодарю вас.

— Историческую драму из какой эпохи?

— Двадцатые годы прошлого столетия.

— Что же было интересного в двадцатых годах прошлого столетия? Глухая реакция во всем мире. Я вам все-таки принесу еще чашку. На кухне полный чайник кипятка. Не хотите, так я налью себе, — сказала Тони и вышла из кабинета. Профессор проводил ее взглядом. «Да, конечно, он в нее влюблен, — подумал Яценко, — а она?»

Тони вернулась только через несколько минут с чашкой в руке. «Чай холодный. Что же она делала в кухне? Вдруг выходила для того, чтобы вспрыснуть себе морфий?.. В самом деле у нее глаза как будто стали другими... Станный у нее этот жест: откидывает голову назад и налево, выставляя вперед грудь. Очень красиво и довольно непристойно. Знает, что идет ей!.. Кажется, я мысленно изменяю Наде», — шутливо думал он, высказывая какие-то мысли о литературе.

— ...А я в литературе люблю только поэзию, — сказала она. — Какой, по-вашему, лучший стих во французской литературе?

— Лучший стих во французской литературе? — переспросил он и задумался. — По-моему, “L’aurore est pâle encore d’avoir été la nuit”

— Это из Анри де Ренье?

— Да. Какая у вас память!

— Поэзия должна волновать, а это не волнует. Николай Юрьевич говорит, что поэзия должна звать

к добру и что президент Линкольн, поэт в душе, любил заканчивать свой рабочий день помилованием преступника. Но это не то, совсем не то. А вот я люблю английские стихи: "Little know they — of hidden rocks — those sailors gay — who sail away — of reefs and squalls — And stormy weather — whose ships like an egg-shell — shall crumble together",*) — прочла она медленно.

— Откуда это? Я не помню.

— И я не помню. Только это верно: во всем судьба... Истину нельзя з н а т ь. Ее можно только чувствовать. Когда человек чутьем познал истину, он царь. Тогда можно лгать, обманывать, даже красть и все-таки исполнять волю Хозяина.

«Почему она говорит так искусственно? «Воля Хозяина»? Сказала бы просто «Божья воля», — подумал он.

— По каким же признакам человек может узнать, что он выполняет волю... Волю Хозяина?

— Женщины это чувствуют. Во всяком случае я. Женщины и должны были бы править миром. Вот как в шахматах, где самая мощная и самая опасная фигура — женщина... Мужчины этого не понимают. Гранд говорит, что у меня «комплекс Клеопатры»... — Она засмеялась. — Вы верно находите, что я говорю бессвязно? Это меня заразил Дюммлер. По-моему, у него старческая болтливость. В большой дозе его разговоры стали невыносимы. И зачем он столько цитирует, иногда ни к селу, ни к городу?.. А лучшая поэзия в мире, конечно, тоже русская.

— Правда? Постойте, я должен угадать, кто ваш любимый поэт? Лермонтов?

*) «Немного же знают они, эти отправляющиеся в море веселые моряки, о скрытых рифах и о бурях. И, как яичная скорлупа, разобьются их суда».

— Едва ли угадаете. Мой любимый поэт — Языков. Он наш первый национальный поэт.

— Языков? — переспросил Яценко, тщетно стараясь вспомнить что-либо из Языкова.

— Вы верно его никогда и не читали. Его теперь все забыли. А вы знаете, что Пушкин заплакал только раз в жизни при чтении стихов, и это были именно стихи Языкова!

— Какие? Вы знаете их на память?

— Знаю. Только вам они не понравятся. Ведь вы стали Вальтером Джексоном, — сказала она с усмешкой. Яценко вспыхнул, что доставило ей удовольствие. — Если хотите, я прочту, — предложила она и стала читать вполголоса. Она читала стихи с таким видом, точно сама их сочинила:

Чу! труба продребезжала!
 Русь! тебе надменный зов!
 Вспомяни ж, как ты встречала
 Все нашествия врагов!

Созови от стран далеких
 Ты своих богатырей,
 Со степей, с равнин широких,
 С рек великих, с гор высоких,
 От осьми твоих морей!

— Вам не нравится, правда? Вы где были во время войны? В Нью-Йорке? — еще более насмешливо спросила она.

— Да, в Нью-Йорке. Но и вы, верно, были не в Сталинграде?

— Я была хуже, чем в Сталинграде, я была при немцах в оккупированной Франции. И вот эти стихи меня больше всего тогда и поддерживали:

Пламень в небо упирая,
 Лют пожар Москвы ревет;

Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!

Громче буря истребления!
Крепче, смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламень очищенья,
Это фениксов костер!

— Как будто пламя не очень нас очистило. Знаем мы эти фениксовы костры! Из одного вышла аракчеевщина, из другого то, чем мы теперь любимся... Надеюсь, вы не сочувствуете большевикам?

— Как это старо! Большевики тут ни при чем. По-вашему, они выдумали классовую ненависть? А нашу поговорку помните: «Хвали рожь в стогу, а барина в гробу»?.. Мы всегда были большевиками.

— Так иногда говорят иностранцы.

— Иностранцы пусть мелют, что угодно, мне до них дела нет! — сердито сказала она. — А вот, если хотите, я вам прочту то, чего вы наверное не знаете! Это из воззвания атамана Кондратия Афанасьевича Булавина в пору его восстания при Петре. — Не дожидаясь ответа, она продекламировала так, как это сделала бы артистка где-нибудь на вечере в пользу нуждающихся студентов: «Атаманы молодцы, голь кабацкая, голытьба непокрытая, дорожные охотнички и всякие черные люди! Кто похочет с атаманом, со Кондратием Афанасьевичем погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить-поесть, на добрых конях поездить, — то приезжайте на вершины Самарские! Да худым людям, и князьям, и боярам, и немцам, за их злое дело не спускайте, а всех людей посадских и торговых не троньте, а буди кто напрасно станет кого обижать, и тому чинить смертную казнь»... Это что, Ленин выдумал или Сталин?.. А вы вероятно стоите за американскую интервенцию в России?

— Нет, я против какой бы то ни было интервен-

ции, — ответил Яценко. Он видел, что начинается один из тех разговоров, при которых люди думают преимущественно о том, как бы уколоть друг друга.

— Поэты всегда любили Россию, даже иностран-
ные. Гейне предпочитал ее Англии и говорил, что
Германия рядом с Россией это селедка, равняющаяся
с китом. А Блок? Или, может быть, он так несчастлив,
что вы и его не любите?

— Очень люблю. Но в политике Блок решитель-
но ничего не понимал. Теперь у эмигрантов популяр-
но его панибратское обращение к Пушкину: «дай мне
руку в непогоду» и т. д. Он называл «непогодой» то,
что сделали большевики! Я там прожил двадцать лет
и эту «непогоду» хорошо помню, никогда не забуду.
Но с талантливых поэтов нечего спрашивать, а в обык-
новенных людях мне не очень нравится это языков-
ское начало. Ваш «Кондратий Афанасьевич» хоть в
самом деле был удалой атаман, а вот когда казачье
удальство изображают мирные профессора, или дети
профессоров, или элегантные дамы, это много ху-
же, — сказал он. «Зачем я говорю так нелюбезно?
Какое мне дело?»

— Вы верно глухи к поэзии.

— Смотря к какой.

Она что-то сказала об искусстве вырождающейся
буржуазии. «Ах, какая скука!» — подумал Яценко.

— Эти нападки на вырождающуюся буржуазию
можно прочесть во всех большевистских газетах, —
сказал он. — Знаменитый австрийский музыкальный
критик Ганслик говорил, что концерт Чайковского для
скрипки и оркестра пахнет водкой. Это было и не-
справедливо, и просто глупо. Но водкой действи-
тельно пахнут некоторые общие места патриотических
советских газет, и даже не водкой, а самогоном. —
Теперь вспыхнула Тони. — Я не думал, что вы так
сочувствуете товарищам. Ведь вы...

— Это довольно плоско говорить «товарищи»! Уж писателю так говорить не следовало бы!

— Ведь вы, кажется, эмигрантка?

— Мои родители были эмигранты. Мой отец был чистокровный великоросс, а мать из старого балтийского рода, породнившегося с международной аристократией. Так что у меня есть, кроме чисто русской, и немецкая, и венгерская, и бельгийская кровь.

«Понимаю. То-то ты «такая русская, такая русская», — подумал Яценко.

— Так вы хорошо знаете свою генеалогию? У нас в России дворяне о своих предках знали мало, да и то больше по наслышке.

— Я не по наслышке. У моей матери сохранилась книжка об ее роде. Прелестное старинное издание, с цитатами на разных языках. Есть даже кое-что по-латыни. По-латыни потому, что слишком непристойно.

— Как так?

Она засмеялась.

— Видите ли, в этой книжке есть выдержки из протоколов процесса одной моей прабабки, казненной в 1609 году. Она была колдунья, и ее сожгли. Эта женщина, писаная красавица, сошлась с моим предком, хотя была из простых. У нее родился сын. Мой предок пустил в ход связи и усыновил ребенка, верно к ужасу своих родных. Затем он ее бросил, она сбилась с пути и стала колдуньей.

— Значит, в ваших жилах есть кровь колдуньи? — спросил Яценко с насмешкой. И вдруг он подумал, что нечто в этом роде можно было бы использовать для второй пьесы. Он замер от радости. «Вот именно этого звена мне нехватало».

— Да, есть, — кратко ответила она без улыбки. — Перед казнью колдунья, вероятно, проклинала весь наш род. Впрочем, в протоколе этого нет, — добавила она помолчав.

— А нельзя ли прочесть эту книжку?

— Нет, я никому ее не даю. Это наша единственная семейная драгоценность. Впрочем, все сие не суть важно... Вы сказали, что я эмигрантка. Отец мой умер в начале эмиграции, мать — от рака, несколькими годами позднее. Я во Франции воспитывалась, но я никак на эмигрантку не похожу, вы не найдете ни одной такой эмигрантки, как я! Скажу больше, я ненавижу эмиграцию и эмигрантщину. В России все лучше, чем в Европе: и литература, и музыка, и особенно театр. Я здесь не видела ни одной хорошей пьесы, а большой актер был один, да и то он учился в России, у наших артистов. Это Люсьен Гитри.

— Да, Люсьен Гитри был очень большой артист, — сказал он еще более равнодушным тоном. — Значит, вы живете чужими воспоминаниями о России?

— Нет, своей натурой и своими взглядами.

— Но как же вы при таких взглядах работаете с эмигрантом Николаем Юрьевичем?

— Это уж мое дело, с кем я работаю!

— Разумеется, — сказал Яценко и опять подумал, что незачем делать себе врага в том обществе, в которое он собирался войти. «У меня в самом деле портится характер. Что, если теперь попробовать лесть, самую галантерейную лесть? Подействует ли?» Он сказал ей какой-то очень банальный комплимент. Лицо Тони посветлело.

— А ведь я вам соврала, — через минуту сказала она с улыбкой. — Я читала вашу пьесу.

— Неужели?.. Но ведь вы меня спросили, о чем она?

— Говорю же вам, что соврала. Я часто лгу без причины. Как все люди. Как вы.

— Нет, я редко и только в случае крайней необходимости. Разница громадная.

— Вот вы и теперь говорите неправду: все люди лгут на каждом шагу. Верю, что вы лжете реже, чем другие. Реже, чем я, наверное!.. Я иногда воображаю

свою жизнь: как было и как будет. Целыми часами фантазирую: вот будет так — и все себе представляю, все до мельчайших подробностей; а потом представляю себе совершенно иначе, тоже до мельчайших подробностей. Я не всегда большевичка. Иногда я совсем, совсем другая. Но сейчас я говорю правду: ложись гусь на сковороду.

«Сейчас ты говоришь правду, потому что пьяна», — раздраженно подумал Яценко.

— Насчет меня вы ошибаетесь. Parlez pour vous. Я правдивый человек.

— Ну, хорошо, допустим. Во всяком случае вы не банальный человек, судя по «Рыцарям Свободы». Как писатель, вы слишком для меня рационалистичны. Вы все объясняете, ищете всему причин. Он, мол, тосковал потому, что у него была расстроена печень. Она страдала потому, что он ее разлюбил. Им было тяжело потому, что у них не было денег. А вот у меня все это более или менее в порядке, а я, может быть, накануне nervous breakdown*). И причин никаких нет или, по крайней мере их не опишешь. И еще одно: вы очень ч и с т и т е жизнь, приукрашиваете ее. У вас краски яркие, но не совсем естественные, вот как в цветном кинематографе.

«Это не так глупо», — подумал Виктор Николаевич. Она заговорила о пьесе. Хорошо ее помнила и очень хвалила. «Вот и на меня подействовала лесть, — подумал он. В ней в самом деле есть очарование... Надя все хвалит, что я пишу, но эта хвалит тоньше. Впрочем Надя в сто раз лучше ее, и сравнивать глупо! Жест очень картинный и соблазнительный, но она им немного злоупотребляет. На кого она похожа?» — После разговора с Дюммлером он тоже бессознательно настроился на сравнения с живописью.

— Вы похожи на портреты, которые Алексис Гри-

*) Нервное потрясение.

му писал, когда бывал пьян и не слишком добр. Эти портреты очень красивы и чуть фантастичны. Всегда впечатление: что-то не то, — сказал он и подумал, что на этот раз, в виде исключения, подтвердил ее слова: без причины говорил не совсем правдиво, — большого сходства с портретами Гриму в Тони не находил, да и помнил их плохо. «А вот, что «что-то не то», это совершенно верно».

— Что же не то?

— Не знаю.

Дюммлер подошел к ним и тяжело опустился в кресло.

— Я сообщил нашим друзьям, что вы склонны были бы войти в «Афину», — сказал он. — Все мы очень этому рады. Вам надо будет проделать некоторые, несложные формальности. Тони вам все это изложит.

— Но, повторяю, я хотел бы оставить за собой право выйти, если я увижу, что не подхожу для общества, — сказал Яценко. Американский профессор одобрительно наклонил голову.

— Это само собой разумеется. Мы уходящих не закалываем, — с улыбкой сказал Дюммлер. — Но мы надеемся, что вы от нас не уйдете. И хотя до выполнения этих формальностей вы еще не считаетесь членом нашего общества, я хочу, чтобы вы, а заодно и мы все, послушали музыку, которой будут открываться наши торжественные заседания. Наш замечательный музыкант Гранд сегодня не мог прийти. Мы его просили подыскать что-либо подходящее, и он остановился на «Волшебной Флейте» Моцарта.

— Прекрасный выбор, — сказал Фергюсон.

— Да, может быть, хотя я предпочел бы новую музыку. Новая музыка построена на диссонансах, как и вся современная жизнь и мысль, — сказал Делавар с очень значительным видом. У Дюммлера чуть втя-

нулись щеки, он уже давно с трудом подавлял зевки. Делавар это заметил и обиделся.

— Это очень интересное суждение, — поспешно сказал Дюммлер.

— Во всяком случае музыка единственное вечное искусство, хотя ее губит радио. Литература идет к концу, прежде всего в силу перепроизводства. В мире выходит, кажется, около ста тысяч книг в год. Таким образом литературная известность становится чистой иллюзией. Никто никого не знает, никто никого не читал.

— Тем более приятно, что вы при таком взгляде все же не отказываетесь поддерживать некоторые литературные начинания, — сказал Дюммлер и пояснил сидевшему рядом с ним Яценко: — Мосье Делавар обещал дать некоторую сумму на издание одной книги о Бакунине.

— Хорошо, что вы напомнили. Я сейчас напишу вам чек, — сказал Делавар и вынул из кармана чековую книжку.

— Я в мыслях не имел напоминать. Помилуйте, ничего спешного, — ответил Дюммлер, по долгому опыту знавший, что такие дела никогда не надо откладывать. — Очень мило с вашей стороны, — сказал он, бегло взглянув на чек. «Что бы о нем ни болтали, а деньги он умеет давать просто и хорошо. Щедрого от природы человека всегда можно узнать по тому, как он жертвует деньги».

— Вы, кажется, сами играете на рояле? — спросил его Фергюсон.

— Когда-то играл. Люблю музыку и по сей день, но судить о ней не смею. По-моему, для этого надо ею заниматься специально лет пять-шесть, надо знать гармонию и контрапункт, — сказал Дюммлер. — Вы знаете «Волшебную Флейту»?

— Знаю и очень люблю, — сказал Яценко. — Кто же будет играть?

— Наша милейшая Тони не откажет нам в этом удовольствии.

— Вы знаете, что я играю плохо. Гранд действительно замечательный музыкант, так что я его заменить не могу, — сказала Тони, но села за рояль.

Дюммлер, слушая, морщился. «Не то, совсем не то, нехорошо. Господи, все педаль и педаль! Надо было бы отменить в «Афине» и музыку, так только людей насмешишь». Тони напевала и слова, сначала вполголоса, потом громче. «...*La haine et la colère — Jamais n'ont penetré — Dans ce séjour prospère — Des hommes revivés*»*)... Яценко слушал рассеянно. «Что же это все-таки за общество, эти *hommes revivés*? Неопозитивисты? Неоэкзистенциалисты? Теперь в Париже всяких таких *sénales* хоть пруд пруди... Однако Николай Юрьевич, конечно, не пошел бы в глупенькое или нехорошее общество. За ним я как за каменной горой», — думал он, не сводя глаз с Тони. Глаза у нее блестели все больше — или так ему теперь казалось. Он был недоволен собой, особенно тем, что сравнивал ее с Надей. «Тут и сравнения быть не может! Эта совершенно изломанная особа, словечка в простоте не скажет. Да, вероятно, морфинистка»... Он встретился глазами с Тони; она смотрела поверх его лба, и в ее взгляде ему показалась насмешка.

*) «Не проникали никогда ненависть и гнев в это благоденствующее убежище возрожденных людей»...

VI.

Профессор Вильям Фергюсон считался по справедливости одним из первых физико-химиков в Соединенных Штатах. Он был знаменит, поскольку им может быть ученый: человек сто в мире хорошо знали, что именно он сделал. Большинству же читающих газеты людей было известно, что он принимал участие в работе, которая привела к созданию атомной бомбы. Выпустил он в свое время и какую-то популярную книгу, но она большого успеха не имела, хотя критики говорили о ней чрезвычайно почтительно, без всяких колкостей, так, как пишут о знаменитых ученых и как почти никогда не пишут о знаменитых писателях.

Его ученая карьера шла хорошо. Первые же его работы обратили на себя внимание. Приложениями науки к промышленности он не занимался, патентов не брал, ни на каком заводе консультантом не был. Фергюсон всегда был совершенно бескорыстным человеком. Повышение профессорского жалованья доставляло ему удовлетворение преимущественно потому, что отвечало желаньям его жены. Она часто ему говорила, что другие ученые зарабатывают много больше и живут лучше. В действительности, много больше зарабатывали лишь те ученые, которые работали в промышленности. Труд профессоров, даже самых знаменитых, оплачивался скромно. При всем его бескорыстии, ему казалось странным и смешным, что он в год зарабатывает столько, сколько какой-нибудь радиокомментатор получает в месяц, кинемато-

графическая красавица в неделю, а чемпион бокса, быть может, и в день.

Семейная жизнь его была неудачна. Детей не было. Жена, бывшая лет на пятнадцать моложе его, разошлась с ним, когда он подходил к шестому десятку. Он уже давно не любил ее и тотчас согласился на развод. Чувствовал при этом не горе, а оскорбление: она вышла замуж за очень некрасивого, очень незначительного и очень богатого человека. Ему было, особенно в первое время, неловко перед знакомыми, в большинстве тоже профессорами. Дело было самое обыкновенное. Но он прожил с женой много лет, у них бывали его университетские товарищи. Разумеется, никто его ни о чем не спрашивал, и сам он ни с кем чувствами не делился; его попрежнему приглашали на обеды и приемы, а те из знакомых, которые продолжали принимать его жену, устраивались так, чтобы она и ее новый муж у них с Фергюсоном не встречались. Холостые профессора обычно у себя принимали мало, он перешел на положение холостого. Его материальное положение улучшилось после развода. Прежде у них никаких сбережений не было; дорогие вещи они с женой покупали в кредит, на выплату по частям. Теперь же он проживал не более трех четвертей жалованья: единственной его роскошью были дорогие сигары, помогавшие ему в работе.

Тотчас после окончания войны на него сразу обрушилось несколько несчастий или, по крайней мере, очень серьезных огорчений. Одно из главных было в том, что его способность к творческой научной работе слабела. Он прежде часто это замечал у своих старших товарищей; ему казалось, что с ним этого случиться не может. Когда-то он прочел у Оствальда, что великие открытия обычно делались людьми, не достигшими тридцатилетнего возраста. Это вызвало у него недоумение: каждая его работа казалась ему более важной, чем предыдущие. Теперь его ра-

боты стали несколько хуже. Вначале он говорил себе, что менее значительные результаты, быть может, объясняются усилением его критического чувства и требовательности. Затем правда стала ему ясна.

Тяжелое чувство еще осложнялось тем, что незаметно уменьшилась и его вера в науку. В свое время он, вместе с тем же Оствальдом, скептически относился к самому существованию атома и видел в нем только удобную рабочую гипотезу. Позднее атом стал реальностью. Но вместе с развитием атомистического учения Фергюсон почувствовал, что в его представлениях все зашаталось. Прежде человека, который усомнился бы в законах сохранения материи и энергии, сочли бы сумасшедшим. Теперь скорее сочли бы сумасшедшим того, кто считал бы эти законы вечной истиной. Каждый год приносил новые понятия. Появились протоны, нейтроны, позитроны, и как будто в самом деле их существование доказывалось фактами; люди же их открывшие были не менее уверены в существовании нейтронов и позитронов, чем в существовании кислорода или серной кислоты. Фергюсон был физико-химик, хорошо знал высшую математику, мог следить даже за ее новыми, специальными отделами. Но в молодости он из своих двух соприкасающихся наук больше занимался химией. Быть может, поэтому, да еще потому, что он прочел немало книг по истории и философии точных наук, он нелегко принимал многое в новой физике. Теорию относительности и теорию квант Фергюсон принял один из первых. Часть его собственных работ была связана с этими теориями, так что почти неминуемо должна была бы пасть вместе с ними. Между тем история наук показывала, что все теории, даже самые прославленные, живут лишь ограниченное время. Он перечитывал в немецком издании «Классиков точных наук» работы ученых прошлого времени и, вместе с восхищением, испытывал тягостное чувство: так много логической

силы, таланта, находчивости было истрачено на доказательство положений, которые даже не надо было позднее опровергать; они просто незаметно отметались в связи с переменой общих научных воззрений. Обычно ученые утешали себя тем, что опровергнутые или сметенные временем теории тоже служат развитию науки. Его эта мысль утешала плохо, и он с тревогой приступал теперь к изучению новых работ, — не колеблют ли они принятых им основных теорий?

Не любил он вспоминать и о своем участии в трудах, закончившихся созданием атомной бомбы. Его участие в них было менее близким, чем думали читатели газет. Он и его помощники лишь решили одну из бесчисленных задач, решение которых было необходимо для ее создания. На этом примере Фергюсон с особенной ясностью убедился в том, что наука все больше переходит от личного творчества к творчеству коллективному. Нельзя было даже сказать, кто именно атомную бомбу изобрел. Это задевало в нем чувство гордости. Но главное было в другом. В пору войны ему и в голову не приходило сомневаться, что способствующие победе изобретения нужны, законны, справедливы. Первое сообщение о разрыве атомной бомбы над Хирошимой не вызвало в нем ничего похожего на угрызение совести. Не высказывали сомнений и те левые журналы и газеты, которые он читал. Однако очень скоро, после капитуляции Японии, почти незаметно изменилось и настроение в этих изданиях, и его собственное настроение: он сам не мог бы сказать, повлияли ли на него газеты или же на них повлияли люди его образа мыслей. В науке Фергюсон думал самостоятельно: он, конечно, верил в авторитет других ученых, еще более известных, чем он сам, но критически относился к каждому их утверждению, часто задумывал, предлагал, производил опыты для проверки их мыслей. Во всем другом, и особенно в политике, это было и вообще невозможно,

и не под силу в частности ему. Он обычно шел за самым передовым течением.

Одновременно несколько поколебалась и его вера в то, что не очень определенно называлось *The American way of life**). В этой вере он вырос и почти не замечал ее, как не обращал внимания на то, что здоров, что каждое утро принимает ванну. Почти этого не ценил, как не мог бы восхищаться электрическим освещением или проточной горячей водой в квартире. Теперь всё, странным и нелогичным образом, сочеталось, чтобы способствовать ослаблению этой его веры: некоторые подробности развода в Ри-но, описание того, что произошло в Хирошимае, быстрота, с какой забыли о делах немецких национал-социалистов, полная перемена в отношении к России, пятнадцатимиллиардный военный бюджет после второй последней войны (он знал, что на 15 миллиардов в год можно было бы, да еще пользуясь атомной энергией для мирных целей, переделать жизнь в мире). Собственно, за все это «американский путь жизни» никакой ответственности нести не мог (разве только за Ри-но). Но Фергюсон постепенно изменял отношение к нему. Он давал деньги самым левым организациям, на выборах неуверенно голосовал за Воллэса, больше возмущался работой Комитета по расследованию *un-American activities*, чем делами, которые этот Комитет расследовал, хватался в политике то за ООН, то за общество американо-советской дружбы. Вся его и особенно его группы нехитрая, частью бессознательная, политика заключалась в том, чтобы, не выражая сочувствия коммунистам, отграничиваться где только можно от всех антикоммунистов. Таким образом он был демократ, но совсем, совсем не такой, как те демократы, которые коммунистов не любят. За время своей работы на оборону он познакомился с извест-

*) Американский путь жизни.

ными американскими государственными деятелями; они показались ему незначительными людьми. Впрочем, незначительным, особенно в умственном отношении, человеком ему показался и Воллэс. Зато в России у власти должны были находиться гиганты: их он никогда не видел.

И наконец, самое главное, ухудшилось его здоровье. Никакой опасной болезни у него не было, но организм понемногу изнашивался. Он теперь следил за своим телом, как следят за врагом, подумывая, откуда придет неожиданный удар. Не сомневался, что уменьшением его сил отчасти объяснялся уход от него жены, — и хотя он не любил ее, эта мысль была особенно тяжелой. Фергюсон начал думать о смерти, стал читать не те научно-философские книги, которые читал прежде, а книги метафизические и спиритуалистические. Многие в них было для него неприемлемо, но прежде он их и читать не стал бы. Они выигрывали от того, что точные науки понемногу теряли свой прежний совершенно реальный облик.

Университет дал ему командировку в Европу на три месяца. Как почти все командировки, эта была дана не по инициативе университета, а по его собственному желанию: для науки от нее, он понимал, особой пользы быть не могло. Но ему хотелось опять увидеть Англию, Францию, Италию: быть может, там был свой, европейский путь жизни? Фергюсон хорошо владел французским языком, бывал в Европе и прежде, но знал ее мало.

В Париже с ним случилось неожиданное событие: у одного из левых профессоров он познакомился с молодой русской дамой и почти в нее влюбился.

Она поразила его не своей красотой: среди его знакомых в Америке были женщины красивей ее. Он именно пленился тем, что она была совершенно на них непохожа. Все то, что он читал и слышал о России,

все общие места о русской душе, о русском мистицизме, о русской широте натуры, всплыло в его памяти. Фергюсон чувствовал, что с ней и при первом знакомстве нельзя говорить о погоде или о парижских развлечениях, — а надо говорить по меньшей мере о Достоевском. Он о Достоевском и заговорил, впрочем, не совсем искренне, несмотря на свою правдивость.

Из разговора выяснилось, что Достоевский самый любимый ее писатель. — «Я им годами бредила», — сказала она. Фергюсон, обладавший счастливой памятью, мог с честью поддержать разговор. Он восторженно думал, что эта русская дама похожа не то на Аглаю, не то на Грушеньку, — в его памяти все такие женщины Достоевского смешивались. Оказалось также, что в политике он и Тони были почти единомышленники, — она была впрочем еще радикальнее. Фергюсон попросил разрешения у нее бывать. На следующее утро он зашел в книжный магазин: там нашлись «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Вечером того же дня он был у Тони. Она не думала, что он придет так скоро. Фергюсон сам этого не думал и даже, по прежним своим понятиям, находил это не совсем приличным. Вдобавок, он принес цветы.

Жила она бедно, в крошечной меблированной комнате, правда очень чисто убранной: нигде не было ни соринки, все было в совершенном порядке. Почему-то он думал, что у такой женщины в квартире должен быть хаос. Но это тоже свидетельствовало о разносторонности ее натуры. Тони угощала его чаем. У нее были только две чашки, две ложечки, два блюдецка; это тоже было очаровательно. При первом их знакомстве он с недоумением поглядел на ее ожерелье. Она носила его и у себя дома. Тони сообщила ему, что ожерелье ей оставила на хранение дама, погибшая в пору немецкой оккупации. — «Разумеется, я отдам его, как только найдутся наследники». Собственно в

этом ничего удивительного не было: все знакомые Фергюсона поступили бы тут так же, как она. Однако в ней и это показалось ему необыкновенным. Они опять говорили о серьезных предметах, о Достоевском, о политике, и выходило — не строго логически, а где-то на какой-то духовной высоте, — что советский Way of life не то продолжает миропонимание Достоевского, не то как-то по-иному вытекает из него, хотя и нельзя было сказать с уверенностью, что если б Достевский был американским гражданином и жил в 1948 году, то он голосовал бы за Генри Воллеса.

Фергюсон стал бывать у Тони часто. Иногда выпадали неудачные дни. Она больше молчала, видимо скучала и только и хотела, чтобы он поскорее ушел. Случалось даже, принимала его не очень любезно: по природе была резка. «Что ж, у каждого из нас бывает дурное настроение», — с горечью думал он, возвращаясь к себе. Зато порою, даже часто, Тони бывала в ударе. В такие дни он восхищался ею необыкновенно; ему казалось, что нельзя было бы говорить умнее. У нее была небольшая библиотека, состоявшая из произведений поэтов, преимущественно русских, старых и новых. Она говорила, что без стихов не могла бы жить. Ей нравились самые трескучие стихи, самые пышные поэмы Байрона.

Тяготила его ее очевидная бедность. Тони отлично знала иностранные языки и довольно быстро писала на машинке. Ему секретарша не была нужна, писем он писал немного. Он вспомнил, что хотел лучше познакомиться с русской физико-химической литературой. Брукхэвенский "Guide" излагал работы в извлечениях, он решил ознакомиться с подлинниками. Фергюсон предложил Тони приходить к нему днем, часа на три, для устного перевода. Она, немного подумав, согласилась. По незнакомству с научной терминологией, она переводила нехорошо и медленно; труды советских физико-химиков были не очень интересны: там

ученые неизменно бросались на все новейшее, но средний уровень был много ниже, чем в Соединенных Штатах. Тем не менее он был в восторге. Эта работа и особенно перерывы для отдыха и чаю стали главной радостью его жизни. Через неделю оказалось, что у него нашлась бы работа и в другие часы, если бы секретарша всегда была при нем; между тем жила она далеко, и телефона у нее не было (ему трудно было понять, как это люди живут без телефона). Преодолев смущение, он спросил ее, не согласилась ли бы она на время его пребывания в Париже поселиться в его гостинице. Тони согласилась и на это. Фергюсон, тоже смущенно, сказал швейцару, что ему нужна комната для секретарши. Швейцар, очевидно, в этом ничего предосудительного не нашел. Через два дня освободилась комната рядом с его номером.

Париж, старый, вечный освободитель, понемногу производил на Фергюсона свое волшебное действие. В этом городе негр мог председательствовать в законодательном собрании, глава государства, если б хотел, мог бы иметь любовницу, гостиницы не требовали, чтобы были отворены двери комнаты, в которой дама принимает мужчину. Личная человеческая свобода здесь была добавлением к тому, что говорилось в Декларации прав и в жизни осуществлялось не всегда хорошо. Он теперь особенно оценил важность этого добавления. Знакомые французские ученые принимали его с менее широким гостеприимством, чем принимали американцы; но они не интересовались его частной жизнью и к его секретарше отнеслись, повидимому, с полным одобрением. Он бывал только в очень передовом кругу. Там познакомился с Дюмлером, который сразу его очаровал. Ему было не совсем понятно, каким образом столь передовой и радикальный человек мог стать эмигрантом: с понятием о русской эмиграции у Фергюсона связывались Кобленц и чуть только не кнут. Он был в Париже п о ч т и

счастлив. Совершенно счастлив не мог быть: ему было пятьдесят восемь лет.

Тони предложила ему стать членом «Афины». Он сначала ничего не понял: позитивистическое общество с каким-то ритуалом! Объяснения Тони были не очень ясны; ему даже показалось, что она сама не совсем понимает задачи общества. Узнав, что во главе его стоит Дюммлер, он обратился с вопросами к старику. Его разъяснения были совершенно другие.

— Но зачем ритуал? — спросил Фергюсон. — Для чего философскому или политическому обществу ритуал?

Дюммлер пожал плечами.

— Это, разумеется, в «Афине» никак не главное. Что ж делать, у нас много поклонников Конта, они на этом настаивают, ссылаются на традицию... Впрочем, другие формы ритуала не смущают нас только потому, что мы к ним привыкли гораздо больше. Вы не масон?.. Если б вы были масоном, вы знали бы, что у них всего этого гораздо больше, чем у нас. А военный ритуал, да и много других! Войдите, присмотритесь. Я собираюсь прочесть доклад о характере и задачах общества, вот послушаете. Нам такие люди, как вы, особенно нужны.

«Неужели они в самом деле думают, что из этого может выйти большое движение?» — с таким же недоумением, как Яценко, подумал Фергюсон. Однако участие Тони и Дюммлера говорило в пользу «Афины». Он согласился присмотреться. После первого заседания мысли у него еще спутались. Ритуал был довольно простой, но молитвы по Конту, декорация храма, плохая статуя Афины очень ему не понравились. Не понравились ему и два человека, тоже, по видимому, бывшие руководителями: Делавар и Гранд. Не понравилась и часть посетителей. На одном из заседаний ему показалось даже, что он попал в общество не совсем нормальных людей. Дюммлер улыбал-

ся. «Ну, что ж, подожду его доклада», — нерешительно сказал себе профессор.

По делам научной командировки ему надо было съездить дней на десять в Кембридж и Эдинбург. Он предложил Тони на время его отсутствия отдохнуть в Ницце. Видимо, она была очень утомлена. Он смутно предполагал, что до поступления к нему на службу Тони, быть может, и голодала.

В Кембридже он в первую ночь проснулся в ужасе: что, если она никогда к нему из Ниццы не вернется. «Кажется, я совсем с ума сошел? Ведь все равно я скоро вернусь в Америку!» Мысль о том, что он в пятьдесят восемь лет влюбился в молодую девушку, была и очень странна, и вместе радостна. Ясно было, что он не может приехать в свой университетский городок в сопровождении юной русской секретарши. Но теперь, ночью, ему было не менее ясно, что без Тони жизнь потеряет для него смысл.

Она вернулась, как было условлено, в тот же день, что и он. Фергюсон встретил ее на вокзале с цветами. Оба старались держать себя совершенно просто, точно у старого профессора и молодой секретарши должны были быть именно такие отношения. Скоро они стали завтракать и обедать вместе; Тони платила за себя, Фергюсон согласился и на это. Никаких интимных разговоров между ними не было, даже за вином. Он все время думал, что должен начать такой разговор, но не мог решиться. В отличие от большинства слабохарактерных людей, он и не считал себя человеком сильной воли.

Дюммлер убедил его прочесть в «Афине» доклад. — «Тема совершенно по вашему усмотрению. Читайте так, как если б вы читали в университетском философском кружке. У нас доклады будут всякие. По-французски вы говорите вполне свободно». Фергюсон выбрал тему о научных воззрениях в первый период греческой философии. Этот период прежде ин-

тересовал его. Он нашел у Анаксагора довольно ясное предвиденье закона сохранения матери и атомной теории, — заглянул в многотомные труды по истории философии и не нашел там ссылок на это предвиденье; таким образом как будто выходило, что он сделал маленькое историко-философское открытие. Греческого языка он не знал, но достал издание философов до-сократовского периода в немецком переводе. Однако, готовясь к докладу, убедился, что научные размышления греков его больше не интересуют: да и очень уж далеки были взгляды Анаксагора и Демокрита от той атомной теории, которой занимались ученые двадцатого века. Теперь его интересовали религиозно-метафизические воззрения древних мудрецов. «Я ли это приближаюсь к смерти или умер прежний Фергюсон?» — спрашивал он себя. Его поразила мысль Гераклита: «Для богов все прекрасно, все чисто, все справедливо. Только люди думают, будто одно справедливо, а другое несправедливо».

От греческой философии он перешел к греческой поэзии. По уставу «Афины» он должен был выбрать себе молитву и дать ее на утверждение Председателю. Он выбрал стих Ксенофана: “Nicht gleich anfangs zeigten die Götter den sterblichen alles — Sondern sie finden das Bessere suchend im Laufe der Zeiten”.*) Дюммлер эту молитву одобрил. — «Я уверен, что вы найдете путь к счастью», — сказал он. Фергюсон часто слышал от старика слова «путь к счастью», «путь к освобождению», однако не очень понимал их смысл.

За тридцать пять лет он так привык к чтению лекций и докладов, что в университете, в ученых обществах часто выступал не имея перед собой даже краткого конспекта: почти ничего не забывал, не отвлекался, говорил всегда ясно, логично, хоть без блеска и не за-

*) «Не сразу все показали боги смертным: в долгих поисках нашли они лучшее».

ботясь о блеске. Любил повторять вслед за физиком Больцманом: «элегантность надо оставить портным». В «Афине» надо было говорить по-французски, это было гораздо труднее. Он собирался было написать доклад, отдать его Тони для перевода и прочитать по написанному тексту. Но времени было мало, и, главное, читать он не любил, да и знал, что это расхолаживает слушателей. Решил поэтому говорить как Бог даст и приготовил только вступительную фразу: “Je commence par demander toute votre indulgence: j’aime votre belle langue, mais malheureusement je la parle assez mal”.*) Маленькая трудность была и с обращением. “Mesdames et Messieurs” было в «Афине» не принято. Обычно ораторы обращались к аудитории: «Братья и сестры». «В церквях, в проповедях тоже так говорят, в масонской ложе обращаются друг к другу «брат», — там хоть «сестер» нет. Конечно, это дело привычки», — говорил он себе, но вместе с тем чувствовал, что просто физически не в состоянии обратиться со словами: “Mes frères, mes soeurs” к аудитории, в которой будет Гранд, Делавар и несколько десятков совершенно незнакомых ему господ и дам. Решил обойтись без всякого обращения. «Иностранцу простят несоблюдение правила»...

В день доклада он еще раз просматривал книги, делая закладки и отметки в тех местах, которые хотел процитировать. В его номер вошла Тони.

— Кончили работу? — спросила она. «Особенность его лица — брови, косые, точно недоделанные, похожие на французский accent grave. Они придают ему наивно-удивленный вид, — подумала Тони. — Смешно».

*) «Начинаю с просьбы о снисхождении: я люблю ваш прекрасный язык, но, к сожалению, говорю на нем довольно плохо».

— Кончил. Только, кажется, будет скучновато. А я именно о греческой философии не хотел бы говорить сухим профессорским языком. У них знание так тесно перемешивалось с поэзией, что...

— Так и должно быть! — резко перебила она его. Он взглянул на нее и увидел, что у нее было то выражение на лице, которое он про себя называл «вдохновенным». Такой он уже видел ее раза три. По его понятиям, вдохновенное выражение лица должно было быть у больших поэтов, но он ни одного большого поэта не знал. Когда у Тони бывали вдохновенные глаза, она говорила очень много. Ему нравился ее дар слова, но она говорила странно и вызывала у него безотчетную тревогу.

— Почему?

— Потому, что человек не может логически прийти к истине. Это вздор! Истину можно только почувствовать, и это есть высшее, единственное возможное на земле счастье. Когда человек чутьем познал истину, он царь, тогда все остальное не имеет никакого значения, тогда можно лгать, обманывать, красть и все-таки быть счастливым. Если же человек сам истины не чувствует, то ему могут указать ее другие. Например, махатмы.

— Махатмы? — с некоторым испугом переспросил Фергюсон. — Так, кажется, называли Ганди? При чем же тут он?

— Ганди тут не при чем. Я о нем и не говорила. В Индии называются махатмами разные мудрецы, живущие в пещерах.

— А они тут при чем?

— Об этом мы поговорим в другой раз...

— Но отчего же людям не действовать по своей воле?

— Оттого, что они сами себя не понимают. И вы не понимаете! И вам совершенно нечего делать в

«Афинах»! Вам лучше уйти возможно скорее в вашу лабораторию.

— Но вы сами меня убеждали войти в «Афину».

— Я ошиблась. И я часто меняю взгляды.

— Как все женщины, — сказал Фергюсон. — «Не очень умно сказал и даже не очень верно, все они упрямы, как осел», — подумал он, вспомнив о своей бывшей жене.

— Женщины все-таки лучше мужчин, — ответила она, вспомнив о Гранде. — Они переменчивы? Но в этом их сила. Только тупые, ничего не ищущие люди не меняются и не меняют взглядов. Женщины и должны были бы управлять миром. Вот как в шахматах, где самая мощная и самая опасная фигура — женщина. Мужчины этого не понимают. Гранд называет это «комплексом Клеопатры». Он пытается насмеяться, а здесь ничего смешного нет.

— Тони, зачем... Зачем вы говорите такие вещи? Вы так умны, я так люблю вас слушать... Зачем махатма и весь этот... Я вошел в «Афину» потому, что вы этого хотели. Но я пока не вижу причины уходить. Из «Афины» может выйти толк.

— Вы хотите, чтобы это было философское общество, а мне философское общество не нужно! Их есть много, и они ничего в мире не меняют...

— А махатмы меняют?

— Могут переменить. Если же философское общество, то незачем соблюдать ритуал и играть Моцарта.

— И действительно незачем. Однако это подробность.

— Это не подробность. И вашей физикой вы тоже меня не прельстите, — сказала Тони. «Нет, он мне не нравится, — подумала она. — И он стар. Уж тот драматург лучше, а с Грандом по крайней мере мне не скучно». — В «Афину» я еще могу поверить, а во все остальное, во все ваше не верю. Вы стали членом на-

шего общества и обязались соблюдать правила. Согласно воле Конта, наш устав требует, чтобы каждый член братства избрал себе молитву. Какую молитву вы выбрали?

— Ах, не все ли равно! Я возьму вот оттуда. — Он указал на лежавшую перед ним книгу с белым корешком.

— “Die Vorsokratiker”,*) — прочла она. — Конт велел брать молитвы из сокровищницы поэзии.

— А я возьму из сокровищницы философии, — сказал Фергюсон, подчеркивая книжное слово. Тони часто их употребляла и это было ему неприятно. — Не все ли равно?

— Хотите, я для вас выберу стихи... Какой лучший стих во французской литературе?

— Лучший стих во французской литературе? — переспросил он и задумался. Он не был восприимчив к искусству, но старался следить за всем: читал поэтов, даже новейших и малопонятных, покупал много томные труды по истории музыки и живописи. — Не знаю.

— Лучший стих, — сказала она, — это “L’aurore est pâle encore d’avoir été la nuit”. Это из Анри де Ренье.

— Прекрасный стих! — Но вы однажды мне сказали, что...

— Мало ли что я говорила! Я часто лгу.

— Как лжете?

— Так, очень просто. Я и о Клеопатре лгала. Лгу без причины, как лгут часто и мужчины, даже настоящие. Вы мне не очень верьте. Я и сама себе не очень верю. И я умею подделываться под людей. Под Дюмлера, под вас. Я делала вид, будто я люблю правду, справедливость, прогресс, разум, не знаю, что еще.

*) «Предшественники Сократа».

А я ничего этого не люблю, — сказала Тони и по его изумленному, растерянному лицу почувствовала, что ему этого никак говорить не надо было. Она расхохоталась. — Полноте, не сердитесь. Я вас мистифицировала.

— Я так и думал. Как я рад, что вы шутили! — сказал Фергюсон. У него был радостно-испуганный вид человека, который вдруг потерял что-то очень дорогое и тотчас затем это нашел. — Впрочем, это особенная правдивость, когда женщина о себе говорит: «я часто лгу».

— Я знаю, что вы очень правдивый человек и не банальный.

— Я рад, что вы пришли в хорошее настроение духа. Вы почти всегда очаровательны, но...

— Только почти?

— Только почти, — твердо повторил он. — Но лучше всего вы тогда, когда вы веселы... И когда вы просты.

— Рада стараться, — по-русски сказала она и перевела ему эти слова. — Так отвечали солдаты в царской армии.

VII

С детских лет Тони помнила эту небольшую книжку в потертом кожаном переплете с золоченым обрезом, одно из тех старинных изданий, которые принято считать «чудесными». Ее родители проделали обычный путь эмигрантов: из Петербурга бежали в гетманский Киев, затем побывали в Одессе, в Екатеринодаре, в Крыму, долго ждали визы в Константинополе; тем не менее, несмотря на все переезды и эвакуации, книжка эта у них сохранилась, вместе с другими не очень нужными вещами, вроде университетского диплома отца, метрических свидетельств, облигаций Займа Свободы 1917 г. Книжка, заключавшая в себе историю рода матери Тони, появилась за границей лет двести тому назад. Род был довольно древний, с разветвлениями в Венгрии, Бельгии и в разных немецких странах; в Россию же он попал лишь в начале девятнадцатого века. Из предисловия было ясно, что, как обычно бывает с подобными трудами, эта книга была заказана одним из членов рода какому-то генеалогу или архивариусу. Но материалов у автора было недостаточно и, повидимому, желая разогнать свое произведение, он вставил в него немало посторонних историй и анекдотов. А из глухого намека в предисловии можно было как будто сделать вывод, что не все в них понравилось заказчику.

Тони было приятно, что со стороны матери у нее были в роду рыцари со звучными, длинными, чаще всего двойными, именами. Однако, всей книги она не

прочла и никак не могла запомнить, кто когда жил и кто на ком был женат. По-настоящему же ее интересовала только глава седьмая, в которой из рукописной судебной хроники семнадцатого столетия была приведена протокольная запись о процессе ее далекой прапрабабки. Эта простая девушка из народа (Тони мысленно называла ее Гретхен) была соблазнена рыцарем с длинной фамилией, родила ему сына, затем была брошена и стала ведьмой. Седьмой главы Тони никогда, особенно же в последний год, не могла читать без волнения и знала ее чуть не наизусть; разобрала в ней даже, со словарем, длинную непристойную цитату на латинском языке, напечатанную старым шрифтом, где С походило на Ф, а В не отличалось от У.

На этот раз книга открылась на странице 96-ой.

«На вопрос же высокочтимого Судьи о том, умерли ли ее родители естественной смертью или же были сожжены, ибо чаще всего либо отец ведьмы был колдуном, либо мать была ведьмой, как о том свидетельствует и «Маллеус Малефикарум», подсудимая отвечает, что и отец ее, и мать были честные крестьяне, и что она помнит только мать, да и ту плохо, так как та умерла, когда ей было пять лет, а она кормилась девочкой в замке. И, не поняв высокочтимого Судью, спрашивает, что такое естественная смерть, а получив разъяснение, отвечает, что родители ее умерли, как все люди: отец на войне, а мать от болезни.

«На вопрос, достопочтенного первого Ассессора, почему ее соседи ненавидели, отвечает, что не знает и что она всегда была дурной девочкой и много шалила и худо себя вела, оставшись без родителей. На его же вопрос, не могли ли ее соседи и особенно соседки, выступавшие накануне свидетельницами, возвести на нее обвинение в колдовстве по злобе или по зависти к ее красоте и молодости, отвечает, что могли, но, кроме как о заклятии и о дымовой трубе, ска-

зали правду, ибо она, как и показала после ареста, действительно ведьма и заслуживает смерти и хочет умереть возможно скорее, лишь бы без новых больших мучений. На что достопочтенный первый Ассессор просит высокочтимого Судью помнить, что на допросах, производимых при посредстве палача, подсудимые нередко возводят на себя небылицы. Достопочтенный же второй Ассессор предлагает пишущему сие Малефиц-протоколисту и городскому писцу занести в протокол это заявление достопочтенного первого Ассессора.

«На вопрос достопочтенного первого Ассессора, в чем были ее колдовские дела, подсудимая показывает, что, хоть заклинять никого не заклинала, это соседки взвели на нее неправду, но участвовала в дьявольском шабаше. На его же вопрос, где именно и когда она была на дьявольском шабаше, отвечает, что была только раз, а числа не помнит, ибо все у нее в голове спуталось, но было это ночью на понедельник в феврале, за несколько дней до ее ареста.

«На что защитник подсудимой просит высокочтимого Судью и обоих достопочтенных Ассессоров, с присущей им ученостью, отметить, что дьявольские шабаши происходят только по четвергам и что это признал сам Анри Боке, Великий Судья в графстве Бургундском во Франции, в своей книге “Discours Exécrable des Sorciers”, принятой всеми судами и парламентами в образованных странах и названной «книгой, драгоценной, как золото». На что достопочтенный второй Ассессор возражает следующее: Великий Судья Анри Боке действительно сообщает, что все многочисленные осужденные им колдуны и ведьмы участвовали в дьявольских шабашах лишь по четвергам, однако тут же, в главе XIX-той, добавляет, что позднее узнал и о дьявольских шабашах, происходивших в другие дни недели. В чем и просит удостовериться высокочтимого Судью, представляя означенную зна-

менитую книгу издания 1606 года, раскрытой на странице 101. И что ни Жан Боден, ни Николай Реми, ни Бартоломео де Спина, ни сам Шпренгер ничего не говорят о том, будто дьявольский шабаш не может происходить в понедельник. И что молодому защитнику подсудимой следовало бы быть точнее в цитатах и осторожнее в утверждениях, ибо иначе это могло бы дать основание для разных неприятных и очень нежелательных для него предположений.

«На что достопочтенный первый Ассессор просит высокочтимого Судью указать достопочтенному второму Ассессору, что защитник подсудимой исполняет свой долг и никак не должен подвергаться угрозам со стороны Малефиц-Трибунала. Защитник же подсудимой просит пишущего сие Малефиц-протоколиста и городского писца занести в протокол его клятвенное заверение в том, что он, штатный Дефенсор, всегда с величайшим отвращением и ужасом относился к всевозможным злодеяниям малефициантов и малефицианток и что денег от подсудимой за защиту он не получал и не мог бы получить, ибо у нее ничего нет, да если бы что и было, то он от такой женщины платы не принял бы, и защищает ее не по своему желанию, а по назначению Малефиц-Трибунала, *jussu presidentis*. Что высокочтимый Судья и предписывает пишущему сие Малефиц-протоколисту и городскому писцу занести в протокол, а ошибку защитника признает случайной и неумышленной.

«На вопрос высокочтимого Судьи, зачем подсудимая стала, по собственному повторному признанию, ведьмой и отправилась на дьявольский шабаш, — отвечает, что до семнадцати лет жила так, как все, хотя и много шалила. Ей с ранних лет твердили, что надо служить добру и что все ему служат, кроме еретиков и преступников. Она же позднее стала думать, что, ежели бы вправду это было так, то добро везде и существовало бы. На самом же деле она и у себя в дерев-

не и в замке видела очень много зла и стала думать, что верно Сатана всемогущ, и что ежели она и будет служить ему, то хуже ей все равно быть не может. На что достопочтенный второй Ассессор предлагает пишущему сие Малефиц-протоколисту и городскому писцу занести в протокол эти гнусные слова.

«На вопрос достопочтенного первого Ассессора, не было ли у нее особых причин для столь ужасных мыслей, — отвечает, что были, и при этом заплакала. Защитник же подсудимой просит высокочтимого Судью и обоих достопочтенных Ассессоров обратить внимание на то, что подсудимая проливает на глазах у них слезы, тогда как всем известно, что ведьмы никогда не плачут, как сказано и в «Маллеус Малефика-рум», часть третья, вопрос пятнадцатый. Достопочтенный же первый Ассессор напоминает слова святого Бернарда: «Слезы несчастных восходят к Господу».

«На что достопочтенный второй Ассессор возражает, что мнения великих ученых всегда расходились по вопросу о том, могут ли ведьмы плакать, но не доказано, что они не могут притворяться плачущими, а следовательно всякой ведьме было бы очень легко, притворившись плачущей, избежать заслуженной кары. Но что не раз великие ученые указывали, что иногда на заседаниях Малефиц-трибунала сами Судьи и Ассессоры, даже почтенные годами, подвергались чарам ведьм, особенно же молодых и красивых, и теряли способность судить их с подобающим беспристрастием. Против чего Шпренгер рекомендует прежде всего не смотреть на ведьм, даже обращаясь к ним с вопросами, а все время отводить глаза. И еще надевать на шею ладанку с надлежащими травами и с воском, предохраняющим от действия колдовских чар. И не следовало ли бы поэтому достопочтенному первому Ассессору послать незамедлительно за подобными травами и воском, для чего можно было бы прервать заседание?»

«На что достопочтенный первый Ассессор, поблагодарив достопочтенного второго Ассессора за заботливость о нем, заявляет, что он действительно достиг почтенных лет и, что, находясь на пороге вечности и близкий к суду Всевышнего, свое суждение всегда высказывает по совести, в отличие от некоторых людей, больше всего заботящихся о том, чтобы возможно скорее получить повышение по службе. И что достопочтенный второй Ассессор, обвинивший молодого защитника подсудимой в неполной цитате, сам привел цитату из Шпренгера неполно, ибо Шпренгер, кроме трав и воска, рекомендует еще и иные средства, например, чтобы в подобных случаях посылать за каким-либо безупречным человеком праведной жизни, дабы он самым своим присутствием на заседании Малефиц-Трибунала оказывал доброе влияние на Судью и Ассессоров.

«На что высокочтимый Судья предлагает достопочтенному первому Ассессору, ежели он настаивает на своем предложении, незамедлительно, дабы не терять времени, указать, за каким именно безупречным человеком праведной жизни он советует послать. На что достопочтенный первый Ассессор, после некоторого размышления, указывает, что незамедлительно указать такого человека не может, но укажет через некоторое время, вследствие чего следует отложить процесс. После чего высокочтимый Судья отклоняет предложение обоих достопочтенных Ассессоров и выражает уверенность, что они все равно будут высказываться со всем должным беспристрастием и по возможности кратко, ибо дело уже разбирается второй день.

«На вопрос высокочтимого Судьи, где происходил дьявольский шабаш и как именно подсудимая туда переносилась, — отвечает, что происходил он ночью, на поляне в лесу, и что отправилась она туда пешком, места же точно указать не может, ибо ночь бы-

ла безлунная, шла же она туда долго, часа два или даже больше, и, вследствие большого волнения, дороги не запомнила, и вдобавок в тот день долго жевала головки белого мака, к чему до того пристрастилась, так как в этом находила утешение от своей крайней тоски, а хранила эти головки в том горшке, что стоял у ней на полу около печки.

«На что защитник подсудимой, указав, что ему нравы ведьм известны, разумеется, лишь из книг великих ученых, просит высокочтимого Судью и обоих достопочтенных Ассессоров обратить внимание на следующее: ведьмы никогда не отправляются на дьявольский шабаш пешком, а всегда верхом, либо на вороном коне, либо на белой дубине, либо на черном баране, либо на мохнатом козле, в Англии же еще также порою на быке, а из дома своего вылетают не иначе, как через дымовую трубу. Обыск же в лачуге подсудимой никакого животного не обнаружил, как не обнаружил и белой дубины. И что, если бы она и вылетела из трубы, то соседки, вчера показавшие, что это видели своими глазами, никак этого видеть не могли, ибо ночь была безлунная, а час поздний, когда добрые люди давно спят.

«На повторный вопрос о том высокочтимого Судьи, подсудимая показывает, что ни коня, ни другого животного у нее никогда не было, да и держать их ей было бы негде и не на что, ездить же на дубине она не умеет и никогда не ездила, не умеет и летать, и через дымовую трубу не вылетала, а показали это соседки по злобе на нее, так как всегда ее не любили, или же, может быть, были пьяны, ибо пили каждый день пиво и водку.

«На что достопочтенный второй Ассессор указывает, что на недавнем процессе во Франции колдуны братья Шарло и Пьер Виллермоз тоже сначала уверяли, будто не умеют летать и ездить на дубине, а на допросе при посредстве палача отреклись от этого

показания и сознались, вследствие чего предлагает подвергнуть подсудимую допросу при посредстве палача. Подсудимая же, опять заплавав, заявляет, что и без того покажет все, что ей велят, и только хочет поскорее умереть. Достопочтенный же первый Ассессор заявляет, что вопрос о том, как подсудимая отправлялась в лес, недостаточно важен для допроса при посредстве палача. С этим мнением соглашается и высокочтимый Судья, а достопочтенный второй Ассессор требует внесения в протокол его другого суждения.

«На вопрос высокочтимого Судьи, кто именно сказал ей о предстоявшем дьявольском шабаше и кто ее туда проводил, ибо сама она, по собственному ее показанию, дороги не знала, — отвечает, что не помнит, ибо память у нее ослабела от головок белого мака. На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что уж этот вопрос никоим образом не может считаться недостаточно важным для допроса при посредстве палача, с чем, как он надеется, согласятся и высокочтимый Судья, и достопочтенный первый Ассессор, ибо иное решение было бы явным и вопиющим попустительством силам ада и грозило бы великой опасностью людям, вследствие чего он настаивает на допросе при посредстве палача. С этим мнением соглашается высокочтимый Судья и предлагает достопочтенному второму Ассессору вызвать надлежащих должностных лиц, увести подсудимую в подвал башни и подвергнуть там ее допросу при посредстве палача, при чем напоминает, что, согласно законам и обычаям, они должны делать это нерадостно и иметь вид, свидетельствующий о том, как им тяжело исполнять требование закона. Дело же отложить слушаньем до следующего дня. На что подсудимая незамедлительно заявляет, что сказал ей о дьявольском шабаше и проводил ее в лес известный в округе колдун по прозвищу Толстый Яков. Высокочтимый Судья тут же предписывает обратиться к властям с требо-

ванием разыскать и задержать этого Толстого Якова. На что пишущий сие Малефиц-протоколист и городской писец представляет справку, что, как видно из другого дела, Толстый Яков еще в марте прошлого года бежал, но, к счастью, был схвачен и сожжен живьем в другом округе.

«На вопрос высокочтимого Судьи, как она проникла на дьявольский шабаш, — показывает, что по дороге в лес Толстый Яков велел ей сказать слово «Эмен» человеку, который их встретит у поляны. А что это слово значит, ей не сказал, а когда она спросила, уж не имеет ли оно какого-либо нехорошего смысла, назвал ее глупой девчонкой и велел себя слушаться, и сказал, что тот человек, который ее встретит, скажет ей слово «Этан», после чего она должна будет исполнять все, что этот человек ей прикажет. У поляны же их встретил высокий человек в черном плаще, при шпаге и в черной маске, а кто он, она не знала и не знает, кто он, и теперь. А когда она сказала «Эмен», он ей не сказал «Этан», а просто протянул ей руку и сказал: «Здравствуй, красавица». Рука же у него была холодная. А затем дал ей кубок полный вина и она выпила.

«На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что не может быть никакого сомнения в том, что этот человек был сам Князь Тьмы, так как известно, что холодная рука и холодный *membrum virile* составляют главные внешние особенности Сатаны, о чем есть множество указаний в книгах великих ученых и в показаниях ведьм. Так, валлонская ведьма Дигна Робер еще сорок лет тому назад о том свидетельствовала, да еще много раньше на большом процессе о дьявольских шабашах в Бервике ведьмы согласно показывали, что и весь Сатана холоден, как лед, “was cauld luk use”. Кроме того, черный плащ и черная маска, как всем известно, составляют любимое одеяние Князя Тьмы.

«На вопрос высокочтимого Судьи, вступила ли подсудимая, как сама показала на дознании, в телесную связь с человеком в черной маске, показывает, что вступила, ибо он этого тотчас потребовал, а она потом плакала, боясь, что у нее может родиться ребенок, и кто же его к себе возьмет, а у нее ничего нет.

«На что distinguished второй Ассессор указывает, что это показание подсудимой свидетельствует о крайнем ее лицемерии и лживости, ибо она не могла не знать, что от сочетания дьявола с ведьмой дети почти никогда не рождаются, а если рождаются, то очень скоро умирают, и не было ни одного случая, чтобы ребенок дьявола и ведьмы прожил до семи лет.

«Distinguished же первый Ассессор требует, чтобы это заявление distinguished второго Ассессора было целиком и дословно со всей точностью занесено в протокол, а затем от себя добавляет и требует указания в протоколе, что, как не очень давно установлено Мальвендом, нечестивый Мартин Лютер родился от связи дьявола с матерью Мартина Лютера Маргаритой и что, следовательно, distinguished второй Ассессор опровергает это утверждение. На что distinguished второй Ассессор берет свое заявление обратно и, признавая его ошибочным, просит из протокола вымарать. На что distinguished первый Ассессор заявляет, что с этим предложением согласиться не может, что никто не может сделать сказанное не сказанным и что кое-кому может быть очень интересно хотя бы и взятое обратно суждение о рождении нечестивого Мартина Лютера такого выдающегося ученого, как distinguished второй Ассессор. Высокочтимый Судья соглашается с мнением distinguished первого Ассессора и постановляет ничего из протокола не вычеркивать.

«На вопрос высокочтимого Судьи о том, что же происходило на дьявольском шабаше, подсудимая со-

общает сведения столь гнусные и непристойные, что по постановлению высокочтимого Судьи, одобренному обоими достопочтенными Ассессорами, ответ ее вносится в протокол не на нашем языке, дабы не оскорблять слуха людей нашего народа, а по-латыни, что и делается пишущим сие Малефиц-протоко-листом и городским писцом.

«Достопочтенный первый Ассессор обращает внимание Высокочтимого Судьи на следующее. Из дознания и из глухих намеков свидетельниц как будто следует, что подсудимую два года тому назад соблазнил некий рыцарь, в замке которого она кормилась с ранних лет. Быть может, рыцарь этот, которого имя всем известно и которого никто не назвал, был косвенным виновником того, что с ней случилось. Если подсудимая ведьма, то караются ведь по закону смертью и люди, имевшие с ней телесное общение. Этот рыцарь не счел нужным явиться на суд. Не думает ли высокочтимый Судья, что его следовало бы назвать и вызвать, хотя бы в качестве свидетеля, на заседание Малефиц-Трибунала, а процесс отложить до его появления?

«На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что предложение достопочтенного первого Ассессора подлежит отклонению, ибо, если какой-то неизвестный и никем не названный рыцарь и имел общение с подсудимой, то было это тогда, когда она еще ведьмой не была, и он никак не мог знать, что она ведьмой станет. Бывали случаи, когда знаменитые Судьи не привлекали к ответственности даже мужей самых преступных ведьм. Так было на процессе колдуньи Антиды де Бетонкур, сожженной в Доле в 1599 году, которая вдобавок и сносилась с мужем совсем не так, как с Дьяволом, что в протоколе этого процесса сказано.

«Высокочтимый Судья отклоняет предложение

достопочтенного первого Ассессора и предоставляет слово для «Дефенсио» защитнику подсудимой.

«Защитник, снова попросив занести в протокол его заверение в том, какой ужас ему внушают деяния ведьм и колдунов, указывает, что отдавая должное мудрости достопочтенного второго Ассессора, он все же не считает доказанным, что подсудимая ведьма. Вполне возможно, что она все сочинила на первом давнем допросе, произведенном при посредстве палача, хотя, как по всему видно, этот допрос был произведен год тому назад не только с соблюдением правил, но и с надлежащей мягкостью, в которой он отдает должное нелицеприятному правосудию.

«На этом месте «Дефенсио» подсудимая снова заплакала, а защитник опять обратил на это внимание высокочтимого Судьи и добавил, что, несмотря на всю свою глубокую ученость, достопочтенный второй Ассессор все же не доказал того, что ведьмам свойственно плакать. Точно так же следует признать, что шабаши по понедельникам происходят разве лишь в самых исключительных случаях. Редким исключением следует считать и такие случаи, когда ведьмы отправлялись бы на шабаш пешком, а подсудимая не была уличена в том, что туда отправлялась верхом на коне, козле, баране или на белой дубине, которых вдобавок у нее не оказалось. Разумеется, все это лишь косвенные доводы, но совокупность нескольких косвенных доводов имеет всегда немалое значение. В силу этого защитник предлагает считать обвинение в колдовстве недоказанным, даровать подсудимой снисхождение и смерти ее не подвергать. Если же высокочтимый Судья признает ее заслуживающей казни, то не сжигать ее заживо, как справедливо предписывают наши законы, а сначала подвергнуть давлению и лишь затем сжечь ее тело. Так неоднократно совершалось в отношении людей, заподозренных в колдовстве, и это будет особенно естественно в отноше-

нии девятнадцатилетней подсудимой, воспитавшейся без отца и матери.

«Достопочтенный первый Ассессор указывает, что он может отдать должное только крайней, быть может, порою даже чрезмерной, почтительности к судьям защитника подсудимой, но не его добросовестности, не его мужеству и не его уважению к правосудию. Ибо свой долг защитника он выполнил слабо и робко, а тем самым вынуждает его, Ассессора, кое-что добавить к «Дефенсио» и исправить содержащееся в ней противоречие. Ибо, ежели защитник находит, что подсудимая взвела на себя напраслину, а на самом деле ни на каком сбирище в лесу не была, то он никоим образом не должен был говорить о возможности казни подсудимой, об ее сожжении все равно живьем или после удавления. Что до него самого, то он, к несчастью, никак по совести не может признать, что подсудимая на сбирище в лесу не была, а сочинила это: из рассказа подсудимой следует, что она на сбирище была, ибо таких подробностей она, особенно при своей молодости и неопытности, выдумать не могла бы. Однако нет никаких оснований считать это сбирище в лесу дьявольским шабашом, а ее самое ведьмой. Вполне возможно и весьма правдоподобно, что в ту ночь в лесу собрались с разных концов округи просто развратники самого отвратительного рода, заманивавшие к себе женщин, и опытных, и особенно неопытных. Равно нет ни малейших оснований считать человека в черном плаще Князем Тьмы, ибо достопочтенный второй Ассессор, при всей той мудрости, которую восхвалял защитник подсудимой, не привел в доказательство такого предположения ничего, кроме того, что у человека в черном плаще была холодная рука. Между тем происходило все в феврале, и вполне возможно, что руки были бы холодные у самого достопочтенного второго Ассессора, если бы предположить, что он в ту ночь

находился не у домашнего очага с женой и детьми, а, например, в пути, возвращаясь от какого-либо приятеля или, быть может, приятельницы.

«На что высокочтимый Судья просит достопочтенных Ассессоров воздержаться от замечаний личного свойства, не имеющих отношения к делу.

«На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что стоит выше подобных замечаний или намеков и считает ниже своего достоинства отвечать на них.

«После чего достопочтенный первый Ассессор указывает, что равным образом и черная одежда никак не может считаться признаком Князя Тьмы, ибо черную одежду может носить кто угодно, и ему самому случается гулять в черном плаще и тем не менее он Князем Тьмы никогда не был. Ничего не доказывает и маска, ибо люди, отправляющиеся на сборища, подобные тому, которое тогда состоялось ночью в лесу, имеют основания желать, чтобы их никто не узнал. В виду всего этого, а также доводов, приведенных защитником подсудимой, он предлагает высокочтимому Судье объявить подсудимую по обвинению в колдовстве оправданной, но, как заблудившуюся распутную девочку, приказать высечь ее розгами, как верно сделал бы, ежели б был жив, ее отец, почтенный воин, павший на поле брани, а затем по наказанию отдать ее под надзор каким-либо добрым богобоязненным монахиням, которые строго за ней следили бы, не позволяли бы ей жевать головки белого мака и уходить из дому в темные ночи.

«Достопочтенный второй Ассессор возражает, что доводами, подобными тем, которые высказал достопочтенный первый Ассессор, можно опровергнуть какое угодно обвинение, если желать оправдать подсудимую во что бы то ни стало или добиться для нее легкого родительского наказания. Повидимому, достопочтенный первый Ассессор, снисходительность кото-

рого издавна вызывает весьма неодобрительные суждения со стороны авторитетных ученых и высокопоставленных людей, твердо намеренных карать зло и спасать людей от соблазна, совершенно забыл одно обстоятельство, не лишенное, казалось бы, некоторого значения: подсудимая двукратно себя признала ведьмой, достойной кары смертью. Правда, достопочтенный первый Ассессор заметил, что в первый раз она сама себя таковой признала на допросе, происходившем при посредстве палача. Однако, если достопочтенный первый Ассессор считает не имеющими значения все признания, делаемые на таких допросах, то, конечно, он с тем свойственным ему мужеством, в недостатке которого он упрекал защитника подсудимой, тут же прямо об этом заявит и откажется впредь принимать участие в отправлении правосудия, ибо нельзя применять законы, не относясь к ним с должным уважением. Кроме того, подсудимая повторила свое признание и здесь, на заседании Малефиц-Трибунала, где допрос производился без посредства палача. Едва ли свидетельствует о большом уважении к правосудию и шутливость, проявленная, к общему удивлению, достопочтенным первым Ассессором в вопросе о признаках Князя Тьмы, ибо эти признаки были установлены великими учеными и признаны решающими на многочисленных судебных процессах. Вдобавок, достопочтенный первый Ассессор совершенно обошел молчанием условное слово «Эмен» явно дьявольского жаргона, которое, по собственному ее признанию, сообщил подсудимой Толстый Яков, недавно сожженный живьем не за разврат, а за колдовство. А так как хорошая память, свойственная достопочтенному первому Ассессору, несмотря на его почтенные годы, всем известна, то это молчание нельзя объяснить простой забывчивостью, а надо считать весьма странным и едва ли совместимым с занимаемой им высокой должностью. В виду всего этого, достопочтенный второй

Ассессор считает себя вынужденным напомнить высококочтимому Судье, что его прямая обязанность заключается в том, чтобы слова достопочтенного первого Ассессора, а равно и сделанные ему возражения, были полностью занесены в протокол, а выписка отправлена кому надлежит знать.

«На что высокочтимый Судья, прервав достопочтенного второго Ассессора, заявляет, что он сам знает свои обязанности и не нуждается в их напоминании, и что вообще достопочтенный второй Ассессор слишком часто выступает с требованиями, которые лишь затягивают отправление правосудия, между тем как уже сейчас время позднее и приближается час, когда все добрые люди обедают.

«На что достопочтенный второй Ассессор заявляет, что настаивает на занесении в протокол и этого замечания высокочтимого Судьи. Переходя же к доводам защитника подсудимой, высказывает мнение, что они никак не могут считаться убедительными, ибо, хотя в доме подсудимой и не оказалось ни коня, ни козла, ни барана, ни дубины, но было бы весьма странно и даже смешно предполагать, что колдуны и ведьмы держат у себя дома то, что может вызвать против них подозрения и погубить их. Есть поэтому все основания думать, что подсудимая, вылетев через дымовую трубу, опустилась на некотором расстоянии за заставой в пустынной местности и села либо на вороного коня, либо на черного барана, либо на мохнатого козла, которых верно держал там наготове для нее колдун Толстый Яков. Предположение же молодого защитника, будто ни на каком сбирище подсудимая не была, может вызвать только улыбку и не нуждается в опровержении, уж если его не принял и достопочтенный первый Ассессор, несмотря на все свое упорное желание по неизвестным причинам обелить подсудимую. Сам же достопочтенный второй Ассессор считает виновность подсудимой в колдовстве

совершенно доказанной и предлагает в полном согласии с законом приговорить ее к тому, чтобы груди у нее были должным образом вырваны раскаленными щипцами, а ее брренное тело после того переведено от жизни к смерти через огонь.

«Высокочтимый Судья спрашивает подсудимую, не желает ли она еще что-либо кратко добавить к сказанному ее защитником. Подсудимая же, заливаясь слезами, просит рыцаря сюда не вызывать, ибо он ни в чем не виноват, и она его прощает, и не хочет, чтобы он ее увидел с обрезанными косами, в нынешнем ее состоянии и одежде, а для себя просит только, чтобы ей после окончания суда принесли хоть несколько головок белого мака из горшка, что стоял у нее около печки.

«Высокочтимый Судья объявляет перерыв и, вернувшись через четверть часа, оглашает следующий приговор:

«Мы, Судья означенного в сием протоколе высокого и всеми чтимого Малефиц-Трибунала, рассмотрев с нашими достопочтенными Ассессорами настоящее дело, с печалью признаем, что означенная в сием протоколе подсудимая, как следует из ее двукратного признания, есть малефициантка и ведьма и следовательно подлежит тягчайшей каре, без зависимости от того, было ли то сборище в февральскую ночь дьявольским шабашом или угодным Князю Тьмы гнусным действием развратников и был ли самим Князем Тьмы человек в маске, с которым означенная малефициантка и ведьма вступила в телесную связь. А посему выносим Мы, Судья высокого и всеми чтимого Малефиц-Трибунала, следующий зрело нами обдуманый и справедливый приговор. На основании закона, в должную кару ей и в назидание другим, подлежит означенная малефициантка и ведьма тому, чтобы груди у нее были должным образом вырваны раскаленными щипцами и чтобы затем ее брренное те-

ло через огонь было переведено от жизни к смерти. Но, по милосердию нашему и приняв во внимание ее крайнюю молодость, постановляем Мы, Судья высокого и всеми чтимого Малефиц-Трибунала, чтобы грудей у нее щипцами не вырывать, а ее бренное тело перевести от жизни к смерти через отсечение головы мечом, после чего сжечь на костре. Указанное исполнить сего дня вечером на Площади Рынка по окончании торговли на ней, а пепел рассеять на Кладбище нечестивых. Вещи же, найденные в жилище означенной малефициантки и ведьмы, особливо же горшок со зловредными травами, также сжечь рукой палача, а пепел развеять».

«Здесь кончается протокол суда над женщиной, столь странно связанной с одним из отпрысков славного именитого рода, истории которого мы посвятили настоящий труд. Приговор был приведен в исполнение в тот же день, во вторник 10 ноября 1626 года.

«Добавим еще, что в том же архиве при городской башне нами найдена потерянная записная книжка, писанная рукой того же Малефиц-протоколиста и городского писца. В ней под числом 10 ноября 1626 года сказано: «Нотандум. Уходя нынче из Малефиц-Трибунала, высокочтимый, хоть, как всегда, торопился домой жрать (у них нынче щука и гусь с яблоками), отведя меня в сторону, велел доставить ему на дом в четкой копии выписку из того, что достопочтенный мерзавец сболтнул о детях дьявола и ведьмы и на чем старик его так славно припечатал. Молодец высокочтимый! С удовольствием вечером окажу услугу достопочтенному, и верно ему теперь должности первого Ассессора не видать как своих ушей. Он и вчера скоротал вечерок у своей Доротейки, будь и она трижды проклята. А жена его говорит, что выцарапает им обоим глаза. Если б сделала, то я поднес бы ей в подарок бутылку самого лучшего венгерского вина, да и от других пришел бы верно целый бочё-

нок. И еще высокочтимый, дав мне монету, велел тотчас тайком послать через сторожа ведьме стакан водки хорошего качества, а сторожу строго настрого приказать, чтобы об этом не болтал. Исполнено, если сторож по дороге в башню не выпил, но клялся, что не выпьет, потому что боится Бога, да и жалко ему девчонку, хотя она и ведьма, а он знал ее мать, и та тоже была красавица. Конечно, жалко, и порядочный каналья рыцарь. А кто бы такой был человек в черном? Едва ли Князь Тьмы, хотя кто их знает, может быть и он».

«Мы надеемся, что по прошествии стольких лет никто не поставит нам в упрек это забавное добавление к истории, которая верно произведет гнетущее впечатление на наших просвещенных читателей.

«О дальнейшей жизни рыцаря, бывшего в связи с ведьмой, мы ничего установить не могли. Знаем только, что его ребенок был им усыновлен после долгих хлопот.

«Не можем тут не отметить, что нравы нашего времени очень смягчились по сравнению с тем, что происходило в прошлом веке. Ведьм стало меньше, и их сжигают не так часто. Мы можем лишь благодарить наше мудрое и просвещенное правительство. Это никак не значит, будто мы сочувствуем идущим из Франции новым мыслям, связанным в особенности с именем известного писателя барона де Монтескье. Отметим впрочем, что означенный писатель занимает высокую должность председателя Бордосского суда (парламента) и, в качестве такового, разумеется, сам подписывает приказы о пытках и приговоры к сожжению на костре, когда это совершенно необходимо. Одно дело литература, другое дело жизнь, и мы никак не думаем, что высказанные во Франции мысли представляют собой столь грозную опасность для мира, как это говорят у нас люди, совершенно не желающие считаться с духом времени».

«Да, конечно, она не так глупо прожила свою жизнь, моя прабабка, — подумала Тони. Сердце у нее стучало так, что она не только чувствовала, а слышала его стук. — Умнее, чем пока живу я. И если даже этот дьявольский шабаш был чем-то вроде нынешних *partouises*, то ведь у меня этого пока не было, я и на это не решалась, а были только «оргии» с мошенником Грандом. «Да, за белый мак можно было отдать жизнь, и за те два часа, когда она шла в лес, и за эту встречу с Князем Тьмы. Да и логически, хоть смешно тут говорить о логике, в основном она тоже была права, бедная девочка. Конечно, сатана всемогущ. Старик ассессор ей ничего путного не ответил, как мне не отвечает Дюммлер. «Столь ужасные мысли!» А Дюммлер мне говорит, что в политике все познается по сравнению. Пропади он пропадом, этот буржуазный мир с его хваленой «свободой»! Мне она не нужна. В мыслях я уже с ними, а дьявольский шабаш ли у них, или нет, этого не разрешит и суд истории, как тут не разрешил Малефиц-Трибунал»...

VIII

Тони остановилась на четвертой площадке крутой лестницы и заглянула в пролет. У нее на высоте, даже на небольшой, кружилась голова, она чувствовала желание броситься вниз. Именно поэтому часто себя испытывала и старалась себя закалить. Поднималась даже к башням Notre Dame, — еле потом спустилась. Тут высота была небольшая, но она нервно ухватилась за перила. «Если броситься, может и не умрешь, а только себя искалечишь»... Представила себе, как об ее смерти узнает Гранд, и почувствовала, что теперь ей это не очень интересно! «Интересно, но не очень. Еще месяца два тому назад я перед свиданием с ним часами обдумывала, как одеться. Этот развратник любит в женщинах «монашеский стиль». А теперь мне и это интересно, но не очень... Да, как он узнает? Он расплачется. Слаб на слезы, добрый негодяй. Я любила его. Мне суждено любить именно таких людей. Что делать?.. А Гранд и другие болваны верно думают, что я рисуюсь!» Она взглянула на часы. Оставалось еще минут сорок. Решила сделать впрыскивание в четыре. Теперь было только одно желание: как можно скорее. Но расписание следовало соблюдать, она испытывала силу своей воли.

У нее был один из самых тяжелых дней. Она проснулась рано и в ту же минуту почувствовала столь ей знакомую острую, мучительную тоску. «Снилось что-нибудь? Нет, ничего не снилось». Стала перебирать в памяти разные неприятности. Каждая казалась ей несчастьем; каждое несчастье показалось бы катастрофой. Люди, все люди, были чрезвычайно ей

противны, даже Гранд, в особенности Гранд. Она долго лежала неподвижно в кровати, согнув колени под теплым одеялом и закрыв глаза. Думала, вздрагивая, о том, что может с ней случиться. Представлялось только худое, тяжелое, страшное.

Прежде в такие дни помогали спиртные напитки. Вкуса их она не любила. В Нормандии, в пору германского владычества, привыкла к крепкой яблочной водке. От нее тоска на полчаса исчезала, мысли становились радостными, затем смешивались, затем переходили в еще более мрачную тоску, и вдобавок болела голова. Позднее напитки перестали помогать. «Но в ту пору могло схватить Гестапо, могли подвергнуть пытке, теперь ничего этого нет, и все-таки теперь хуже, еще гораздо хуже. От того, что тогда была борьба? Нет, не от этого». Теперь помогал только морфий, — зато он помогал чудесно.

Ее история была очень проста, как, вероятно, проста история всех морфинисток. Научил ее третий любовник, разошедшийся с ней за несколько месяцев до появления Гранда. Вначале она вспрыскивала себе морфий раз в неделю, теперь уже два раза и часто придумывала предлоги для экстренных вспыскиваний. У нее был комплект и дома, но с собой в сумке она почти всегда носила другой. Предпочитала производить вспыскивания перед встречами с Грандом. Это хорошо сочеталось, надо было только точно рассчитывать время: сначала свет, потом эвфория, потом любовь. Гранд говорил: «Ангел мой, вы себя губите этим проклятым ядом, но я не могу отрицать, что вы становитесь после него блестящей! Блестящей во всех отношениях, но особенно в сексуальном. Тем не менее бросьте это возможно скорее! Умоляю и приказываю!» Он всегда говорил с ней, как с душевно больной. Однако, несмотря на свою доброту, говорил довольно равнодушно, и это ее раздражало.

Из-под двери торчали письма. В передней она повернула выключатель, взглянула на конверты, от Гранда ничего не было, — значит, придет в пять. Он редко опаздывал, говорил: «точность — вежливость королей» и начинал врать о своей королевской крови; впрочем, и не надеялся, что она поверит. Тони вошла в боковую комнату, называвшуюся у них секретарской, положила письма на стол, погасила лампочку в передней: она деньги «Афины» расходовала гораздо бережливей, чем свои собственные.

Секретарская комната выходила, как и храм, в довольно узкий мрачный двор. Гранд, когда нанял квартиру, объяснил, что в этом большое преимущество: с улицы могла бы следить полиция. Дюммлер холодно ответил, что они ничего противозаконного делать не собираются. Делавар пожал плечами: «Гораздо лучше было бы, если б окна выходили на улицу, а не в этот колодец! Все другие жильцы будут за нами следить!» — «Если вы нам дадите миллионы, мы построим дворец на авеню Фош, — саркастически ответил Гранд, — а чтобы люди не подсматривали, на то есть ставни». Они спорили обо всем и терпеть не могли друг друга.

Ее жизнь теперь делилась на дни с морфием и дни без морфия. «В небольших количествах морфий совершенно безвреден, — убедительно говорил ей третий любовник — все эти страхи вздор, врачи только запугивают людей. Это гораздо менее вредно, чем пьянство, и вдобавок совершенно иное: кто этого не испытал, тот вообще не знает, что такое жизнь!» Она рассталась с ним дружелюбно: никогда не сердилась на мужчин, которые ее бросали, и почти никогда на тех, которых бросала сама. Перед первым впрыскиванием впрочем купила книжку в скучной серой обложке о вреде морфия, но и не заглянула в нее. Сказала она о морфии только Гранду. Он в первую минуту был поражен. Пробовал было повлиять на нее,

но все его доводы имели как будто обратное действие: — «Вы прежде всего забываете, что я из породы обреченных людей», — сказала она. — «Милая, дорогая, какая порода, какие обреченные люди? Перестаньте нести вздор, вы не Бодлер!» — «Я давно решила, что пройду в жизни через все. Кроме того, морфий не яд, а если и яд, то мне незачем заботиться о здоровьи. Если же моя судьба скажет другое, то я брошу морфий, силы воли у меня хватит. Я ничего не боюсь». — «Ангел мой, у вас строгая логичность, свойственная всем сумасшедшим, — ласково говорил он ей. — Но вы все-таки бросьте морфий, сделайте мне удовольствие. Насколько лучше и приятнее пить вино, коньяк, даже вашу национальную водку. Милая, дорогая, бросьте, поверьте, тут никакой поэзии нет. Расстроится пищеварение, появятся прыщи, ну зачем это? Это только Гейне сделал поэтической женщину, которая его наградила сифилисом. Так, по крайней мере, при мне говорил Дюммлер. Я даже хотел записать, но боюсь, что он иногда сочиняет свои цитаты. Как вы думаете?» — «Перестаньте говорить вздор! И ничего такого от наркотиков не бывает!» — сказала она, бледнея.

Они тогда еще были на вы. В то время за ней ухаживал Делавар. Он, впрочем, был ей неприятен и даже почти противен. Как-то в самом начале их знакомства она со своей и естественной, и выработанной прямо той сказала ему за ужином: «Меня купить нельзя, а вы мне не нравитесь». Делавар очень обиделся и с тех пор был с ней очень сух и вежлив. Гранд был от ее слов в восторге. Он не был влюблен в Тони, но она ему нравилась. «Это правда, что она ничего в жизни не боится!» — думал Гранд. Сам он не был ни храбр, ни труслив: очень серьезных опасностей боялся и избегал, не очень серьезных не боялся и не избегал, — как большинство людей. Когда у него бывали деньги, он угощал Тони коньяком и шампан-

ским, — объяснял: «в надежде на перемену ориентации».

Лежавшие под дверью письма оказались неважными. Три дамы заявляли о желании вступить в общество. Магазин музыкальных инструментов с печальной настойчивостью во второй раз просил произвести месячный платеж за пианино. «Проклятый!» — сказала она вслух. Делавар дал деньги на пианино и не знал, что Гранд купил его в рассрочку, уплатив только задаток. Ее обязанностью было бы об этом сообщить правлению, но Гранд убедил ее не сообщать. Не все ли высокоуважаемому Гаранту Дружбы равно? А мне так удобнее. Я обернусь, — особенно убедительным бодрым тоном говорил он ей. Умение обращаться было основой его жизни. В прошлый четверг он сказал ей, что побывал в магазине и заплатил за пианино. Тони знала, что он всегда врет, и тем не менее всякий раз изумлялась и сердилась.

Она вошла в длинную узкую комнату, называвшуюся храмом, и зажгла люстру. Лампочки были синие. Перед эстрадой на длинном стальном пруте висел раздвигавшийся занавес из синего бархата. Стулья, стоявшие рядами, как в театре, были обыкновенные, соломенные, купленные по случаю за бесценок. На эстраде стояли бархатное кресло и статуя Афины. В глубине комнаты тоже за занавесом находилось пианино. Статую Гранд заказал безработному скульптору на Монпарнассе. В одной руке богини был щит, в другой рог изобилия. На щите была изображена голова Горгоны, окруженная змеями. На пьедестале была вырезана надпись: "Athena Tritogenia Nikephoros". Дюммлер в первый раз посетил помещение, когда все уже было готово. Он морщился, вздыхал, затем указал, что в надписи сделаны две ошибки. Скульптор, ругаясь, говорил Гранду, что вырезал буквы точно так, как было указано на записке, и что он не обязан знать древние языки.

Помещение и мебель обошлись в четыреста двадцать тысяч франков. Делавар сказал Тони, что Гранд верно положил в карман не менее трети. Тони сообщила это Гранду. Он возмутился больше для порядка. «Хороши бы вы были без меня! Интересно, как бы вы вообще нашли теперь такую квартиру за такие деньги!». Действительно найти квартиру в переполненном Париже было чрезвычайно трудно. Запущенный мрачный дом на левом берегу был построен лет двести тому назад. О нем ходили в кофейнях квартала легенды: не то здесь собирались в восемнадцатом веке масоны, не то тут было отделение общества Катерины Тео, мрачное дело которой было тесно связано с Девятым Термидора, не то в нем лет шестьдесят тому назад происходили кощунственные «черные мессы». Дюммлер говорил, что все это действительно было поблизости от их улицы, но именно в этом доме ничего такого, кажется, не было.

Показывая Делавару помещение после отделки, Гранд все восторженно хвалил. «Подумать только, что храм влетел нам меньше, чем в тысячу долларов!» — «Прежде всего влетел он не «нам», а «мне», — сказал Делавар. — «У вас есть как будто склонность забывать, что я играю некоторую роль в «Афине», — сказал Делавар и показал себе на грудь так, как, быть может, показал себе на грудь Людовик XIV, когда сказал: «Государство это я». Кроме того, квартира на пятом этаже, без лифта, без ванной, и нам четыре комнаты совершенно не нужны: только лишний расход на вашу чудесную мебель». — «Во-первых, ванна нам нужна еще меньше, — возразил Гранд. — Во-вторых, если бы были ванна и лифт, то за квартиру взяли бы отступного миллион. В-третьих, лишняя комната нам понадобится, так как все равно нам необходимо будет поселить здесь кого-нибудь, секретаря или секретаршу. В-четвертых, если бы мы хотели въехать в квартиру с одной статуей Афины, вместо мебели, то хозяин

и консьержка нас на порог бы не пустили. В-пятых, если вам квартира и мебель не нравятся, то я их в двадцать четыре часа продам, верну вам ваши деньги, и еще немало заработаю!». Он всегда приводил большее число доводов, чем его собеседник и аккуратно их перечислял: «во-первых... во-вторых...». Делавар, впрочем, не очень сердился: был бы даже удивлен, если бы Гранд не нажил денег на этом деле. Спорил больше для того, чтобы Гранд не думал, будто он его действий не замечает. — «Консьержке я каждый терм буду давать большой начай, — решительно объявил Гранд. — Правда, я объяснил ей, что скоро в квартиру въедут люди, но она пока ничего не понимает. Не надо, чтобы она очень болтала». — «Болтать она будет все равно. Кроме того, во все секретные общества все равно проникают полицейские. В кружках анархистов, например, так и считается нормой, что из трех по меньшей мере один сыщик». — «Наше общество не тайное, — опять поправил Дюммлер, — мы ничего худого не делаем, и у полиции нет никакой причины нами интересоваться». — «Да пусть интересуется! Однако наше общество отчасти тайное, если мы установили пароль».

Тони вошла в «Афину» отчасти по требованию Гранда. — «Ну, хорошо, дорогая, вы пока во все это не верите. Но, во-первых, вы сами говорите, что надо пройти через все. Во-вторых, вы со временем поверите: это великая идея, клянусь вам честью. В-третьих, мы с вами сделаем большое дело, пока я еще не могу ничего сказать, но вы увидите. В-четвертых, я вас об этом прошу, а ваша жизнь связана с моей нездешними силами. В-пятых, «Афина» это воплощение поэзии, а вы так любите поэзию, и у вас такая поэтическая душа. В-шестых, чорт тебя возьми, ты должна меня слушаться!».

На обязанности Тони лежали прием новых членов, переписка, рассылка приглашений, а также уборка по-

мещения. В двух задних комнатах, скудно обставленных дешёвенькой мебелью, все было в порядке. Она только отворила окна. В зале привела в порядок стулья и скамейки.

Ритуал был подробно разработан ею и Грандом. Делавар признавал его необходимость, но не вмешивался. Дюммлер морщился, говорил, что указания можно найти у Конта в четвертом томе «Системы позитивной политики», и советовал все сократить. — «Против музыки я не возражаю. Если только вы думаете, что будут хорошие исполнители». — Превосходным исполнителем был Гранд. Но он бывал не на всех заседаниях, его заместительницей назначили Тони. Гранд слушал ее игру с кислой улыбкой, а в первый раз спросил ее, какой слон учил ее музыке.

«Афина» ей успела надоесть, надоел и Дюммлер, и особенно другие члены общества. «Зачем я к ним пошла? Ритуал — да, пожалуй, это хорошо для подчинения воли. А все остальное вздор. Да еще примазались жулики. Для чего Гранду может быть нужен звонок? Конечно, я должна была бы сказать об этом Николаю Юрьевичу». Гранд настойчиво требовал, чтобы она о звонке ничего не сообщала ни Дюммлеру, ни Делавару. Он сначала велел электротехнику поместить звонок в третьей комнате и под обоями соединить проволокой с головой Афины. Электротехник не удивился: больше ничему не удивлялся с тех пор, как увидел статую богини, — думал, что в квартире поселились умалишенные. Со звонком в третьей комнате ничего не вышло, и это очень огорчило Гранда. Он долго совещался с электротехником и затем радостно объявил Тони, что будет карманный звонок гораздо лучше:

— У нас будет звонок Кут-Хуми! Ты не знаешь, что это такое? Значит, ты не знакома с мистической литературой! Значит, ты не читала Блаватскую! По-

зор! Я тоже не читал, но Блаватская для нас тоже самое, что какой-нибудь Клаузевиц для военных!

— Для кого для нас?

— Для нас, мистиков и оккультистов! Она при помощи звонка Кут-Хуми сносилась с Хозяином! С самим Хозяином!

— Не морочьте мне голову. Почему вы скрываете о звонке от Дюммлера?

— Потому, что он несчастный рационалист и, кроме того, выжил из ума. Нет ничего хуже, чем выживший из ума рационалист.

— Все вы врете. Послушайте, если вы готовите какое-нибудь мошенничество, я первая донесу на вас полиции!

— «Мошенничество»! — передразнил он не то гневно, не то благодушно. — Что такое мошенничество? Если б не Божье милосердие, то всем людям нашлось бы по заслугам место на каторжных работах. Но, во-первых, Господь Бог очень добр, а во-вторых, на кого же тогда работали бы миллиарды каторжников? Знай, безумная, что великую тайну звонка мне объяснил один из последних учеников Блаватской, которого едва ли не сам Кут-Хуми благословил в своей пещере! Надеюсь, ты не предполагаешь, что Блаватская была мошенницей! Она была гениальнейшей женщиной девятнадцатого века! А тебя я сделаю гениальнейшей женщиной двадцатого.

Она невольно смеялась. В идее звонка Кут-Хуми было и что-то, веселившее Тони: «Так этим глупым буржуа и надо!».

— А Блаватская свои фокусы разъяснила?

Он развел руками от такой наивности.

— Только нехватало, чтобы она разъясняла! Прочти в отчете ее разоблачителей, мне о нем говорил Дюммлер. Он по своей ограниченности смеялся. Но что же эти проклятые рационалисты доказали? Что она устраивала звонки сама при помощи своих после-

дователей. Что ж тут дурного? Они все исполняли волю Хозяина. Да разве, если бы она не исполняла волю Хозяина, то из этого могло бы что-либо выйти? Разве на земле совершается что бы то ни было помимо воли Хозяина? Главное ведь в том, чтобы люди служили его воле. И надо поэтому первым делом потрясти их воображение.

— Поклянитесь, что вы не готовите никакой уголовщины! Иначе вы навсегда скомпрометируете и себя, и меня, и нас всех!

— Клянусь! — сказал он, подняв к потолку руки и глаза. — «Навсегда, навсегда»! — опять передразнил он. — Навсегда это когда человек умер... То есть, конечно, в смысле земной жизни, только земной жизни. Больше ничего на свете «навсегда» не бывает и нет конченных людей! А кроме того, я никак не могу скомпрометировать ни себя, ни тебя, ни кого бы то ни было другого, хотя бы уже потому, что здесь я буду пользоваться звонком очень редко, в крайних случаях. Что можно делать в этой несчастной, насквозь рационалистической стране, с ее ничего не стоящей валютой, которую вдобавок и вывезти невозможно! Здесь я только учу тебя, ты должна научиться и звонку. Пойми же, вообще все, что мы здесь делаем, это для тебя только подготовительная школа! Мы уедем в Соединенные Штаты: там доллары, а не франки, и у людей душа, а не рационалистический сероуглерод! С такими глазами, как у тебя, мы там перевернем мир! А когда я тебе говорю о приеме, освященном мудростью столетий, освященном именем Кут-Хуми, ты имеешь смелость назвать это мошенничеством! Благодарю, не ожидал! — говорил Гранд глубоко оскорбленным тоном. Он и в самом деле почти серьезно чувствовал себя оскорбленным: очень часто искренне верил тому, что говорил.

Тони поднялась на эстраду, взяла в ящике стола тряпку и принялась стирать пыль. Стекло в раме дав-

но следовало бы промыть как следует. По своей любви к чистоте и порядку она это сделала бы, но теперь ей было не до того. Не впрыскивала себе морфий уже три дня, и ждать с каждой минутой было труднее. Под стеклом висел девиз: “*République Occidentale. Ordre et Progrès. Vivre pour autrui.*”*) Труднее всего было чистить статую. В роге изобилия, на сове, в углублениях щита между вырезанными змеями всегда скоплялось много пыли. Ей стало смешно. «Что за ерунда! Как я могла серьезно относиться к этому? Вся эта «Афина» совершенный вздор. Кроме Дюммлера, там все дурачье. Этот драматург тоже верно болван, хотя у него умное лицо... И красивое... Разумеется, вздор. Если б не было вздором, то о нас писали бы, мы делали бы дело, к нам хлынули бы люди, как к коммунистам.

Она села за расстроенное пианино и еще раз прорепетировала тему «Волшебной Флейты». Играла не очень хорошо, — как сама думала, «сонно». «Я и живу сонно» — думала она. — «Нет, это не подходящее слово. Говорят о людях двойной жизни, это пошлое выражение, как и то, что «жизнь есть сон». Но доля правды есть... У всех есть доля правды, только не в фактическом смысле, а в моральном. И у коммунистов есть, у них даже гораздо больше, чем у многих других. Если «Афина» окажется совершенным вздором, я уйду к коммунистам, как моя прабабка ушла к колдунам. Там тоже был «социальный протест», хотя ни бедная Гретхен, ни ее судьи об этом понятия не имели. Она была совершенно права: хуже и мне не будет, если я уйду к ним. И у меня такая же тоска, как у нее... Но что такое двойная жизнь? У меня не двойная, и не тройная: у меня со времени морфия десятки жизней, и я не всегда знаю, какая более «ре-

*) «Западная Республика. Порядок и Прогресс. Жить для других».

альная», какая менее. И «Афина» совершенно не реальна, все это призрак, символика. И сейчас — еще пять минут — морфий даст мне новую жизнь, быть может в тысячу раз более реальную, неизмеримо более для меня важную и ценную. Что «реально»? Гранд? Бриллиантовое ожерелье? Эта идиотская бутафория? Тот вздор, который здесь будут нести? Я себе создам сто жизней. И неправда, будто так называемый морфинный бред не зависит от нашей воли: я сама себе приказываю, о чем бредить, и почти всегда исполняется. Вот только сегодня не знаю, что приказать. Лишь бы не Гранда!.. Ну, что ж, пора»...

Комплект находился в третьей комнате, в которой был вделан в стену стальной ящик. Ничего секретного у них не было, но Гранд настоял на этой затрате. Тони хранила в ящике список членов общества, протоколы, членские взносы, спринцовку, морфий, спирт, вату. Она затворила обе двери, налила спирта в рюмку, продержала в ней с минуту острый кончик спринцовки, затем вытерла кожу над коленом ватой, пропитанной спиртом. Делала все это так заботливо, точно производила самую полезную медицинскую операцию. Затем впрыснула морфий, — боли почти не было. Подумала, что над левым коленом еще много места, но скоро надо будет перейти на правое бедро. В руку никогда впрыскиваний не производила: знаки от уколов держались довольно долго: люди могли бы заметить. Ей было бы неприятно, если бы они заметили. Знали, кроме Гранда, только третий любовник, находившийся теперь в Африке, и еще *ricqueur*, которому не была известна ее фамилия. У него она и покупала морфий, впрыскивание же делала давно сама: у *ricqueur*'а они стоили слишком дорого, а главное ей было перед ним стыдно, и она немного его боялась: сам он был не морфиноман, а кокаинист, подверженный припадкам яростного возбуждения.

Тони села в низкое глубокое кресло, откинула

голову на спинку, закрыла глаза, вытянула вперед ногу, подвинула к себе носком стул, соломенное сиденье вздулось, стул безшумно подплыл, она положила на него обе ноги. Свет скоро появился. Все окрасилось в золотой цвет: соломенные ромбики стула, нейлон ее чулка, порванное сукно стола, висевший на стене портрет Огюста Конта. Все тяжелое уплыло, как будто в голове теперь появился фильтр, пропускавший одни блаженные мысли. Только в последнюю минуту у нее еще скользнула мысль, что она на днях назвала Гранда сутенером, что он чуть не заплакал и грозил покончить самоубийством. Ей было жаль и его, и себя: если бы у него были деньги, он был бы честным и хорошим человеком. Странно было, что у Огюста Конта золотое лицо с высоко поднятыми золотыми бровями. «Огюст по-русски Август. Какие были еще Августы? У Августа были два товарища по триумвирату, это тогда спросил в лицее учитель. Один Антоний, но кто другой?» Золотая змея грозила золотым жалом, но на золотой груди уже не было места для уколов. Память уплыла совсем, но все, что было сейчас, она видела с необыкновенной ясностью. Думала, что теперь может сказать, сколько в каждом ряду стула ромбиков, сколько их на всем стуле. За светом наступила эвфория (этому слову ее тоже научил третий любовник). Люди сами по себе были так же дурны, как раньше, она даже лучше, чем до света, видела все их пороки, их глупость, их трусливость, их угодливость. Но теперь они никакого отвращения ей не внушали. «Вечер пройдет с Грандом, он, конечно, негодяй, но не все ли равно? Он милый негодяй, да и не нужно его любить, достаточно заниматься с ним любовью. И что такое любить? И не все ли равно любить или не любить, когда есть это! С этим шприцем можно быть счастливым в концентрационном лагере, в камере смертников, в газовой печи»...

Э в ф о р и я перешла в дремоту, затем в сон, в знакомый ей д в о й н о й сон: ей с н и л о с ь, что она с п и т. Гранд придет в пять часов, будет просить денег, надо будет дать... Третьего триумвира звали Лепид, она тогда в лицее это знала, и теперь будет знать, когда проснется. Можно сказать Гранду, что Лепид даст ему денег, он очень богат, тогда зачем будет красть. Змея ее укусила почти без боли, как при уколе. «Гранд насмехается, но он прав: у меня душа Клеопатры, и об этом можно было бы написать чудесные стихи. Где же взять для Гранда денег? Фергюсон сам небогат, он влюблен, но он и не знает, что такое любовь. У Огюста Конта высоко поднятые брови, и это придает ему глупый вид. Если Гранд умен, то Фергюсон глуп. Нет, они оба умны, только совсем по-разному, совсем по-разному»... Она с ужасом чувствовала, что умирает, но в п е р в о м сне знала, что это сон, очень тяжелый сон, надо скорее проснуться. «Гранд обманщик, у него свой ключ от стального ящика, он способен на все, кроме убийства. Князь Тьмы убивает, но не мошенничает. Уж лучше был бы способен и на убийство... Яд действовал все быстрее. Какие-то люди быстро говорили и все в одном тоне, все на одну ноту... Это сон, никакой смерти нет, это обман, должна быть только эвфория... Теперь пусть будет дьявольский шабаш! — приказала она себе, все — то, что описал по-латыни этот Малефиц-протоколист. Вот что мне остается... И как это представлять себе оргию по цитате это просто глупо! Неужто во мне сидит и книжная женщина, синий чулок? Конечно, нет», — подумала она во сне. Ей представилось то, что с ней проделывал Гранд, только теперь это было еще острее и сладостнее, морфий и э т о усиливал. «Что выбрать на сегодня?»... Она спала сном во сне до наступления того, что тоже по книгам называла «блаженной истомой» (хотя сама себя ругала за это пошное слово из порнографических

романов). «Да, моя Гретхен была права. Для этого с т о и л о погубить их настоящую жизнь. Никакой настоящей жизни и нет, есть только белый мак, и сотни жизней, сотни жизней в морфии, все лучше их настоящей. А самая лучшая — дьявольский шабаш и Князь Тьмы... Какой Гранд Князь Тьмы! Он и по наружности не годится, он просто мелкий жулик»...

Через несколько минут, понемногу, в двойной сон, стала вторгаться ненужная ей гадкая н а с т о я щ а я жизнь, где были «Афина», Фергюсон, Делавар, бриллианты, которые надо было продать, то мелкое, пош- лое, не от Князя Тьмы, что было в Гранде. «Он ско- ро придет, и зачем он мне т е п е р ь ? Сейчас, сей- час проснуться!» — приказала она себе — и почти проснулась. Дверь отворяли. «Кончилось! Все мои лучшие жизни коротки. Вот он, мой пошленький Князь Тьмы». Она вздохнула и проснулась совсем. Дверь в самом деле отворяли ключом.

IX.

В передней знакомый голос напевал что-то веселое. Тони вспомнила, что обе двери этой комнаты закрыты на ключ. Если он заметит, то догадается. Хотя Гранд знал, ей бывало неприятно, когда он замечал действие морфия. Она быстро на цыпочках скользнула к двери, отворила ее, поставила стул на прежнее место перед столом, села, придвинула к себе счета. "...Ce soir tu te maries, — Quelle émotion!"... — пел негромко в передней глубокий грудной голос, — Гранд говорил, что его баритон неотразимо действует на женщин, и ей казалось, что он тут не лжет. «Пьян, — подумала она: он обычно что-то напевал, когда бывал навеселе. — А все-таки заметит!» — Зеркала в комнате не было, она вынула пудреницу, поспешно что-то поправила, напудрила нос и щеки. Он долго устраивал в передней пальто, шляпу, перчатки. Хорошо одевался, заботился о своих вещах, умел носить костюм и, садясь, никогда не забывал одернуть брюки над коленями.

— Вице-питонисса, можно к вам? — весело спросил он из передней и постучал в дверь: всегда деликатно стучал, и ей иногда казалась в этом насмешка. Гранд вошел в комнату. Это был человек лет тридцати, скорее красивый, чем некрасивый. По-настоящему у него были прекрасны только глаза: светло-голубые, блестящие, веселые. Он говорил, что они выражают вместе ум и доброту. «Самое забавное, что и то, и другое верно!» — Гранд уверял также, что у него очень красив и рот. — «Нет, глаза и только глаза, зеркало вашей прекрасной души», — иронически отвечала

она. — «Не говори, не говори, у меня и многое другое очень, очень хорошо. Это признавали самые аристократические дамы Испании. Кстати, в моем обществе говорят, что я очень похож на Мориса Шевалье: “Vous êtes très Maurice Chevalier”. — «Ни малейшего сходства. А кто это ваше общество? Жулики, выпущенные из тюрьмы по амнистии?» — «Я вчера обедал у одного из принцев Бурбонского дома. Люблю породу в людях»... — «Пожалуйста, перестаньте врать», — говорила она и все-таки слушала: так хорошо и с таким увлечением он врал. Описывал наружность принцессы, дом принца, семейные портреты работы Веласкеса. — «Все бессовестное вранье: и принц, и принцесса, и дом, и Веласкес!» Таков был обычный тон их разговоров. — «Что я в нем нашла? — думала она и теперь. — И красоты в нем никакой нет. Ноги слишком коротки для туловища. Лицо длинное, лошадиное»... Гранд был добр, но она не любила добрых людей. «Большая мужская сила, это верно». Говорил он быстро, все делал несколько быстрее, чем другие люди, на ходу энергично размахивал левой рукой.

Он развернул белый сверток. Тони знала, что он принесет цветы: приносил всякий раз новые, какие-то редкие, при чем неизменно объяснял их значение. Говорил, что знает четыре языка и из них лучше всего язык цветов. Она, впрочем, думала, что он тут же сочиняет их значение и даже их название: называл, случалось, такие цветы, какие в Париже было бы очень трудно достать или какие были по времени года невозможны. Гранд поцеловал ей руку. Тони этого не любила и всегда руку отдергивала, — он неизменно говорил: «Вы совершенно правы: целовать так в губы». От него пахло вином и духами. Он развернул бумажку и подал ей два цветка.

— Фиолетовый крокус, — сказал он. — Смысл: «Вы сожалеете, что меня любите». Асфodelия. Смысл:

«Мое сердце разбито». Ах, как я грустен! Если б Иов начитался Сартра, а затем прослушал «Похоронный Марш» Шопена, то он был бы менее грустен, чем я.

— Какая этому причина?

— Безденежье! Твое равнодушие и мое безденежье, — сказал Гранд и повалился в кресло. — ...Tu vas perdre, ma chérie, — Toutes les illusions...

— И сегодня пьяны! — сказала она, надеясь, что он не заметит. Но он заметил: почти всегда все замечал.

— Вице-питонисса, это очень старый и очень бесовестный прием: обвинять ни в чем неповинного человека, когда вы сами виноваты в сто раз больше. Хлоргидрат! — комически-торжественно произнес Гранд. — Морфий — это какой-то хлоргидрат или что-то в этом роде. Я очень ученый человек. У меня сто двадцать пять работ по химии. Я даже изобрел азотную кислоту. Вот только золота я не умею делать, и это чрезвычайно досадно... Я нынче очень недурно позавтракал.

— Она брюнетка?

— Нет, блондинка: «она» — Делавар. Завтрак был деловой. Так все европейские министры теперь завтракают с американскими: «Давайте деньги!» Я начал с места в карьер, с резкого удара по струнам, как начинается увертюра «Кориолана». — «Давайте деньги». Не дал, — не то, что американские министры. Я перешел на дьявольское скерцо «Девятой Симфонии»: с выстрелами, с угрозами, с мольбой добра к злу. Не дал. Торжества зла над добром. Зато завтрак был отличный. К закуске была ваша русская водка, я выпил три рюмки, но слава водки очень преувеличена, как слава Брамса и Сталина. Пить надо вино и только очень хорошее. К рыбе мы заказали Шабли, к жаркому Лафит. Теперь почти невозможно достать хороший Лафит, но для Делаvara и для меня ничего невозможного нет. Ах, какой напиток! Лафит един-

ственное в мире красное вино без малейшей горечи... Самое ужасное, что я заплатил половину! Для престижа я это предложил, а он из садизма принял! И теперь, повторяю, я беден, как Иов до возвращения ему имущества с процентами и с вознаграждением за ущерб! Все это безумно тяжело, а что еще будет, а? ...*“Et autre chose aussi — Que j’ peux pas dire ici”* — с ожесточенным выражением пропел он. — Скажите, как дела богини? Много ли поступило просьб о вступлении?

— Сорок.

— Скоро будет сорок тысяч... У кого это было сорок тысяч братьев?

— Это слова Гамлета.

— Почему именно сорок тысяч? У нас тоже скоро будет сорок тысяч братьев. И сестер. Сколько же денег в кассе?

— Очень мало... Магазин во второй раз требует денег за пианино. Вы мне соврали, что заплатили.

— «Вы мне соврали, что заплатили»! — передразнил он. — Мы сегодня на вы? Хорошо, говори мне вы, а я буду тебе говорить ты. Разве я сказал, что заплатил? Если сказал, то действительно соврал.

— Это с вами случается. Дюммлер говорит, что у вас есть неизвестный Фрейду комплекс, комплекс барона Мюнхгаузена.

— Подлый старик, но остроумный, — сказал Гранд, смеясь и показывая квадратные зубы. — Может быть, у меня и есть такой комплекс. Я тебе уже говорил, что нет людей, которые никогда не врут. Их не больше, чем, например, людей, не употребляющих за едой соли. Есть и такие. Теперь, кажется, даже от чего-то лечат этим очередным шарлатанством. Да и то они, вместо соли, жрут, кажется, хлористый калий или какую-то другую дрянь. Может быть, и люди, которые никогда не врут, пользуются каким-то суррогатом вранья.

— Мне ваша философия не интересна, — сказала она. Часто говорила это людям, несколько меняя форму: «Мне ваша биография не интересна»... «Мне ваши истории не интересны».

— Вот ты и соврала! Кстати, мне доподлинно известно, что ты у меня стянула эту философию. Мне доподлинно известно, что ты кому-то из твоих мужчин уже говорила то самое, что я только что сказал! Это в порядке вещей, так как я твой властелин и много умнее тебя, хотя и ты не глупа. Что же касается пианино, то я действительно собирался за него заплатить. Жизнь и Делавар насмеялись над моими мечтами. Я надеялся, что Делавар даст.

— Нам необходимо привести дела «Афины» в порядок.

— Никакой необходимости нет. Какая ты была бы очаровательная женщина, если б не твоя денежная честность! Есть просто честные дуры, что ж делать, это несчастье. Ты же вообще не так глупа, но эта несчастная честность именно там, где честность не нужна, вредна и бессмысленна! Ты не могла бы быть честной в чем-либо другом? В чем угодно, только не в деньгах? Например, ты могла бы быть «честна с самой собой».

— Я говорю серьезно. Мне придется сказать Делавару.

— Ты на меня пожалуешься начальству? В школах за это бьют. Кроме того, ты ошибаешься. Начальство в «Афине» Председатель, а мы с Делаваром равны: он Гарант Дружбы, а я Хранитель Печати. Все его превосходство в том, что он дает «Афине» деньги, а я нет. Разве честно этим пользоваться? Видишь, ты путаешься в самых элементарных понятиях... Надо, кстати, наконец, найти чин и для тебя. «Секретарша» это не чин. У Конта, кажется, нет подходящего чина, но Дюммлер говорил, будто у каких-то Люциферианцев были Питонисса и Вице-питонисса. Я и ре-

шил было внести предложение назвать тебя Вице-питониссой, но Дюммлер никогда не позволит. Он вдобавок меня терпеть не может. Почему бы это?

— Потому, что вы совершенно аморальный субъект.

Гранд вздохнул.

— Это, может быть, и правда. Но разве я в этом виноват? Ведь я и со своей аморальностью симпатичен? Правда? Скажи правду, разве я не симпатичен?

— Так себе.

— Вовсе не «так себе». Вот ты мне не прощаешь моих денежных дел, того, что я беру у тебя деньги...

— О моих деньгах я никогда не говорила. Вы на них имеете право.

— Не нахожу! Не нахожу, но беру, потому что они мне нужны. Ангел мой, я тебе все отдам! Ведь когда у меня есть деньги, я их раздаю направо и налево, я такой человек. Но у меня они бывают так редко! Деньги главный интерес в жизни громадного большинства людей, хотя они зачем-то это отрицают... Эврипид говорил, что за большие деньги можно подкупить и богов. Да вот, постой, — радостно сказал он и вынул из кармана тетрадку. — Когда мне где-нибудь случается прочесть или услышать хорошую мысль, я всегда записываю. И об Эврипиде записал... Где это?.. Я тебе прочту старые стихи о деньгах: «*J'aime l'esprit, j'aime les qualités, — Les grands talents, les vertus, la science, — et les plaisirs, enfants de l'abondance, — j'aime l'honneur, j'aime les dignités, — J'aime un amant un siècle et par delà, mais dites moi, combien faut-il que j'aime — Le maudit or qui donne tout celà*».*) Ни о чем другом нет такого числа изречений, как о деньгах! Одно есть, правда, неприятное,

*) «Я люблю ум, достоинства, таланты, добродетели, науку, люблю наслаждения, почести, люблю друга, но, скажите, как же я должен любить проклятые деньги, которые дают все это».

итальянское: «Кто хочет нажиться в один год, тот попадет на виселицу через полгода».

— Имейте это изречение в виду.

— Да разве оно верно? Общих правил тут нет. И притом, что ж, умереть на виселице не хуже, чем, например, от рака.

— Уж если вы так любите деньги, отчего бы не наживать их честно?

— Это невозможно! Может быть, когда-то и было возможно, да и то я сомневаюсь.

— Делавар богат и никогда о деньгах не говорит. А вы только о них и говорите, но бедны.

— Конечно, Делавар идеалист. Он мне еще сегодня это сказал и добавил, что ненавидит циников. Как хорошо: и идеалы, и миллионы! Ты знаешь, мне иногда кажется, что он просто глуп.

— Так вы не думаете, что есть честные богачи?

— Ни одного. А теперь вдобавок это и невозможно по той простой причине, что во всех странах введен огромный прогрессивный подоходный налог. Человек, наживший миллион долларов, должен был бы отдать казне девятьсот тысяч. Мудрые правительства и превратили чуть не всех своих граждан в клятвопреступников! Неужели ты думаешь, что высокоуважаемый Гарант Дружбы показывает правительству свои доходы? Для него десять адвокатов придумывают способы, как «честно» обойти закон. Дитя мое, поверь, я зарабатываю хлеб честнее очень многих — и такой скромный хлеб! Если б я был директором банка, я сделал бы такой опыт: разослал бы десяти почтенным клиентам письмо с сообщением, что при последней выплате по текущим счетам кассир повидимому заплатил вам по ошибке на тысячу франков меньше, благоволите проверить и получить. Я уверен, что девять почтенных клиентов из десяти ответили бы: «да, проверил, очень благодарю». А десятый ответил бы, что проверить не может, не заме-

тил, поступайте, как сочтете нужным. И я всем девяти внес бы по тысяче франков в благодарность за доставленное мне удовольствие. Десятому же не дал бы ни гроша за лицемерие: он и хочет смошенничать, да не решается: «пусть будет воля Божья или воля банка». А взятки! Разве есть место, где не берут взятки? Я вот как-то себя спрашивал, берут ли в Объединенных Нациях, а? По-моему, должны брать, как ты думаешь? Я понимаю, главных делегатов не купишь: для них риск был бы слишком велик. А второстепенных? Ну, вот если идет спор между арабами и евреями, какое там дело второстепенному делегату до арабов и евреев, тем более, что тут, в виде исключения, Соединенные Штаты и Россия были заодно.

— Я ненавижу капиталистический строй, но вы и на него клевете.

— Может быть, может быть, — грустно сказал Гранд. — А все-таки, поверь мне, большинство людей ничем не лучше меня. Надо во всем быть последовательным и иметь свой стиль. Я где-то читал, что Мазарини на смертном одре играл в карты и мошенничал. Какая прекрасная смерть! Ты думаешь, что Делавар лучше меня, а по-моему, я гораздо лучше: я, по крайней мере, не обманываю себя. Он сегодня что-то нес о музыке, и за это его немедленно надо было бы сварить в кипящей смоле... Со свойственным ему бесстыдством он сказал мне, что любит искусство «больше жизни»! Я тотчас же представил картину: Делавар в кабинете, украшенном картинами Рафаэля, слушает по радио «Героическую Симфонию», в доме начинается пожар, он не бежит и сгорает живьем, так как любит искусство больше чем жизнь. Впрочем, нет, я напрасно называл Рафаэля и Бетховена. Ему нужно только самое последнее слово. Хочешь, я тебе в двух словах объясню разницу между старым искусством и новым? Всем художникам, талантливым и бездарным, всегда были нужны слава и деньги. Но

прежде для того, чтобы иметь возможно больше славы и денег, надо было не делать скандала, а теперь для того же самого надо делать скандал... Почему я обо всем этом говорю?

— Потому, что вы пьяны.

— Нет, скажи, по-твоему, Делавар лучше меня?

— Все-таки лучше. Вы, быть может, добрее, — сказала Тони, подумав. Она знала, что Гранд на улице никогда не проходил мимо нищего, не подав ему двадцати франков. При этом всегда ей объяснял: «Может быть, и я так кончу, а? Я уже облюбовал себе местечко в длинном коридоре метро Сен-Лазар, там можно просить, и это очень людная станция».

— Доброта гораздо важнее и лучше честности, запомни это. И я терпеть не могу золотую середину, все промежуточное, все, что ни то, ни сё: грэп-фрут, голос контральто, белые стихи, французскую радикал-социалистическую партию. Делавар не жулик и не честный человек. Скажем, он полупрохвост, а?.. Подбор людей у нас в «Афине» приблизительно такой же, как в жизни вообще. Дюммлер превосходный человек, твой профессор человек очень хороший, хотя и не умница, большинство братьев и сестер люди, вероятно, средние, Делавар — полупрохвост, а я прохвост, так? Но если я прохвост, то очень веселый. Я всегда смотрю на себя немного со стороны, и мне весело даже тогда, когда я оказываюсь в дураках. А относительно денег тот старый французский поэт прав. Во всяком случае почти все молодое поколение думает так, как он и как я. У них тоже единственная цель в жизни деньги. Большевики — умные. В Европе, и вообще в мире, принято ругать последними словами правительство, министров, депутатов. А на самом деле, если кто-нибудь еще немного думает о государственных или общественных интересах, то только они. Правда, им за это платят жалованье, они альтруизмом живут. Все остальные, за редчайшими

исключениями, уделяют девяносто девять процентов своего времени и мыслей собственным интересам, преимущественно денежным. Это так во всем мире.

— В России это не так.

— И в России наверное так. Большевики умные люди, но сорвутся они на этом: у них власть дает слишком мало денег. Между тем их молодежи одной власти недостаточно. Кто это сказал: “Enrichissez-vous”?*)

— Кажется, Луи-Филипп или кто-то из его министров.

— Это надо соединить с «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», иначе у Сталина ничего не будет. «Соединяйтесь, товарищи, и обогащайтесь». Он этого не понимает, потому, что он человек старого поколения. И еще большая ошибка: он преувеличивает сходство человека с орангутангом. Сходство, конечно, есть, но он его преувеличивает, забывая вдобавок, что для социалистического строя орангутанги все-таки не годятся... Ты когда-то имела связи с коммунистами?

— Да, во время Résistance.

— И сохранила хорошие отношения?

— Сохранила кое-какие. А вы?

— Никогда не имел, избави Бог. Они не любят, во-первых, порядочных людей, во-вторых, людей как я...

— То есть жуликов?

— Я не жулик, — обиженно сказал он. — Я беспринципный идеалист. Поэтому я так нравлюсь женщинам: как идеалист и как беспринципный. Я действую на женщин, как Рудольф Валентино или как Джон Барримор.

— Скорее как Распутин.

— Что ж, и это не так плохо. У меня действи-

*) «Обогащайтесь».

тельно огромная мужская сила, ты это знаешь! Женщины чувствуют и то, как я их люблю. Правда, существуют и другие хорошие вещи, например, шампанское, но без женщин жизнь была бы нестерпима. Мне и деньги нужны главным образом для женщин... Впрочем, нет, деньги нужны и без них. Возьми, например, себя. Ты сумасшедшая, но я тебя обожаю! Даже с твоей идиотской «обреченностью». Почему ты думаешь, что ты обречена? Кто тебе это сказал?

— Я не думаю, а знаю. Меня не любит Бог.

— Он тебе это сообщил? Бог объяснялся в любви только израильскому народу, да и то давно перестал: верно, ему израильский народ надоел.

— Перестаньте нести богохульный вздор. Я не только верю в Бога, но не понимаю, как можно не верить! Зачем же тогда жить? Я во все верю. Верю в предчувствия, в предзнаменования. Больше всего верю в судьбу.

— Да ведь твои друзья коммунисты говорят, что религия опиум для народа... Кстати, почему ты любила коммунистов? Что у тебя с ними общего, особенно с тех пор, как ты стала вспрыскивать себе морфий? Кажется, Сталин этого не приказывает? Его единственное достоинство в том, что он не морфинист. Вот будет странно, если окажется, что ты даже не сумасшедшая, а просто глупа! Впрочем, нет, не обижайся: ты сумасшедшая. И в некоторых отношениях это для тебя преимущество. Жулики ведь мира не завоевывают, а сумасшедшие — да... Дай мне ручку, — сказал он и взял ее за руку. — Не волнуйся, это не для гаданья.

— У меня очень короткая линия жизни. Все гадалки говорили мне, что...

— Что ты умрешь трагической смертью, наперед знаю. Плюнь им в лицо. Ах, какие у тебя пальцы! У тебя руки, созданные для передергивания карт! Я когда-то недурно передергивал, но у меня короткие

пальцы. Еще раз не волнуйся, я тебя не буду учить карточной игре. Все же для некоторых тайных обществ у тебя замечательные руки. Звонок это пустячок, это только начало. Тому ли я тебя еще научу!

— Вы давно мне не были так противны, как сегодня. Имейте в виду, я в «Афину» пошла честно. Сомнения у меня были, но я ими поделилась с Дюмлером. Моя единственная вина перед ним в том, что я ему не сказала, кто вы такой.

— Ангел мой, пусть совесть тебя не мучит: он догадывается.

— Я тоже надеюсь, хотя он всего знать не может. Всего и я не знаю. Не знаю прежде всего, зачем вы пошли в «Афину»? Для связей? Для заработков на заказах?

— И по убеждению. Так я в самом деле тебе не нравлюсь? — с искренним огорчением спросил он. — Разве все мои предшественники по блаженству с тобой были лучше?

— Нет, не все.

Гранд засмеялся.

— Вот видишь. Ты коллекционерка. Я страшно рад, что Делаваара в твоей коллекции нет. Впрочем, не буду спорить, он честнее меня, но только потому, что у него размах гораздо больший и что ему везло. Да еще он гораздо больше, чем я, боится нарушать уголовный кодекс. Я тоже боюсь, но не так, как он. Устроиться с полицией всегда можно. Я уже раза три устраивался.

— Где? В вашей родной Кастилии?

— Ты, кажется, не веришь, что я испанский гранд! Я в родстве с герцогами Альба и Медина Сидониа.

— Как вам не совестно всегда врать! Вы в Испании никогда не были и ни одного слова по-испански не знаете. Впрочем, я иногда люблю слушать, как вы врете.

— Хочешь, я тебе расскажу об Испании? Ах, ка-

кая волшебная страна! — сказал он и принялся «рассказывать». Врал он действительно с необыкновенным искусством. «Право, он поэт!» — думала она, отлично зная, что в его рассказе нет ни одного слова правды. «Он как тот банкир, о котором говорили, что он не может вернуться к себе домой на извозчике: органически не способен сказать правду и всегда сообщает извозчику неверный адрес»...

— Да, да, волшебные сады Гренады, кастаньеты, дуэньи, — сказала она. — Так вы поднимались к Инесе по веревочной лестнице? Кстати, описали вы эту Инесу хорошо, как если бы она действительно существовала.

— Она жила в Гренаде в двух шагах от Альгамбры. Из ее окон был вид на Сиерру Неваду. Ах, какие у нее были глаза! Не хуже твоих! Я люблю блондинок с черными глазами и брюнеток со светлыми. Помню однажды...

— Довольно, хорошего понемножку. С вами нельзя разговаривать, не дав вам предварительно пен-тоналя. Это средство против лжи, оно теперь применяется на судебных допросах. Вам непременно его дадут, когда вы попадетесь.

Он хохотал.

— Ну, что ж, ты права, я такой же испанский гранд, как наш Гарант Дружбы — Делавар... Если хочешь знать правду, то я албанец патагонского происхождения... Ты говоришь, что я вру. Да, но к а к я вру! Вы все думаете, это легко: врать? Это искусство, которое, как всякое искусство, дается от Бога! Мне надо было бы стать авантюрным романистом или министром иностранных дел! Моим собеседникам от м о е г о вранья только художественное наслаждение, а вреда от него никому никакого. Ты ведь знаешь, что я очень добрый человек. Даже в делах мне всегда жаль людей, которых мне случается вводить в невыгодные соглашения... Самое главное в жизни

доброта. — Он опять вынул записную книжку. — “Il n’y a que les grands coeurs qui sachent combien il y a de gloire à être bon”.*) Кто это сказал? Фенелон. Кто он был, честно скажу, не знаю. Но если его цитируют, то, значит, он этого стоит. Хорошо, допустим, что я не так добродетелен, как, скажем, Делавар. А через что я прошел, ты знаешь? Через какие страдания я прошел, ты знаешь? Я неделями питался одним хлебом! А был у меня и такой день, когда я ничего не ел. Ко мне в тот день в мою мансарду пришел один барин с деньгами. Я нарочно все выставил перед ним: вот как живу, любуйся! Думал, что подействует, и мне даже было приятно: да, в нищете, да, голоден. Представь, на него не подействовало: выразил сочувствие и ушел. Да еще то ли было! Я и в тюрьмах сидел! — Он спохватился. — Не во Франции! И несправедливо! Да и то не сидел. Ты сама говоришь, я все вру... Ну, хорошо, но надо же есть и пить и такому человеку, как я?

— Нет, пить не надо.

— Молчи, ты, хлоргидрат!.. И не смотри на мое левое ухо, что это за манера! Смотри мне в лицо. — Он поцеловал ее, обдав ее запахом вина. — А кто этот русский американец, который стал бывать у Дюммлера?

— Он подал заявление о желании вступить в «Афину». Председатель одобрил. Я приму его перед ближайшим заседанием.

— Не забудь взять с него членский взнос. Если он американец, то ему стыдно платить тысячу франков. Доллар сегодня котировался на черной бирже по 510. Неужели он заплатит два доллара вступительного взноса! Не можешь ли ты взять с него сорок тысяч? Пусть это будет давлением американского капитала на Европу, я против такого давления ничего не

*) «Только великие сердцем люди знают, какая слава в том, чтобы быть добрым».

имею... Вице-питонисса, я должен сделать вам строгий выговор: я три раза говорил вам, что вы не должны носить это ваше ожерелье.

— Вы знаете, что оно не мое.

— Напротив, оно именно твое. Да, да, я знаю, тебе его отдала на хранение еврейская дама перед тем, как ее депортировали в Германию. Но она, конечно, погибла. Ты, кажется, говорила, что ее депортировали в 1943 году?

— В начале 1943 года.

— Значит, прошли пять лет, которых требует закон.

— А если она жива?

— Если бы она была жива, то она объявилась бы. Из десяти ее приятельниц девять наверное сделали бы изумленный вид: впервые слышат об ожерелье. Впрочем, нет, они признали бы, что действительно она им дала ожерелье, но его у них отобрало Гестапо. На Гестапо теперь так легко все валить. Старик Дюммлер, который все знает, говорит, что так было и после отмены Орлеанского эдикта... Нет, не Орлеанского. Какой это эдикт отменил Людовик XIV? Нантский эдикт, вспомнил. После отмены Нантского эдикта гугеноты, покидая Францию, оставляли драгоценности приятелям-католикам, но назад свое получили очень немногие: те клялись, что у них все отобрали... Какой ученый человек Дюммлер! Он меня терпеть не может, а я искренне им восхищаюсь... Повторяю тебе в сотый раз, твоя знакомая погибла. Из немецких концентрационных лагерей никто не возвращался.

— Кое-кто вернулся. А если она и погибла, то у нее могут быть наследники.

— «Могут быть»! Ты их знаешь? Нет. Они тебя знают? Тоже нет. Почему они будут думать, что их родственница оставила бриллианты именно тебе? Бриллианты отобрало Гестапо.

— Гадко слушать то, что вы говорите! Если бы наследников не оказалось, я отдам ожерелье властям.

— Это было бы чистейшее безумие, да еще при твоих политических взглядах! Буржуазные власти назначат хранителя наследства, который получит приличное жалованье. Он будет разыскивать наследников пять лет в пяти частях света и если б наследник оказался, то все будет съедено хранителем до этого. Ты облагодетельствовала бы какого-нибудь нотариуса.

— Или же я пожертвую это ожерелье.

— Вот. Я именно к этому и веду. Но пожертвовать ты его должна, разумеется, в пользу «Афины». Какое другое дело больше заслуживает поддержки?.. А кроме того, ты все равно рано или поздно это ожерелье продашь и положишь деньги в свой карман...

— Вы негодяй!

Она так изменилась в лице, что Гранд испугался.

— Я пошутил. Неужели ты не понимаешь шуток?

— Это не шутка!

— Ради Бога, не сердись. Я и забыл, что это у тебя навязчивая идея...

— Какая навязчивая идея?

— Та, что ты продашь ожерелье. Ты мне раз это сказала. Или дала понять.

— Я никогда ничего такого вам не говорила!

— Может быть, я ошибаюсь. Не будем больше об этом говорить, но об одном я тебя должен просить очень серьезно: ты не должна на наших заседаниях носить это ожерелье. Одни братья и особенно сестры будут думать, что камни фальшивые, и это произведет неблагоприятное впечатление. Если же найдется сестра, знающая толк в бриллиантах, то у нее может возникнуть не совсем братское чувство: «Что это за миллионерша в самом идеалистическом обществе мира, и зачем я буду платить членский взнос обществу

миллионеров!». Для нас следовательно твое ожерелье прямой убыток. Я говорю серьезно. Мы сделали в «Афине» стальной сейф для наших бумаг. Ключ у тебя. Как Хранитель Печати, я предлагаю вам, вице-питонисса, держать ожерелье в сейфе, по крайней мере во время заседаний. А еще лучше храни его там постоянно. Тебя могут ограбить на улице: ты часто возвращаешься домой одна.

— Это мое дело.

— Дюммлер скажет тебе то же самое. Он уже выражал недоумение по поводу твоего ожерелья. А если с тебя его грабители сорвут на улице, то тебя замучит совесть. Помни, что я сказал.

Он встал и подошел к стоявшему в углу комнаты горшку с растением.

— Ты опять не полила водой? Как тебе не стыдно! А какой подлец надорвал этот листок?

— Вероятно, я. Другие подлецы, кроме вас, сюда не заходят.

— Людей, которые портят цветы, надо вешать! Я сейчас принесу воды, — сказал он, вышел и вернулся с большой кастрюлей. — Вот, так... Любо смотреть, как земля чернеет от воды. Я не мог бы жить без цветов!

Он вдруг поднял руки и лицо его приняло гробовое выражение.

— Я слышу голос Хозяина! — сказал он замогильным голосом. Послышался тихий, непрерывный, очень приятный по звуку звонок. Гранд разжал левую руку. Там лежала плоская металлическая коробка. — Чистое серебро! Стоило мне бешеных денег. Зато и звук серебристый, как раз такой как надо. Тот был слишком груб, просто звонок от парадной двери. Это не был звонок Кут-Хуми... В Америке я все поставлю по-другому. Там у меня, кроме звонка, будут с потолка падать цветы прямо с берегов Ганга. Индейская ре-

зеда: «Любите и надейтесь». Будут также падать письма на астральной бумаге. Правда, на таких письмах Блаватская, кажется, и сорвалась.

— Вот что, вы сегодня, кажется, совершенно пьяны, уж что-то очень разоткровенничались, — сказала Тони. Лицо у нее дернулось от злобы. — Быть может, вы серьезно рассчитываете, что я буду молчать, если вы займетесь здесь уголовными делами? Вы ошибаетесь. И вообще вы преувеличиваете мою любовь к вам. Она была и прошла. А если вы надеетесь сделать из меня сообщницу или помощницу, вроде тех, что были у какого-нибудь Калиостро, то вы, значит, просто дурак!

Он огорчился и даже испугался. «Кажется, я зашел слишком далеко, так сразу все не делается», — подумал он, протрезвившись.

— Милая, — сказал он, пытаюсь взять ее за руку. Она тотчас руку отдернула. — Милая, не надо принимать дословно все, что я говорю. Блаватская была благороднейшая и умнейшая женщина. Но она знала, что люди глупы, и на этот счет мы оба с ней вполне согласны. Люди очень мило глупы, я их очень люблю и хочу служить им. Их надо обманывать для их собственного блага, это азбука. Ведь основная идея у большевиков именно эта. У них свой звонок Кут-Хуми, только другой, густо окровавленный. А мы без крови! Сколько хороших, хотя и глупых, людей станет счастливее от звонка Кут-Хуми и от резеды. Если, как я надеюсь, ты будешь работать со мной, мы положим в основу дела всеобщее братство. Без всеобщего братства теперь нельзя сунуться даже в ГПУ. Я умолял Дюммлера объявить всеобщее братство основой «Афины». Но проклятый старик все морщится. У нас, говорит, не религиозная община, не масонский орден и не теософское общество. Братства, говорит, на земле никогда не будет, да и не нужно оно совсем: было бы жульничество и это в таких случаях почти не-

изменное правило... Может быть, Дюммлер на меня и намекал. Он меня считает жуликом?

— Думаю, что да, хотя он мне этого не говорил.

— Подлый старикашка, — сказал Гранд, впрочем без всякой злобы. — Уверен, видите ли, что для «Афины» достаточно «сотрудничества в деле искания истины»! С того дня, как он мне это сказал, я и понял, что ничего из «Афины» не выйдет. Нет, мы здесь присмотримся к людям, а потом откроем с тобой не такое общество.

— Вы откроете его без меня.

— Не могу. Без твоих глаз ничего нельзя сделать... Этот американец драматург?

— Да, кажется.

— Что за гадкое и самоуверенное ремесло! Они, видите ли, «создают людей»! Но Господь Бог, я думаю, терпеть не может, чтобы ему делали конкуренцию? Впрочем, если он имеет успех, то он нам нужен. Делавар все время говорит: вербуйте знаменитостей. А где я их ему возьму?

— Как бы не ушел и сам Делавар.

— Почему? — с беспокойством спросил Гранд. — Ты замечаешь, что он охладел к обществу? Он тебе что-нибудь сказал?

— Нет, он мне ничего не говорил. Обойдемся и без вас, и без него.

— Хороши бы вы были без нас! Так меня вы гоните?

— Мы вас пока, к сожалению, не гоним. Председатель мне не раз говорил, что Ордену нужны всякие люди.

— Даже такая дрянь, как я? — спросил Гранд еще веселее. — А между тем, я совсем не дрянь. Повторяю, я добр и симпатичен, эти два достоинства выкупают все недостатки. Кроме того, мне действительно нравятся идеи «Афины», ей Богу! Может быть, в моей

симпатичной черной душе есть пробелы, а? Может быть, мне нужно что-либо святое в жизни, а? Ты ведь знаешь, что я в душе люблю Дюммлера, хоть он и подлый старикашка. Кто знает, может быть, именно его идеям принадлежит будущее? Он прошлый раз говорил, что задача «Афины» освободить и уводить душу людей. Вдруг он освободит и уведет мою душу? Поверь мне, нет такого прохвоста, который бы никогда, ни разу в жизни об этом не мечтал бы. Ты этого не думаешь?

— Я думаю, что вы должны уйти из «Афины», пока вас не прогнали.

— Меня не могут прогнать. Делавару я нужен. Дюммлер меня терпит. Ах, какой он замечательный человек! У тебя слабость к прохвостам, а у меня к очень умным, ученым и благородным людям... Постарайтесь, вице-питонисса, забыть все лишнее, что я вам сказал. И не забудь получить хороший вступительный взнос с твоего драматурга. Вообще взыщи членский взнос со всех, кто еще не заплатил. Помни, что за пианино надо заплатить, а Делавар до 1-го числа ни сентима не даст. Между тем, если у нас заберут пианино, то все пропало! Я обожаю ритуал! Если б у нас не было ритуала, клянусь, я в «Афину» не пошел бы! Даже если б она в самом деле стала богатым учреждением, хотя у меня с юных лет принцип всегда примазываться к тем, у кого есть деньги... Кстати, ангел мой, в каком положении твои собственные дела? Как уроки фотографии?

— Вы могли бы хоть помнить, что я изучаю не фотографию, а радиотехнику.

— Это все равно! Никакого заработка такие вещи тебе не дадут. А как дела с профессором Фергюсоном? Он чудака, профессор Фергюсон. Из него толку не будет. В «Афине» он не засидится. Я в Америке буду работать не среди ученых, хотя между ними попадаются круглые идиоты. Фергюсон скоро нас всех

пошлет к чорту, в том числе и тебя... Какого числа он тебе платит жалованье?

— Скажите прямо: сколько вам нужно?

— Милая, зачем так говорить? Я беру у тебя деньги, но ведь я тебя люблю, и ты меня любишь. Ты отлично знаешь, что если бы я был богат, я все свое богатство сложил бы у твоих ног.

— Поэтический тон вам не удастся, — сказала она, хотя сердце у нее залилось радостью от его слов.

— Вот, вот, опять... Как тебе не стыдно? Разве ты не любишь меня? — Он поцеловал ее в губы, в оба глаза, и посадил к себе на колени. Тони не сопротивлялась. — Как тебе не стыдно? Ты меня считаешь падшим человеком, хотя откуда же это я упал? Я такой от природы, чем же я виноват? Я от природы не знаю, что хорошо и что дурно. Правда, слышал, читал, но это так неубедительно. Говорят, вот это хорошо, вон то дурно, а я всегда себя спрашиваю: а собственно почему? может быть, наоборот?.. Признайся, что я очень красив, а? И как я от природы элегантен! У меня было любовниц без счета, и я всех их горячо любил.

— Хвастун, ты изображаешь того польского короля, у которого было триста незаконных детей. И все ты врешь!

— Какой это польский король? — деловито спросил он. — Я запишу.

— Кажется, Август.

— У меня нет трехсот детей и даже нет детей вообще, но для этого есть особые причины. Я не польский король. Однако у него наверное никогда не было такой любовницы, как ты. Если б дать твои глаза да умной женщине, а не психопатке, каких бы дел мы с тобой не переделали. Ты тоже говоришь: этого нельзя, того нельзя! А почему, никто из вас объяснить не может. Мойсей не велел? Да мы еще не знаем, что делал бы Мойсей, если б жил при Гитлере. Но для упро-

щения спора допустим, что я падший человек. Так разве не грешно угнетать падшего человека? Да, я беру у тебя займы деньги, но я тебя люблю и я тебе все отдам. Какой-нибудь Рихард Вагнер брал деньги у женщин, которых не любил, и ничего им не отдавал. А между тем мы все вместе, с вашим честнейшим Дюмлером и с вашим благороднейшим профессором, недостойны развязать ремень на ноге у Вагнера... Помнишь эту оргию струнных инструментов при приближении корабля Изольды? Нет, ты не помнишь, да если б и помнила, то это ни к чему, потому что ты не более музыкальна, чем ученые медведи, которые на ярмарках играют на гармонии. По-моему, человек, который написал второй акт «Тристана», может быть убийцей, извергом, палачом в гитлеровском концентрационном лагере, может себе изготавливать абажуры из человеческой кожи, как та милая дама, как ее звали? Ильза Кох — и, несмотря на все это, на такого человека надо молиться, надо осыпать его золотом и ставить ему при жизни памятники!

— Но ведь ты пока не написал «Тристана».

— Но ведь я пока и не делал себе абажуров из человеческой кожи, — говорил он, осыпая ее поцелуями. — Вот отсюда можно было бы сделать чудный абажурчик... Какие преступления я совершил? Деньги? Как тебе не стыдно приписывать деньгам такое значение?

— Твое бесстыдство просто не имеет границ...

— Вот, вот, наконец-то! То-то!.. Вице-питонисса, вы целуете чудесно. Ваше настоящее призвание — любовь. Дорогая, в вас в самом деле пропадает Клеопатра! Я уверен, у Клеопатры тоже был этот легкий нервный смешок. Он и технически очень хорош. Милая, сделай еще этот т в о й жест: головка назад и налево, так, чтобы серьга почти касалась плеча... Вот так, чудно! Этот жест меня, как говорится, «сводит с ума»!.. Милая, расскажи мне свою любовную биогра-

фию, а? Впрочем, я догадываюсь: первого ты страшно любила, второго ты любила, но не страшно, третьего ты ненавидела, а начиная с четвертого, это стало привычкой.

— Ты хам и дурак... Хочешь, я вспрысну тебе морфий?.. Ты увидишь, что это за блаженство!.. Хочешь? Сейчас, сию минуту!

— Нет, очень благодарю... Приходи сегодня ко мне в гостиницу! Придешь?

— Приду. А ты все-таки хам и дурак.

— Хам, может быть, да и то едва ли, но дурак ни в каком случае. Нет, моя красавица, я что угодно, но не дурак, и ты отлично это знаешь. Невежественный человек — да, дурак — нет. И не хам, это вздор! Мой главный порок — это откровенность в пьяном виде, а я пью каждый день.

— Я тебя знаю наизусть и все-таки еще немного тебя люблю.

— Сейчас возьми назад это глупое «все-таки»!

— Скоро я тебя брошу.

— Какой наглый вздор! Меня еще ни одна женщина не бросала, я вас всех бросал, и всегда неохотно, всегда с душевной болью, клянусь честью! Нет некрасивых женщин и нет дурных любовниц!

— Я сама себе противна оттого, что полюбила тебя.

Он серьезно обиделся и ссадил ее с колен.

— Ты чрезвычайно глупа! Можешь бросить меня, когда тебе угодно! Терпеть не могу, когда люди вечно играют роль, как ты или дурак Делавар!

— Я уже слышала это твое замечание, будто я играю какую-то роль. Очень глупое замечание даже для тебя. Какую роль я играю?

— Банальную, милая, страшно банальную! Ты вамп или полувамп: роковая кинематографическая женщина, подпавшая под власть еще более рокового кинематографического мужчины. И со мной, дорогая,

это выходит совсем глупо. Посуди сама, какой я роковой мужчина! Какой я Кларк Гэбл! Какой я Эррол Флинн! Ведь я мухи не обижу... Нет, положительно, ты жертва не капиталистического строя, а кинематографа.

— Я «вамп, подпавший под власть мужчины!» — сказала она. — Трудно понимать меня хуже!

— Впрочем, ты часто меняешь стиль. Три месяца тому назад у тебя были деньги и ты их целиком тратила на туалеты, парикмахеров и шампанское. Теперь строгое монашеское платье и «Афина»... Кстати, откуда у тебя были тогда деньги?.. А еще раньше ты мне говорила, что человечество спасут кооперативы.

— Ты не способен все это понять.

— Я понимаю кооперативы и понимаю платья от Кристиан Диор. Но кооперативы и платья от Кристиан Диор, это вульгарно. Милая, это банально! Все хозяйки социалистических салонов, все жены разбогатевших спекулянтов таковы. А ты все что угодно, только не банальна... Видишь, ты даже улыбнулась, я знаю, это самая лестная для тебя похвала. Ты только выбираешь себе почему-то банальные роли... Ну, не сердись!.. Сегодня ночью я открою тебе врата Магометова рая. Я превзойду сам себя! Одно условие: без вампов и кооперативов. Постарайся пораньше отделаться от Фергюсона. Кстати, какую из твоих ролей ты исполняешь для него? Клеопатра наверное с Цезарем играла не ту комедию, что с Антонием, а другую. Я думаю, что у него ты чистая русская душа, открытая всему прекрасному? Правда? Ангел мой, ну что Фергюсон? Зачем тебе Фергюсон? Он на тридцать лет старше тебя...

— На тридцать три.

— Допустим, хоть ты врешь. Если б еще он был богат, но он небогат. Допустим, он на тебе женится. Ведь ты, как миссис Фергюсон, в каком-нибудь Харварде или в Йэйле, ты будешь просто анекдот! Нет,

моя милая, я должен для тебя придумать что-либо другое. — Он хлопнул себя по лбу. — Гениальная мысль! Поезжай в Китай и убей маршала Чан Кай-ши.

Она невольно засмеялась.

— Как же ты не дурак?

— Ангел мой, убей Чан Кай-ши! Подумай, о тебе будет писать весь мир! Если ты спасешься бегством, то враги маршала осыпят тебя золотом. Если ты попадешься, тебя сожгут на медленном огне. Кажется, у китайцев это принято, правда? Подумай, как это будет хорошо! Больно, но хорошо, а? Дюммлер при мне говорил этому американскому драматургу, что есть писатели, которым все решительно все равно, кроме их собственной фигурки в чьем-нибудь будущем историческом романе. Он назвал, кажется, Мальро... Есть такой писатель? И еще кого-то, я не читал. О тебе напишут роман и по этому роману сделают фильм. Не ты будешь играть, а тебя будут играть.

— Брось нести ерунду.

— Я тебе прямо скажу, что если ты и не убьешь Чан-Кай-ши, то непременно сделаешь что-либо другое в этом роде, столь же полезное. Между тем по природе ты, ей Богу, очень милая девочка. Тебе только надо бы немного полечиться у психиатра. А то я тебе рекомендую лечение. К завтраку, вместо морфия, кровяной бифштекс и полбутылки Лафита. К обеду, вместо кокаина, кровяной бифштекс и полбутылки Лафита. И еще: не ходить в кинематограф. И еще: не читать газет... Не сердись, ангел мой. Хорошо, вернемся к грустной действительности. — Он опять тяжело вздохнул. — Какой это генерал сказал, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги? Не знаешь? Умный генерал и какой стилист: если б он сказал просто, что для войны нужны деньги, то никто и не запомнил бы... Дорогая, мне сейчас нужны три вещи: деньги, деньги и деньги.

— Сколько?

— Милая, скажи с нежной улыбкой: все, что мое, твое!.. Мне нужно много.

— Тысяч шесть я могу тебе дать.

— Милая, мне этого мало. Ты не можешь себе представить, как я запутался! Возьми у Делаваара, он тебе не откажет. Мне он уже отказал. Возьми у него!

— Ты просто с ума сошел.

— Ты права, у Делаваара ты взять не можешь. Возьми у Фергюсона, он по первому слову даст тебе авансом жалованье за два месяца. Мне нужно сорок тысяч... Это у меня тоже, кажется, какой-то Фрейдовский комплекс. Мне всегда нужны сорок тысяч — не братьев, а франков. Это меньше ста долларов. Что такое для профессора сто долларов! И я скоро отдам: кажется, у меня выйдет одно недурное дело.

— Я и так у него взяла за месяц вперед: то, что я тебе дала в прошлый раз. Мне неприятно снова его просить, но я попрошу и отдам тебе то, что получу.

— Милая, ты ангел! А в счет этого нельзя ли взять из кассы членские взносы?

— Не смешивай меня с собой! Я не воровка.

— Да что же тут такого? Ты покрыла бы их немедленно тем, что тебе даст профессор.

— Я тебе не дам ни одного сантима из денег «Афины», но у меня есть моих шесть тысяч, возьми их.

— Да ведь тогда тебе будет нечего есть. Ни за что!.. Я у тебя из них возьму две тысячи. Можно? Правда?.. И завтра ты мне дашь остальное, то есть тридцать восемь.

— Не тридцать восемь, а столько, сколько мне даст вперед Фергюсон.

— Если он тебе откажет в таком пустяке, то немедленно откажись от службы у него. Мне и вообще неприятно, что ты живешь в одной гостинице с этим стариком. Ах, если б Делаваар в самом деле дал нам денег для постройки настоящего храма! Увы, мало

шансов. Ты заметила, он больше не ругает эту квартиру, напротив, говорит, что она очень удобна. Мы можем устроить тебя и здесь. Мы даже назначим тебе небольшое жалованье. Почему ты должна работать бесплатно? Во всем мире вице-питониссы получают за труд вознаграждение! Пусть Делавар даст мне сорок тысяч франков, и я тебе отделаю ту последнюю комнату!

— Е щ е сорок тысяч франков?

— У всякого человека в любой момент должно быть сорок тысяч франков. Твоя комната будет игрушечка.

— Никакой игрушки на деньги «Афины» мне не надо. Я буду спать на диване. Простыни, одеяло и подушка у меня есть.

— Ты спартанка, и это очень досадно. Спартанки были самые несносные из всех гречанок. А спартанцы верно были совсем идиоты. Нам пора здесь обзавестись кроватью или диваном. Виноват, т е б е пора обзавестись кроватью или диваном. — Она встала, взяла сумку и дала ему две тысячи франков. — Спасибо, ты ангел, — сказал он, небрежно сунув деньги в жилетный карман. — А что, если б мы пошли в кофейню? Мне так хотелось бы выпить с тобой. Хранитель Печати хочет угостить шампанским вице-питониссу! Это будет стоить всего шестьсот франков. Я заплачу или ты мне завтра дашь только тридцать семь тысяч четыреста.

— Ты неисправим.

— Зачем мне исправляться, когда я и так очень мил? Ради Бога, говори со мной ласково, с улыбкой. Бери пример с Дюммлера. Ты думаешь, он ласков с людьми для того, чтобы им было приятно? Нет, он ласков с людьми потому, что это е м у приятно. Ну, спасибо, дорогая моя, ты мне оказала большую услугу... То есть, еще не оказала, но окажешь завтра, — говорил он, целуя ее.

Х.

«Зачем собственно я иду сюда? — думал Яценко, подходя к дому, в котором помещалась «Афина». — Это какое-то странное общество, цели которого мне не очень понятны, да, кажется, не очень понятны и им самим. Лебедь, щука и рак, воз и на месте стоять не будет, он скоро развалится. Тогда, казалось бы, мне тоже здесь нечего делать. Что ж, не первая и не последняя глупость, которую я делаю в жизни», — сказал себе Виктор Николаевич. Это соображение почему-то всегда его успокаивало.

Дверь отворила Тони. Он приветливо ей улыбнулся, но она не ответила на его улыбку. Лицо у нее было опять новое, не такое, как в поезде, не такое, как на вечере Дюммлера. «Теперь какая-то недовольная почтовая чиновница в час закрытия конторы».

— Что вам угодно? — спросила она по-французски.

«Вот оно что. Очевидно, надо проделать все их фокусы!» — подумал он с насмешкой. Накануне ему были сообщены ритуальные слова. Хоть ему и было совестно, он сказал:

— Я скоро собираюсь в Афины.

— Это очень хороший город, — ответила она и замолчала, ожидая продолжения.

— Я знаком с Клотильдой де Во, — сказал он уже сердито.

— Тогда мы рады будем с вами познакомиться, — ответила она и впустила его. Они вошли в боковую комнату.

— Садитесь, пожалуйста. Ваша карточка готова, — сказала Тони. — Надо только поставить дату. Как вы, быть может, знаете, мы имеем свой календарь. Он был введен Огюстом Контом, но мы произвели небольшие изменения. Наше летоисчисление начинается с 1789 года христианской эры. Год делится на 13 месяцев из 28 дней каждый, и есть еще один дополнительный день в году: день Святых Женщин.

— День Святых Женщин, — повторил Яценко, кивая одобрительно головой. Он решил вести себя так, точно он тут ни в чем решительно ничего странного не находит.

— Сегодня шестой день недели Химии, месяца Шекспира, 159-го года. Я так и запишу в вашей карточке. Теперь наш единственный вопрос кандидатам. По каким причинам вы входите в наше общество?.. Вы знакомы с психологией контистов?

— К сожалению, нет.

— Конт делил все человеческие побуждения, которые он называл Аффективными Моторами, на десять разрядов. Есть пять форм Интереса: Питательный, Половой, Материальный, Военный, Промышленный; затем две формы Честолюбия: Гордость и Тщеславие; затем Привязанность, Уважение и Доброта, иначе называемая Всеобщей Любовью или Человечностью. Нам надо знать, каким Аффективным Мотором вы руководитесь?

«Кажется, она надо мной издевается», — подумал Яценко.

— Затрудняюсь ответить на ваш вопрос.

— Многие не сразу находят на него ответ. Если вы не возражаете, я занесу в протокол, что вы руководитесь Мотором Уважения, в надежде на то, что он позднее сам собой заменится Мотором Любви. Так?.. Теперь вы еще должны внести членский взнос. Впрочем, неимущие ничего не платят.

— Я могу заплатить. Сколько это составляет?

— Как правило, в пользу общества при вступлении вносится тысяча франков, но вы можете внести сколько вам угодно.

Он вынул бумажник, заметил, что у него были только сотенные ассигнации и отсчитал десять, с досадой думая, что в этом отсчитывании есть что-то не совсем приличное. Она смотрела на него с усмешкой.

— Кажется, я не ошибся в счете? Тут тысяча.

— Да, тысяча, — сказала она, пересчитав деньги. — Я сейчас принесу вашу карточку. — Она вышла из комнаты и вернулась минуты через три-четыре. «Так и есть, пошла вспрыскивать себе морфий, как тогда у Николая Юрьевича... Разумеется! Никакой карточки она не принесла, карточка лежит на столе», — думал Яценко. Тони что-то вписала в карточку крупным, неустойчивым, почти детским почерком. При этом на него поглядывала, точно записывала его приметы. Он все же не находил в ее глазах л и х о р а д о ч н о г о б л е с к а, который, по его мнению, должен был отличать морфинисток.

— Ведь эта карточка дает мне право быть и на сегодняшнем заседании? — спросил он, чувствуя некоторое смущение.

— И на сегодняшнем, и на всех других, — ответила она. Теперь, по ее интонации, он уже не сомневался, что она над ним смеется.

— Значит, все формальности кончены?

— Нет, осталась еще одна, — ответила она и вдруг обняла его и поцеловала. Он чуть не отшатнулся от неожиданности. — Это обрядовый поцелуй, целую как сестра брата, — пояснила она изменившимся голосом, больше не улыбаясь.

Он, неожиданно для себя, поцеловал ее не как брат сестру.

— Это тоже обрядовый поцелуй, — сказал Яценко, стараясь усвоить ее тон. С минуту они молча смотрели друг на друга.

— «Трепет пробежал по членам Лаврецкого», — сказала она. — Это когда он ночью увидел белую, стройную Лизу. Отлично писал Тургеньев... Хорошо, теперь вы б р а т. Пройдите в храм, я сейчас к вам выйду.

«Вот не знал, куда попал! Но, кажется, я разыграл идиота!» — подумал Яценко, войдя в большую комнату. — «Полная неожиданность!.. Господи, что это за балаган! Как Николай Юрьевич мог согласиться на эту дешевенькую бутафорию, стоило же насмехаться над дез-Эссентом!»

Тони, опять улыбаясь, вошла в комнату и села рядом с ним.

— Что, вам верно наш храм не нравится? Недостаточно рационалистично, правда? На Николая Юрьевича не пеняйте. Он только и хотел, чтобы обойтись без всего этого. Мы его долго убеждали, что простой философский кружок мира не завоеует. Не убедили, но он кое в чем уступил.

— А теперь, со статуей и с календарем, «Афина» завоеует мир?

— Если вы относитесь к обществу с предвзятой иронией, то вам лучше тотчас расстаться с нами.

«Кажется, я так и сделаю», — подумал Яценко.

— Послушаю доклад Николая Юрьевича. Я выговорил себе право уйти в любое время.

— Тут и выговаривать ничего не требовалось. Это право каждого. Может быть, и я уйду.

— Вот как?.. Вы меня спрашивали, почему я вошел в «Афину». Могу ли я спросить о том же вас? Ведь я теперь «брат».

— Видите, вы слово «брат» даже и произносите в кавычках... Да, вы у нас не засидитесь, я знаю. Каждый понимает «Афину» по-своему. Я пришла к ней

издалека. Лет шесть тому назад я хотела уйти в монастырь.

«Так и есть. Щеголяет своей «мятущейся душой». Ох, не люблю», — подумал Яценко.

— Вы, вероятно, многое перепробовали в жизни?

— Очень многое. И везде был обман.

Она подняла руку совершенно так, как это делал Гранд, и даже лицо у нее сделалось гробовое, как тогда у него. Послышался тихий протяжный звонок. Лицо ее приняло таинственное выражение. Яценко смотрел на нее изумленно.

— Слышите?

— Конечно, слышу. Что это такое?

— Этого я вам сказать не могу. Вы узнаете позднее. На вас это явление не действует?

— Нет. Я видел, как фокусники производят еще лучшие явления.

Она засмеялась.

— Вы правы. Я вас испытывала. Вас звонком не возьмешь. Вы верите в судьбу? Я верю. Я во все верю. Мои предчувствия меня никогда не обманывают. Вот, например, я знаю, что ваша жизнь связана с моей. Наши жизни будут перекрещиваться. Они связаны нездешней силой.

— Нездешней силой, — повторил он. — «Как все-таки она пошло выражается!»

— Знаете, какое самое лучшее из человеческих чувств? Это когда все — все равно... Вы очень любите женщин?

— Это ритуальный вопрос?

— О, нет. Просто мне интересно. Мы должны были бы с вами сойтись. Но не подумайте, что у нас в обществе какое-либо мошенничество. Вы очень ошиблись бы. Вы спрашивали, почему я пошла в «Афины». По самым лучшим и чистым побуждениям. Я хотела и подчинить свою волю. Ритуал этому способствует. Но уж если мы с вами разговорились, то не скрою, что

я немного разочаровалась. Все это не то, не то... И люди не те. Меня тоже не возьмешь звонком Кут-Хуми.

— Какой еще Кут-Хуми?

— Все захотите знать, рано состаритесь. А вы и так уже немолоды. Звонок Кут-Хуми можно тоже понимать по-разному. Мы начинаем со звонка Кут-Хуми потому, что люди очень глупы... Всё в «Афине» каждый может понимать по-своему, — говорила она, как будто повторяя что-то из учебника. — И надо строго отличать то, что вышло, от того, что должно было выйти. У нас и люди, и мысли, и настроения разные. Из одной бани, да не одни басни. Мешанина.

— Зачем же было делать мешанину?

— Да ведь в жизни все смешано, добро и зло, радость, горе. Вот как в светской хронике газет рядом печатаются извещения о смертях и свадьбах.

— Хорошо, не стоит спорить, это и не очень ново. Эти звонки Кут-Хуми производятся с согласия Николая Юрьевича? — спросил Яценко тревожно; он боялся, что сейчас рухнет, навсегда рухнет, то чувство почтения, которое ему внушал Дюммлер.

— Избави Бог. Он о них не подозревает. Звонки вообще в «Афине» не производятся, это идея одного нашего брата, его частная идея, о которой я не должна говорить. Я ею пользуюсь как оселком, для пробы людей. А вы мне нравитесь!

— Спасибо. Отчего вы не вышли замуж? — спросил он, все так же стараясь попасть в ее тон.

— Во-первых, я раз была замужем, с меня вполне достаточно. А во-вторых, какое вам дело? — сказала она, впрочем нисколько не рассердившись. Его вопрос показался ей даже довольно естественным.

— Я спрашиваю так, просто из писательского любопытства.

— Вот как... Очень жаль, что из любопытства.

— К тому же, теперь вы забыли, что я б р а т. Отвечайте как сестра.

— Прежде всего никто на мне не женится. У меня нет ни гроша.

— Не все же ищут денег.

— Многие, очень многие. У Толстого Анна вышла за Каренина потому, что он был губернатором и мог стать министром; она не только его не любила, но терпеть не могла. Николай Ростов на Соне, которую любил, не женился, так как она была бедна, а женился на безобразной княжне Марье и не потому, что у нее были какие-то лучистые глаза, а потому, что у нее было много тысяч душ и десятин. И Наташа тоже не вышла бы за Пьера, если бы он был беден. Только Толстой все это затушевывал, он мог сделать чистеньким что угодно, хотя бы свиной хлев. И вся Россия восторгалась этим и была влюблена в Анну, в Наташу. Один Достоевский ничего не приукрашивал.

— Он больше всех приукрашивал, но в свою краску, — сказал Яценко. Она смотрела на него с усмешкой. «Лицо сумасшедшей, и усмешка такая же».

— Вся эта наша «Афина» призрак, — сказала она. — И слава Богу! Все воображаемое лучше, чем то, что действительно существует. В так называемой настоящей жизни есть много хорошего, но представить себе я могу в тысячу раз лучшее. И представляю себе, но как! Долго, часами, со всеми подробностями! Поэтому у большинства людей одна жизнь, а у меня множество.

— Что же вы себе представляете?

— Каждый день другое... Не раз представляла себе, как я убиваю человека.

— Какого-нибудь контрреволюционера?

— Иногда и наоборот. Пробовала представить себя Шарлотой Кордэ: как она идет убивать Марата. Правда, вышло плохо. Я кстати уверена, что Марат нарочно тогда сидел в ванне, чтобы показаться голым молодой красивой женщине... И она это тотчас почувствовала... Вас шокируют мои слова?

— Да, некоторой своей неожиданностью, — ответил Яценко с полным недоумением. В передней слышался звонок. — Это звонок Кут-Хуми?

Тони засмеялась опять.

— Нет. Это уже начинают собираться люди на заседание, — сказала она и вышла, помахав ему рукой. «Кажется, совсем одурманена. Хороша секретарша для общества Николая Юрьевича! Но он был прав, есть в ней и что-то жалкое и привлекательное. Да, лучше было бы уйти из этого общества как можно скорее. Так, конечно, я и сделаю... Впрочем, надо еще услышать, что скажет Николай Юрьевич!»...

Раздавались все чаще звонки, большей частью робкие, коротенькие. Одни члены «Афины» входили в зал нерешительно, стараясь поскорее сесть где-нибудь в задних рядах и не обращать на себя внимания. Другие, напротив, появлялись с видом уверенным и с полминуты молча смотрели в упор на статую богини. «Этой даме, кажется, хотелось стать на колени, но она не знает, полагается ли... А эти *se recueillent*, как официальные лица перед могилой Неизвестного Солдата. Кто эти люди? Конечно, теперь в Париже множество таких кружков с мистикой и без мистики, с паролями вроде “*Joe sent me*”. Ведь «я скоро собираюсь в «Афины», это собственно, то же самое, с той разницей, что этих никто решительно не преследует. Какой-нибудь философ выдумывает свой «изм», по случайности он нравится, а затем «исты» устраиваются по-своему, очень мало думая о вождях и о философии. И никакой тут «тяги к нездешнему» нет, а просто поветрие, мода, а кое-где и тяга к очень «здешним» удовольствиям.» Преобладали молодые люди и почтенного вида дамы. — «Совсем как у нас в ОН, — вдруг подумал Яценко и почему-то обрадовался, как будто в этом сходстве для него открылось что-то важное. — Ну, да, вот эта старуха наверное тоже из тех, что ездили

когда-то мирить Бриана с Штреземаном. Им главное, чтобы все было страшно идейно и самое, самое последнее слово... А этот седовласый человек, может быть, как и Николай Юрьевич, во всем решительно изверился, знает, что скоро умрет, и хватается еще и за эту соломинку: вдруг с «Афиной» умирать будет легче? Вот у них: *République Occidentale. Ordre et Progrès*”, и у нас в ООН что-то висит над трибуной, и скоро, говорят, введут какую-то нецерковную молитву, приемлемую для всех религий, даже для атеистической... А эти мальчишки, быть может, слышали о «черной мессе», ими руководит Половой Аффективный Мотор: они надеются, что после заседания будет «оргия». Таких в публике Объединенных Наций, конечно, нет, но они и здесь, верно, ничтожное меньшинство, да и должна же быть некоторая разница», — с усмешкой думал Яценко.

Когда все члены «Афины» собрались в храме, а Дюммлер занял место на трибуне, Гранд вошел в боковую комнату и подал Тони цветок.

— Синяя дататура: «не верьте клевете», — начал он. Вдруг лицо его дернулось от злобы.

— Что с вами?

— Я тебе говорю в сотый раз, что ты не должна носить это ожерелье! По крайней мере, во время заседания!

— Я забыла.

— Спрячь его в ящик!.. И поцелуй меня на счастье: я сейчас сажусь играть.

— Здесь не место целоваться.

— Место, потому что ты здесь целуешь всех кандидатов. Безобразие! Предположи, что я еще не принят в «Афину»! Сейчас же поцелуй меня, иначе я устрою скандал!.. Ты не знаешь, на что я способен!

— Я знаю, что вы способны на очень многое, — сказала она и поцеловала его.

— То-то... После заседания ты, конечно, уйдешь с профессором? Ну, да, разумеется! И это для того, чтобы в гостинице тотчас сказать ему «до свиданья»!.. Цветок тоже спрячь в ящик. Ну, прощай. Кажется, я буду играть недурно.

Он начал с мелодии «Волшебной Флейты», перешел к фантазии по Моцарту. Яценко особенно любил слушать то, что знал на память. Он помнил не «Волшебную Флейту», а свое давнее впечатление от «Волшебной Флейты». «Как будто другая вещь, не та, что играла Тони. Играет изумительно! Для одного этого стоило прийти».

С наслаждением слушал и Дюммлер, несколько волновавшийся перед своим выступлением. «Этот Гранд жулик. Гений и злодейство совместимы, хотя Микель-Анджело никого не убивал и Сальери Моцарта не отравлял: наследники могли бы привлечь Пушкина к суду за клевету. Эстетически совместимы злодейство и талант: Иван Грозный, Екатерина Медичи были прекрасные писатели. Но может ли быть талантом не злодей, а мелкий жулик? Сейчас мне говорить», — рассеянно думал Николай Юрьевич.

XI.

У него был приготовлен довольно подробный конспект речи. В последние годы он опасался, что связь мыслей может порваться. Так некоторые виртуозы боятся играть без нот: вдруг забудут что дальше. Но Дюммлер был почти уверен, что прочтет по записке только длинные цитаты, которые у него были отчеркнуты красным карандашом. Когда Гранд перестал играть, Николай Юрьевич выждал минуту — аплодировать в «Афине» не полагалось — и заговорил.

Его французская речь была совершенно естественна (что́ бывает редко у людей, выражающихся не на родном языке). Говорил он с эстрады хуже, чем в гостиной, и годы на нем сказывались, но в его уверенной манере еще чувствовался большой опыт. Яценко не раз замечал, что иные, даже даровитые ораторы, не уважающие своей публики и не готовящиеся к речам, иногда начинают нести вздор. За Дюммлера, как сначала показалось Виктору Николаевичу, можно было быть спокойным: не напутает, не собьется, не скажет ничего неуместного, не затянет чрезмерно своей речи, не даст слушателям соскучиться. Однако, оттого ли, что он был немного раздражен на старика за бутафорию «Афины», Виктор Николаевич стал внимательно слушать не сразу, лишь через несколько минут. Дюммлер говорил о пути к счастью, о пути к освобождению, и как будто выходило так, что у него это означает одно и то же.

— ... Таким образом мы стоим перед двумя проблемами, которые в конечном счете сливаются. О первой я кратко сказал: возможно ли в наше время кар-

тезианское состояние ума? Подчеркиваю эти слова, — Дюммлер повторил: “l'état d'esprit cartésien”, — они не совпадают со словом «мировоззрение», — *conception du monde*. Вторая проблема, это проблема человеческого счастья. Ими, повторяю, мы и предполагаем заниматься в «Афине», не навязывая ничего друг другу, считая обязательными лишь самые основные общие положения и правила.

«Зачем же тогда глупая бутафория? — подумал Яценко.

— ... Как вам известно, вопрос о счастье с необыкновенной силой и тонкостью поставил самый удивительный из всех когда-либо существовавших народов. Превосходство древних греков над другими народами так очевидно, что они о нем и говорили редко, хотя какой-либо эллинский авантюрист мог бы говорить о своей *Herrenrasse* с неизмеримо бóльшим правом, чем германский психопат, дела которого мы, к величайшему нашему позору, терпели двенадцать лет. Однако твердого решения этой проблемы эллинская философия не дала. Обычно говорят, что она эвдемонистична. Но так ли уже определено и самое это слово? В буквальном переводе оно лишь указывает на состояние, близкое к некоему доброму демону или, скажем с натяжкой, на состояние под покровительством некоего доброго демона. Понятие и в таком смысле ценно, интересно и неопределенно: добрые демоны могут быть различные. В философской литературе есть десятки определений и самого счастья, и его роли в обосновании нравственности. «Путь к счастью»... “The pursuit of happiness”, чтобы употребить слово, увековеченное в Соединенных Штатах. Скажем с вечным умницей Вольтером:

“Ce monde, ce théâtre et d'orgueil et d'erreur
Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur?”*)

*) «Этот мир, театр гордости и заблуждений, полон несчастных, говорящих о счастье».

Дюммлер на мгновение остановился, чтобы дать слушателям возможность оценить Вольтеровы стихи. Он следил за аудиторией, хотя и без большого интереса. Некоторые из слушателей улыбнулись, другие слушали хмуро и как будто недоверчиво.

— Не будем, однако, уходить в глубь веков. Будем помнить, что с 1945 года все прошлое стало *tabula rasa*. Было бы крайне странно, если бы мы могли теперь держаться тех основных философских положений, которые сохраняли силу всего только десять или даже пять лет тому назад, до разложения атома. Ведь мы, господа, еще живем только потому, что американская группа физиков Оппенгеймера работала быстрее и лучше, имела больше средств, лабораторий и заводов, чем немецкая группа Гейзенберга. Другой причины собственно не было. Теперь вопрос, овладеют ли всем миром коммунисты, зависит отчасти от того, будет ли успешнее работать та же американская группа или русская группа физиков. Новая философия, как и новая история, началась в 1945 году. Я не физик, но, насколько я могу судить, все это вышло из идей Эйнштейна о соотношении между материей и энергией. Никто, значит, главного не понимал, кроме этого человека, который считает или еще недавно считал Сталина великим гуманистом. Понимают ли сами физики, что они взорвали вместе с атомом? Они взорвали наши аксиомы, всё наше мышление, наши религиозные чувства, наш общественный строй, быть может, даже свою собственную веру в науку. Добавлю, что подарили они человеку эту штучку именно в то время, когда во всей красе выяснилось, как глуп и слаб человек, когда, единственно по причине его глупости и слабости, столь многое и без физиков трещит в мире. Вот первое в истории открытие, которое, родившись на свет Божий, немедленно, в несколько минут отправило в лучший мир сто тысяч человек. У других открытий хоть таких крестин не было. Конечно, эта

штука «может сделать войну невозможной». Но такие же надежды Нобель возлагал на динамит, и даже когда-то Вобан на свои военные изобретения. С тех пор, как существует мир, не было в физике, в химии такого открытия, какое было бы использовано т о л ь к о на добро. И если на разрушение будет истрачена одна сотая доля атомной энергии, а девяносто девять пойдет на чудеса культуры, то мир со всеми этими чудесами все равно погибнет от этой сотой доли. Новую эру в истории открыли не две мировые войны, не коммунистические или другие революции, не гитлеровщина и не фашизм. Ее открыло разложение атома. И надо ли пояснять, что три перечисленные мною проблемы, как и столь многие другие, теперь ставятся совершенно не так, как до взрыва в Новой Мексике... Извините меня, я отвлекся в сторону, хотя и очень немного.

— В человеке всегда была сильна потребность рассматривать счастье, как нечто единое и однородное. Но даже у эвдемонистов, даже у гедонистов, была попытка все же прикрепить счастье к какому-либо другому понятию, будь это добродетель, или нравственный закон, или выполнение Божьей воли. В этом отношении не составлял исключения сам Гёте, которого так часто называли то «великим язычником», то «олимпийцем» — пока вдруг не стало модным делать из него неврастеника из романов двадцатого века. Гёте говорит: “Wir wollen einander nicht aufs ewige Leben vertrösten! Hier müssen wir glücklich sein!”*). (Дюммлер прочел эту цитату по записке и тотчас перевел ее на французский язык. Слушатели сочувственно закивали). Эти слова понятны, и мы могли бы их включить в число заповедей «Афины». Да, мы должны быть счастливы не там, а еще здесь! Однако у Гёте происходит скачек... Впрочем, нет, не скачок, а медленное передви-

*) «Мы не хотим утешать друг друга надеждой на вечную жизнь! Мы должны быть счастливы здесь!»

жение: счастье связывается с *das Gute*, с *das Rechte*. Я всей душой был бы рад, если б это было так. Но так ли это? Жизнь это опровергает на каждом шагу. Да и деление большой философской школы на эвдемонистов и гедонистов, различие между киренаиками и эпикурейцами уже предполагает различие в ценности между разными видами счастья.

Дюммлер отпил воды, обвел взглядом слушателей и продолжал:

— С нами случилось несчастье, повергшее нас в полную растерянность: мы лишились аксиом! Да. Трагедия современного человечества в том, что у него аксиом больше нет. Признаем прямо, что нет для людей единого пути к счастью, единого пути к освобождению. Надо выработать систему обоснованной классификации. Я буду не раз говорить об этом в «Афине». Сейчас скажу лишь очень кратко, в надежде, что хоть некоторые из вас поймут меня с полуслова. В своем эклектическом эвдемонизме «Афина» ставит себе и эту задачу.

— У Канта есть учение о счастье, к сожалению гораздо менее известное, чем другие его доктрины. Кант видит в счастье материю всех земных целей, "*die Materie aller Zwecke auf Erden*". В зависимости от того, какие человеческие потребности удовлетворяет счастье, и от того, как оно их удовлетворяет, у Канта можно найти и классификацию: счастье «экстенсивное», — ударение делается на числе потребностей; «интенсивное», — ударение на степени удовлетворения; и «протенсивное», — ударение на продолжительности счастья. Быть может, я несколько упрощаю это кантовское деление, когда-то меня поразившее. Теперь оно меня больше не удовлетворяет, вероятно оттого, что в мои годы уж очень трудно было бы говорить о протенсивном счастье. (Послышался легкий смех). Логически я не мог и не могу понять одного: на чем же с уверенностью строится иерархическая

классификация? Человек может находить счастье, а следовательно и освобождение, в чем угодно, — сказал Дюммлер, замедлив речь, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово. — И у нас пока нет оснований признавать одни виды счастья более ценными, другие менее ценными. Мы должны либо отказаться от «материи всех земных целей», либо признать равноправие всех ее видов, либо вместе искать новых критериев, новых исходных точек для расценки новых путей. Именно эту цель ставит себе общество «Афины», председателем которого вы меня избрали. Оно ставит себе целью, никому ничего не навязывая, помочь каждому человеку найти свое счастье, свое освобождение. Древний мудрец сказал: «Ты ищешь счастья? Живи как хочешь»...

— ... Основная беда существующих философских систем заключается, по-моему, в том, что они не видят огромного принципиального различия между категориями времени и пространства. В категории времени царит строгий детерминизм. В категории пространства его нет. Здесь царит Его Величество Случай. Позвольте пояснить вам это примером, из которого видно будет, почему я об этом говорю. Если кто-либо займется выяснением причин, почему русский философ и политический деятель Николай Дюммлер стал членом общества «Афина», он найдет бесконечную цепь причин и следствий. Тут все связано во времени, торжествует закон причинности. И каждый из нас может сказать о себе то же самое: он тоже знает или может в порядке самоанализа восстановить, какая длинная цепь причин и последствий привела его в то же общество «Афина». Но та цепь причин и следствий, которая его привела сюда, не имеет ничего общего с цепью, приведшей сюда меня, хотя она действовала одновременно с моей. Нас объединил именно Случай... Я посвящу теории случая главу из философской книги, над которой я в настоящее время работаю.

В ней я покажу, что доктриной гносеологической связана и моя моральная доктрина, я назвал ее метаэстетической. Именно в связи с всемогуществом Случая каждый человек сам находит свой путь к счастью, свой путь к освобождению. Я свой путь нашел в древне-греческом учении о Kaloskagatos, в котором греки объединили понятия добра и красоты. Я не могу остановиться и на том, как я связываю это понятие с другим греческим понятием, с понятием двойственной судьбы. Древние различали судьбу неотвратимую, они называли ее *moira*, и судьбу, с которой можно бороться, или *tuche*. И сущность «Афины» — по крайней мере, в моем понимании — заключается в том, чтобы увеличивать «түхэ» за счет «мойра». Противоставляя второй вид судьбы первому, человек освобождается. Богиня разума «Афина» символ этого освобождения. Каждый освобождается по-своему, а мы в меру сил ему в этом помогаем. И если что мне совершенно ясно в результате долгой жизни, то это следующее: лучший вид освобождения и для человечества, и для отдельного человека, заключается в духовных ценностях.

— Энциклопедисты, да и не они одни, видели смысл жизни в действии. Но ведь вопрос в том, какое действие. Я в молодости завидовал лунатикам, которые ходят, говорят, *действуют* во сне, значит живут больше и дольше нашего. Есть теперь и партии лунатического действия. Однако так называемое действие лишь часть — и не обязательная часть — великой идеи освобождения. Стоящая теперь перед человечеством задача двойственна: наша цель — умственное освобождение избранников и материальное освобождение рядовых людей, осуществляемое без отвратительных кровавых актов коммунистической диктатуры...

Впоследствии Виктору Николаевичу было не вполне ясно, почему на него произвели столь сильное действие эти отрывочные, недосказанные, беспорядочные, по внешности даже совершенно бессвязные мысли. Он понимал их все-таки лучше, чем другие, так как Дюммлер иногда о них у себя говорил, впрочем, тоже как будто сбивчиво, отвлекаясь беспрестанно в сторону, вставляя воспоминания и анекдоты. Яценко видел, что старик уже очень устал. От волнения Виктор Николаевич дальнейшее слушал плохо. Впрочем, Дюммлер скоро перешел к символике «Афины», к тому, как эта символика понималась у греков, как ее можно было бы понимать в наше время. Это не очень интересовало Яценко. Теперь он мог думать только о равноценности разных путей к счастью. Очевидно, и сам Дюммлер эту равноценность признавал лишь с известными ограничениями: Виктору Николаевичу впоследствии смутно вспоминалось, что он говорил и о некоторых преступных видах счастья, говорил, что «Афина» именно ставит себе целью от них отмежеваться, — «тогда падает и его основная мысль: значит, без *das Gute*, без *das Rechte* все равно обойтись нельзя?» Но на заседании в этой странной зале, после потрясшей его музыки, он думал, совершенно по-новому думал, о своей второй пьесе, об ее идее, об ее действующих лицах. Мысли приходили ему одна за другой. Как всегда, он боялся, что их забудет, старался запомнить при помощи какого-либо мнемонического приема, каждую при помощи какого-либо одного ключевого слова.

Тони насторожилась, когда Дюммлер заговорил о двух видах судьбы. «Судьба, с которой можно бороться, это уже не судьба! — сказала она себе, — только и есть судьба неотвратимая, и у человека, и у человечества! Раз меня не влюбил Бог, то

никакие «Афины» мне не помогут, и попала я сюда по ошибке. Свет светит с востока, и все это гуманное хныканье не заставит его светить с запада: они, гуманисты, посветили и будет, их время кончено, будет новый гуманизм. Да, он правду говорит, что в мире борются добро и зло, но где зло и где добро, заостеневший старик сказать не может. Он потому так уверенно и говорит, что не знает. Теперь не меньше половины мира называет черным то, что они считают белым. А им, всем этим буржуа, и вообще по их дряхлости нечего делать в мире. Да, я уйду от них. Где правда, я не знаю, и он не знает, и никто не знает. Везде кровь, почти везде грязь», — думала она. «Дюммлер, может быть, и чистый человек, но он окружил себя прохвостами и отлично это знает. Если и у коммунистов грязь, то во всяком случае другая. И там моя страна. Пусть они совершают преступления, они делают это во имя идеи, которая сметет позднее грязь с земли. А что могут смести всякие «Афины»? У тех сила, и я люблю силу. Они обвиняют Сталина в жестокости, но как же они не понимают, что ему просто нет дела до того, жестоки ли его действия или нет! У него и время нехватало бы, чтобы в этом разбираться: он наверное просто этим не интересуется, надоело, скучно, привычно и все заранее покрыто его идеей. Важно лишь то, способствует ли жестокость достижению цели. А их цель тот же Рок. И мне ничего не остается, как уйти к ним. Другого выхода у меня и нет. Переводить статьи для профессора, который вдобавок скоро уедет и через месяц забудет о моем существовании? Заниматься любовью с Грандом? Скоро мне и есть будет нечего. Я знаю, я чувствую, что продам ожерелье, и тогда совсем потеряю уважение к себе. Да, я уйду... И забавно, старик так и не узнает, что его лекция была последней каплей, что я из-за него и из-за его «Афины» ушла к тем, кого он ненавидит и презирает»...

Дюммлер замолчал, — но это была только ораторская пауза, свидетельствовавшая о том, что менялся предмет речи. Старик заговорил в какой-то другой т о н а л ь н о с т и. «... Сестры и братья», — вдруг услышал Яценко. «Это еще что? Ах, да, начинается комедия!» — подумал он. «Впрочем, «сестры и братья» это уж лучше, чем «братья и сестры», тут скорее оттенок “Mesdames et Messieurs”... «Да, так что же «сестры и братья»? С еще большим удивлением он услышал имя “Monsieur Walter Jackson”, — точно и не сразу догадался, что речь идет о нем. Дюммлер с легкой улыбкой говорил о разочарованиях талантливого драматурга, недавно вступившего в общество и находящегося в этой зале: — ...«Я не выдам его секрета, если я скажу, что он, хорошо ознакомившись с заседающей ныне во дворце Шайо Организацией Объединенных Наций, высказывает недовольство ее работой. Думаю, что наш даровитый брат не совсем прав. Во всяком случае эта организация и особенно ее отдел Юнеско в неизмеримо большем масштабе, чем мы, но, быть может, с неизмеримо меньшей ясностью, следует заветам богини Афины, о которых я только что вам говорил. Как мы хотим признать равноправие возможно больших видов счастья, за исключением одних преступных, так и ООН хочет признать равноправие разных государственных форм, так или иначе ставящих себе целью коллективное счастье...».

«Ну, это ни к чему, этого он мог и не говорить, — подумал Яценко. — И не очень верно, и не так уж умно... Да, вот еще и о Делаваре заговорил, только этого нехватало»...

— ... Среди нас, — сказал Дюммлер, — сегодня находится один видный финансовый деятель, оказывающий «Афине» щедрую поддержку. Мы теперь с ним обсуждаем возможность создания в Париже большого храма. Не всем здесь присутствующим, быть может, известно, что от Огюста Конта остался разрабо-

танный план такого храма, в котором, по его мысли, должны были сосредоточиться библиотека, рабочие кабинеты, места размышлений, даже кладбище для сестер и братьев. Кое у кого это вызовет улыбку. Мы вдобавок не все здесь позитивисты, я и сам никак не позитивист. Да и позитивисты, быть может, не всё приемлют в Контовском учении. Тем не менее, если нашей скромной «Афине» суждено положить начало большому умственному и социальному движению, то нам необходимо иметь свой центр, свое собственное здание. Благодаря инициативе и денежной помощи нашего Гаранта Дружбы, мы, быть может, такой центр создадим...

Т о н а л ь н о с т ь, в которой Дюммлер произносил эту заключительную часть своего слова была х о з я й с к а я. Старик, очевидно п р е д с т а в л я л обществу виднейших членов «Афины». Это было неприятно Виктору Николаевичу: он ни в какой связи не хотел упоминаться рядом с Делаваром. (Со своей стороны Делавар с неудовольствием подумал, что председатель мог бы первым назвать его, а не какого-то неизвестного драматурга). «Да, это ни к чему, есть даже нехороший привкус: так и у нас в старые времена губернаторы хвалили просвещенных купцов для того, чтобы они со свойственной им отзывчивостью дали деньги на богадельню... Вот, вот, всем сестрам по серьгам: теперь этот профессор»... Дюммлер сказал несколько очень лестных слов о Фергюсоне и объявил, что после небольшого перерыва этот знаменитый физико-химик прочтет доклад об атоме у Анаксагора.

Атом у Анаксагора теперь меньше всего интересовал Яценко. В перерыве он незаметно вышел из зала, разыскал пальто и шляпу. Рядом с ним разыскивала свой зонтик одна очень пожилая с е с т р а, — они обменялись в передней смущенными взглядами. Сестра даже вполголоса сказала, как обидно, что ей

необходимо уйти, не дождавшись конца столь интересного заседания, и оглянулась на дверь, точно боясь, что кто-то сейчас появится и велит ей остаться. Выходили еще два молодых человека. Они были очень недовольны докладом.

— ...Начало было интересно. А потом я чуть не заснул, — говорил вполголоса один. — Все очень разочарованы. Старик все путал и путался. То Декарт, то Конт, то древние. Нет, нельзя читать доклады в восемьдесят пять лет. Ссылался на какую-то книгу, которую обещал написать. Когда напишешь, тогда и ссылайся. Либо говори толком, либо ничего не говори. Провал, полный провал.

— А главное, стал ругать ни с того, ни с сего коммунистов. Это уже и обман. Тони меня заверила, что этого не будет. Я ей скажу! Все они, царистские эмигранты, таковы. Нет, я больше ходить к ним не намерен. Чепуха, — сердито сказал второй молодой человек, скрываясь за дверью.

Погода была очень плохая. «Переждать дождь в кофейне? Записная книжка есть, перо есть, сейчас же, сейчас записать, потом все, все забуду!» — подумал Яценко. Он хотел записать, что всего выше в мире свобода, достижение человеческой душою ее высших форм. «Этому буду следовать, этому буду служить. Ни на какие компромиссы с э т и м идти нельзя, ни для чего»...

Конец 1-го тома